

84(2)7953

A 521 кр

6 1327805

ISSN 0920-7447

АЛТАЙ

3-89

В НОМЕРЕ:

Повесть

А. Казаковцева
«В пылающем небоскребе»

В. Харченко
«Далеко в степи»

П. Казанского
«Дуэль»
(предисловие В. Петренко)

Рассказы

В. Титова
А. Злобиной и др.

Ощущение крыла —
стихи молодых поэтов Алтая

«Первая категория» —
материалы о сталинских
репрессиях на Алтае

Статьи

М. Юдалевича
В. Шапошникова



Художник Рустем Александрович Прохневский живет в Барнауле. Учился в народной изостудии у заслуженного работника культуры РСФСР А. В. Иевлева.

Для Алтайского книжного издательства иллюстрировал и оформлял книги.

Особого мастерства достиг в искусстве экслибрисов — их создано художником около 50. Все они отличаются тонкостью линий, глубиной мысли. Многие из них публиковались в каталогах, журналах и газетах, экспонировались на выставках в разных городах нашей страны.



84(2)7953

А 521 кр

АЛТАЙ

3 - 89

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Артем КУДИНОВ, Валерий САВИНКОВ. Первая категория	3
Анатолий КАЗАКОВЦЕВ. В пылающем небоскребе. Маленькая повесть	76
Виктор ХАРЧЕНКО. Далеко в степи. Маленький роман	104
Антонина ЗЛОБИНА. Невезучая Зойка. Рассказ	115
Станислав ВТОРУШИН. Обратный путь. Рассказ	121
Владимир ТИТОВ. Незаполненная анкета. Оплошность резидента. ЧП в долине Ануя. Рассказы	126

ПОЭЗИЯ

Ощущение крыла. Стихи молодых	65
---	----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Порфирий КАЗАНСКИЙ. Дуэль. Предисловие В. Петренко	148
--	-----

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Марк ЮДАЛЕВИЧ. Прорыв из «заколдованного круга»	155
---	-----

КРИТИКА

Владимир ШАПОШНИКОВ. Испытание правдой	164
--	-----

БАРНАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1989

Сергей КАРЛИН. Кто-то... Неловкий вопрос. Жулик. Рассказы 172

ДЛЯ ДЕТЕЙ

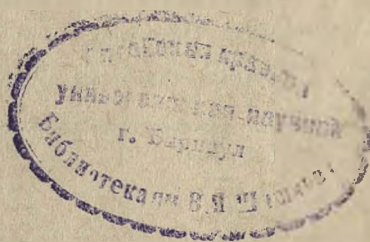
Юрий РОМАШЕНКО. Осенний светофор. Рисунок. Тепловоз. Ежик. Стихи . . . 176

61327805

Главный редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, В. Ф. ГОРН, В. Ф. ГРИШАЕВ,
Е. П. ГУЩИН, В. Л. КАЗАКОВ, Л. И. КВИН,
Ю. Я. КОЗЛОВ, А. К. КРАМЕР, Г. П. ПАНОВ,
И. М. ПАНТЮХОВ, В. С. РЕВЯКИН, В. Б. СВИНЦОВ



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1989 № 3

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Н. Тырышкина, Г. Ульяченко

Рукописи не возвращаются

АГ 12757. Сдано в набор 10. 07. 1989 г. Подписано к печати 12. 09. 1989 г. Формат 70x108/16. Бумага кн.-журн. офс. № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,4. Уч.-изд. л. 17,937. Тираж 5000 экз. Заказ № 1435. Цена 80 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательства, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656049, Барнаул, ул. Анатолия, 102. Тел. 23-27-26.

© «Алтай», № 3, 1989.

Артем КУДИНОВ,
Валерий САВИНКОВ

Первая категория

Спрашиваю следователя:

«А что такое первая категория?» —

«Это, — говорит, — высшая мера...»

Из воспоминаний З. О. Германа

Как долго копила душа России любовь к ближнему!.. В великих нравственных исканиях Толстого, в самоотверженной готовности простых людей «пострадать за мир», в интеллигентских «хождениях в народ», в XX век она входила, горделиво вслушиваясь в слова Владимира Соловьева: «Святая Русь требует святого дела».

Исподволь, незаметно копились в душе народа любовь и ненависть, страх и отчаяние — рядом с героизмом и благородством, с вершинами духа уживались подлость и дикость.

И знаменитый ленинский афоризм о том, что «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», стал пророческим. Революция не во всем смогла себя отстоять и защитить, и это привело к печальным, трагическим последствиям...

Что творилось в стране, когда разжигаемая классовая борьба и классовая ненависть достигли предела — и не только в центре, но и на окраинах российских, в глухих городках и селах, какой ужас незаконный, бессудных арестов, расстрелов обрушился не только на вчера еще популярных в народе государственных деятелей, но и на сам народ, на простых людей, далеких от политических теорий, зачастую и вовсе не понимавших, кто и за что их так...

Нет, не все и в то время молчали. Не все. Сейчас нам стали известны поразительные примеры духовной стойкости: «Несвоевременные письма» Горького, эпистолы Короленко наркому Луначарскому, увы, оставшиеся без ответа. Те же, кто смирился со своей участью, должны были поверить в неминуемость классовой борьбы и возненавидеть ближнего своего за то, что он кулак, сын попа, царский офицер, бывший эсер или социал-демократ; несть числа фантомам ненависти... И несть числа человеческим жертвам!

«Наше продвижение вперед, наше наступление будет сокращать капиталистические элементы и вытеснять их, а они, умирающие классы, будут сопротивляться, несмотря ни на что. Вот в чем социальная основа классовой борьбы», — утверждал Сталин в своем труде «Вопросы ленинизма».

Создавшаяся атмосфера ненависти и подозрительности углублялась и как бы сама себя подогревала и разжигала изнутри. Газеты пестрели заметками, письмами о «пойманных и разоблаченных шпионах, вредителях», «агентах одного из иностранных государств»...

«Проблема репрессий сводится к тому, чтобы найти минимум, необходимый с точки зрения общего движения вперед, — писал Анри Барбюс в книге «Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир». — Преуменьшить этот минимум так же преступно, как преувеличить. Тот, кто щадит людей, готовящихся действовать во вред делу всего человечества, — преступник. Спаситель убийц — сам убийца. Подлинная доброта должна простираться и на будущее».

И людей не щадили. Достаточно было всего лишь нескольких слов, одного слова, чтобы человек стал «врагом народа». Так были выявлены «чуждые элементы при столовой лесозавода № 13» (ныне Барнаульская спичечная фабрика): «Повар третьей руки Квашинин относится к работе очень халатно, но еще не выявлен точно, кто он такой. В общем, я нахожу двух вредителей — разлагателей масс, главных два врага — Бунина и Пенегина, это те, которые стараются только вредить. За свои слова отвечаю. Штафюк». (ГААК, ФР. 10, оп. 5, д. 12, л. 87). Можно себе представить, что случилось с этими людьми...

Так, от высокоумных мудрствований всемирно известного А. Барбюса расходились круги, и ненависть втягивала в свою орбиту все больше и больше людей...

И то, о чем пойдет речь в нашем повествовании, это лишь малая доля тех грандиозных трагических событий, которые потрясли нашу страну и в тридцатых, и сороковых, и в пятидесятых годах — это лишь капля в море.

*В Президиум Верховного Совета СССР.
27 декабря 1954 года*

ЖАЛОБА*

Я, сын крестьянина-середняка, родился в 1909 году в с. Горно-Колыванском Змеиногорского района Алтайского края. Мать моя умерла от тифа в 1917 году, отец умер от склероза сердца в 1926 году. Нас осталось четыре брата, двое старше меня и один младше. В 1926 году я закончил семилетнюю школу в родном селе. По путевке Рубцовского окружного комитета комсомола был направлен учиться в Барнаульский сельхозтехникум.

После окончания техникума в 1930 году был направлен в Залесовский район. А в начале 1931 года переведен в Косихинский, где не было ни одного агронома. По решению райисполкома и бюро райкома партии меня назначили старшим агрономом райзо.

В первый же год работы я был избран членом пленума и членом бюро райкома ВЛКСМ. Проработал я здесь семь лет, до 5 января 1938 года. В этот день меня арестовали, не предъявив никаких обвинений. Продержали почти две недели в КПЗ с. Косиха. 17 января этапом отправили в Барнаул в следственно-пересыльную тюрьму.

Только на третий месяц после ареста, в начале марта, первый раз меня вызвали на допрос, в здание НКВД. И предъявили обвинение по ст. 58 пункты 2, 6, 7, 8 и 11 (фамилии следователей я не помню, их можно узнать по делам следствия). Я был удивлен предъявленным обвинениям, таким незаконным и несправедливым, и отказался подписать протокол. Но следователь дал мне бумагу, карандаш и потребовал, чтобы я написал, где, когда и кем я был завербован в право-троцкистскую контрреволюционную вредительскую организацию, какие получал задания, какую вел вредительскую работу и кого завербовал в эту организацию...

Я был возмущен и заявил следователю, что писать мне не о чем,

* Эта жалоба — трагический документ той эпохи — отправлена Иваном Алексеевичем Кривошеиным с Колымы из туберкулезной больницы лагпункта № 2, 3 отделения.

я не знаю о существовании никакой контрреволюционной организации, не был никем завербован и сам не вел никакой вредительской работы. Следовательно, грубо выругав меня, продолжал настаивать: «Пиши». Я написал то же самое, что и говорил ему. Следователь прочитал, походил по комнате, ни слова не говоря, со всего размаха ударил меня кулаком по лицу. И потребовал, чтобы я съел и проглотил исписанный листок. Я отказался, сказав при этом следователю о грубом, незаконном методе ведения допроса. Следователь ответил, что мое сопротивление бесполезно, протокол допроса и обвинения они напишут сами и любыми силами заставят меня подписать. Кроме того, заявил он, органы НКВД никогда не ошибаются — раз ты арестован нами, значит, ты — враг народа, а при допросе врагов народа все методы следствия и допроса хороши.

Но я категорически отказался писать ложные обвинения на себя. Тогда следователь вызвал двух молодых помощников и велел им потеплее меня одеть. Меня одели в зимнее пальто, валенки и меховую шапку и отвели в соседнюю, жарко натопленную камеру, где я и простоял, не раздеваясь, трое суток, находясь на «стойке», без движения, я изнемогал от жары, у меня отекли ноги, я обессилел, падал. Тогда меня раздевали до белья, заводили в холодный подвал, обливали холодной водой, а потом снова вели в камеру, одевали и ставили на «стойку». После трех суток я совсем обессилел и не мог стоять. Тогда следователь написал постановление: за отказ давать показания водворить в карцер на пять суток.

После отбытия пяти суток карцера меня снова повезли на допрос. Но писать показания я отказался, и меня возвращают на «стойку». Простояв двое суток, я совсем выбился из сил и не мог больше держаться на ногах. Тогда следователь снова пишет постановление: за отказ писать показания водворить в карцер на десять суток.

При плохом питании и тяжелых условиях отбывания карцера я сильно истощал и ослаб окончательно.

Следователь принес отпечатанный протокол — вопросы и ответы — и стал его зачитывать. Протокол был очень большой, помню сейчас только основное: находясь на работе в должности старшего агронома райзо, я был завербован заведующим Косихинским райзо Ткачуком в контрреволюционно-вредительскую организацию, по его заданию вел в районе подрывную работу. Кроме того, для ведения вредительской работы в МТС мною были завербованы в контрреволюционно-вредительскую организацию старший агроном Лосихинской МТС, член ВКП(б) Сырейщиков, агроном-семеновод Овчинниковской МТС, член ВКП(б) Лапшина, которые по моему заданию вели подрывную работу в колхозах, обслуживаемых МТС.

Прочитав протокол моих «показаний», следователь передал его мне и предложил подписать. Я не выдержал такого ложного обвинения, написанного на меня, разорвал протокол и бросил на пол. Тогда следователь позвонил, вызвал двух своих помощников. Меня сильно избили. Я пришел в сознание только в карцере следственной тюрьмы.

Когда я сидел в карцере, следователь дважды приезжал в следственную тюрьму с новым отпечатанным протоколом допроса и заставлял меня подписать, но я категорически отказывался. После пятнадцати суток отбывания в карцере я мало-помалу оправился, и меня снова повезли в город на допрос. Ввели в камеру допроса старшего следователя. Он заявил мне, что все мои сопротивления бесполезны, оправдать меня и выпустить на волю никто не сможет. В наших силах, сказал старший следователь, пока ты живой, заставить тебя подписать все, что мы захотим. Затем он приказал моему следователю пустить меня на «конвейер допроса и следствия». Конвейер заключался в том, что меня в течение трех суток без перерыва водили из одной камеры в другую, заставляли подписать протокол допроса, применяя при этом всякие гру-

бые, незаконные методы следствия и физического воздействия. Всячески издевались, били, плевали в лицо, зажимали пальцы рук в двери, держали на «стойке», обливали холодной водой и делали ряд других издевательств.

На четвертые сутки такого «допроса» я совсем истощал, выбился из сил, потерял всякую надежду отстоять свою справедливость. У меня не хватало больше сил дальше сопротивляться. Я помнил о том, что у меня осталась семья — жена и двое маленьких детей, сын и дочь; и что есть еще маленькая надежда, оставшись в живых, доказать свою невиновность и вернуться к семье. Сопротивляться и дальше не было сил. И я вынужден был подписать ложные, несправедливые обвинения на себя и оклеветать в несправедливом обвинении других.

После этого началось оформление очных ставок с Ткачуком, Сырейщиковым и Лапшиной, которую я случайно встретил в камере ожидания вызова к следователю на допрос. Лапшину привезли раньше меня, она уже была на допросе и ожидала отправки в тюрьму, но почему-то не успели отправить. Вместе мы пробыли около часа. Я рассказал ей все, в чем меня обвиняют, как велся мой допрос и следствие, как я вынужден был подписать ложные обвинения на себя, на агронома Сырейщикова и на нее, Лапшину. Я сказал ей, что всякое сопротивление в том, чтобы доказать свою невиновность здесь, на следствии, бесполезно и невозможно. Я не уговаривал ее подписывать протокол допроса и ложные обвинения на себя — это ее дело. Я сказал ей тогда, что единственная надежда сейчас — остаться живыми, а потом, при первой возможности, добиваться справедливости, доказать свою невиновность.

Незадолго до суда меня из следственной тюрьмы перевезли в город, во внутреннюю тюрьму НКВД, находившуюся во дворе здания НКВД (ул. Ползунова, 34, сейчас это корпус мединститута. — *Авт.*).

За двое суток до суда меня вызвал к себе следователь. Он сказал, что скоро будет суд, и дал мне прочесть исписанный лист бумаги. Это было написанное им от моего имени что-то вроде заявления или просьбы к суду о том, что я, признав свою виновность, прошу суд о снисхождении к себе, не давать мне высшей меры, а ограничиться сроком отбывания наказания. Когда я прочел, следователь заставлял меня собственноручно переписать и подписать. Я отказался. Он усмехнулся и сказал, что упрямство мое бессмысленно.

Двое суток меня не выпускали из следственной камеры, применяя все те же незаконные методы следствия, издевательств и физического воздействия. Я вынужден был подписать этот документ. И прямо из камеры меня под конвоем повели на суд. Суд был в этом же здании НКВД, только на верхнем этаже, в такой же небольшой камере.

В июле 1938 года в г. Барнауле судила выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР в составе трех человек. Суд был закрытый. Меня завели в камеру, спросили лишь фамилию, имя и отчество, больше говорить ничего не разрешили. И сразу же зачитали приговор суда: по ст. 58, пункты 7—11 осужден к 20 годам тюремного заключения и 5 годам поражения в правах. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

После прочтения приговора под строгим конвоем отвели во внутреннюю тюрьму НКВД, где находились уже все осужденные.

В октябре 1938 года я был этапирован в стационарную Сольбицкую тюрьму. А в июне 1939 года отправили на дальний Север, на Колыму, где с августа 1939 года до настоящего времени я и нахожусь.

Я написал всю правду о том, как я, не совершив никакого преступления, был незаконно арестован.

Я написал всю правду о том, как незаконными методами следствия с применением физического воздействия и издевательств был вынужден писать и подписывать ложные, несправедливые обвинения на себя и клевету на других.

Сразу после суда в июле 1938 года и до 1946 года, когда я находился в Сольбилецкой тюрьме и на Колыме в лагерях, мне не разрешали писать жалобы и ни одной жалобы от меня не приняли, мотивируя это тем, что в приговоре моем сказано: приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

С 1946 года я неоднократно писал жалобы, последнюю — на имя Генерального прокурора СССР в марте 1953 года из 19 лагерного отделения г. Магадана. Но ни на одну жалобу не получил ответа. Сейчас, после 17 лет заключения, я инвалид, не пригоден к физическому труду, болею туберкулезом легких, нахожусь на лечении в туберкулезной больнице лагерного отделения № 3, перенес тяжелую операцию левого легкого, но болезнь моя в условиях лагеря неизлечима.

Мне остается жить недолго. И я решил написать еще одну жалобу в Президиум Верховного Совета СССР, в которой изложил всю правду.

Находясь в заключении 17 лет в разных лагерях, я честно трудился, не имею ни одного взыскания, был отличником производства, выполнял нормы на 200 и более процентов, за что был неоднократно премирован и награжден грамотой ударника Управлением У. С. В. И. Т. Л.*.

Еще раз прошу Президиум Верховного Совета СССР разобрать мою жалобу и удовлетворить мою просьбу: освободить меня из заключения и реабилитировать хотя бы в конце отбывания срока моего наказания и в конце моей жизни, так как раньше я не имел такой возможности.

27/XII. 54 г. К сему Кривошеин.

«Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде добывать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде и доказывать нечего, да, пожалуй, и бить некого. Все видят, что линия партии победила».

Из выступления И. Сталина на XVII съезде КПСС

«Призыв т. Сталина о ликвидации идиотской болезни — беспечности, о повышении бдительности, возымел действие — партийные массы политически возмужали, закалились на той громадной очистительной работе, какая проведена партией, особенно за последние 10 месяцев после февральско-мартовского Пленума ЦК».

Правда. 19. I. 1938

«...Было бы грубейшей ошибкой думать, что над таким великим организмом можно установить индивидуальное господство, власть, созданную искусственными средствами насилия и интриг.

Обманом, махинациями, подкупом, полицейскими мероприятиями и преступлениями, вводом... солдат в залы заседаний, ночным убийством политических противников в постели (двух сразу) — при помощи таких средств можно стать королем, императором, дуче или канцлером, можно и удержаться на таком посту. Но секретарем Коммунистической партии таким путем стать нельзя».

Барбюс А. Сталин. Человек, через которого открывается новый мир. М., 1936

«Однажды я сказал Сталину: «А знаете, во Франции вас считают тираном, делающим все по-своему, и притом тираном кровавым». Он откинулся на спинку стула и рассмеялся своим добродушным смехом рабочего».

Барбюс А. Там же

* Управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. — Авт.

Из воспоминаний Чайко Е. Ф.

Шестого числа, под праздник, надо было снять водные сооружения на Чумыше. Работал я в то время на лесозаводе в Тальменке сменным мастером. Поскольку наступили уже холода, ноябрь — дело не терпело отлагательств, и водные сооружения срочно надо было убирать. Требовалось для этой работы человек пятьдесят, не меньше. А нам зарплату в тот раз вовремя не дали, задержали, вот люди и взбунтовались — не пойдем, пока не выплатят. Решил я зайти в контору, посоветоваться. Кассир Поздеев увидел меня и говорит: «Ладно, пусть приходят, найдем деньги». В это время в дверь заглянул начальник отдела кадров Ершов: «Зайди ко мне».

Захожу. И вижу: сидит незнакомый милиционер. Я поздоровался. А он строго так на меня посмотрел:

— Фамилия, имя, отчество?

— Чайко, — говорю, — Ефим Федотович.

— Документы с собой?

— Нет.

— Тогда поедем на квартиру. Далеко живешь?

Не так чтобы далеко, отвечаю, но и не близко. Приехали на квартиру. Жил я тогда в бараке — полуземлянке. Милиционер первым делом все осмотрел, открыл сундук и все в нем перетряс, а у меня, по правде сказать, кроме сундука, ничего и не было. Забрал документы.

— Поехали.

— Куда? — спрашиваю.

— На кудыкину гору... Там все увидишь.

Минут через двадцать все прояснилось — посадили меня в КПЗ. А там уже находились председатель горисполкома Кошеленко (видимо, райисполкома. — *Авт.*) и директор заготзерна Сулимов. «Тебя-то за что?» — спрашивают. А мне откуда знать — за что.

Наутро приходит райпрокурор Бурлуцкий: «Претензии есть?»

Какие там претензии! Два дня он так приходил, по утрам, а на третий — хоп! — открываешь дверь, входит Бурлуцкий, но ничего не говорит, и дверь за ним закрывается на замок. Вид у него растерянный.

Кошеленко спрашивает его:

— Что это значит?

— А то и значит... — отвечает прокурор. — Сначала я тебя посадил, а потом и сам к тебе угодил.

Отсидели мы здесь полмесяца. Потом отправили нас в Барнаул. Ехали в «стольпинских» вагонах, окна зарешеченные. Как зверей везли. В Барнауле от вокзала погнали пешком до бывшего монастыря, там была теперь тюрьма. Поместили в одну маленькую камеру-келью 96 человек, не то, что сидеть, а стоять невозможно — как селетки в бочке. Плечо в плечо. Дышать нечем. И света почти не было — маленькое окошко сверху.

— А как вас кормили?

— Хлеба пайку — вот и все. Ни супа, ничего горячего. Ведро воды на всех дадут — попробуй разделить... Потом начали понемногу разгружать — вызывали одного за другим. Сулимова с Кошеленко увели куда-то. И меня вскоре перевели в 50 камеру, где было нас 170 человек. А рядом камера смертников, 49, и как только ночь, часа в два слышишь, как там хлопает дверь, открывается и закрывается... И людей куда-то уводят. А куда — неизвестно. Выводили — и с концом. Обслуга там состояла из заключенных по бытовым статьям. Спрашивали мы у них: куда людей ночами уводят? А они: «А-а, если уж увели, то безвозвратно».

Ну, а потом, ночью тоже, и нас однажды подняли. Сначала пешком до вокзала, а там погрузили в теплушки — и в Улан-Удэ.

— А суд?

— А суд... Когда в Тальменке сидел — вызывали тоже всегда ночью. На допрос. Следователь был молодой, вежливый: «Садитесь». Сажусь. «Вот вы такого-то знаете?» — спрашивает. «Знаю». — «Он вам говорил: давай иди в колхоз, а ты говоришь: за палочки я не буду работать. И еще: Овчарук Екатерина говорит, что на собрании вы сильно восхваляли Ленина и умаляли Сталина. Это правда?» Смотрю на него и не верю. «Так Овчарук Екатерине три года от роду, чего она понимает?» А он: «Все понимает, что надо. Подпиши протокол». И тут я вспомнил наказ Кошеленко, председателя горисполкома: ты, прежде чем он, когда будешь подписывать «допрос», ставь подпись выше, чтобы ничего потом не добавили. Так я и сделал. А судила вроде «тройка», не знаю точно...

— Разве самого вас на эту «тройку» не вызывали?

— Нет! Тогда никого не вызывали. Допросят — и все. А уж когда отправляли из Барнаула в Улан-Удэ, то перед посадкой в вагон объявляли: «Такой-то столько, такой-то столько...» Слышу свою фамилию: «Чайко... десять лет и пять лет — поражение в правах...»

«СИБЛОНЦЫ»

Барнаульская тюрьма, куда попал Е. Ф. Чайко и через которую прошли тысячи других людей, раньше была женским монастырем. В 1920 году монастырь был закрыт, а через пять лет туда перевели Барнаульский домзак, попросту — тюрьму. Вот что сообщалось по этому поводу в заметке, помещенной в газете «Красный Алтай» 15 марта 1925 года:

«Начадмотдела* т. Рогаяевым разработан проект перемещения Барнаульского домзак в бывший женский монастырь. Губинспектором заключения произведен подробный осмотр местности, имеющихся помещений монастыря. При условии небольшого ремонта, требующего затраты около 3000 рублей, монастырь будет приспособлен, так как более лучшего места подыскать пока нельзя. Клуб, библиотека и изолятор будут расположены в бывшем общежитии монахинь (каменное здание), а подвальные этажи используются под кухню и хлебопекарню. Старые здания домзак и вся прилегающая площадь будут использованы Г. О. М. Х. (городским отделом местного хозяйства Барнаульского горисполкома. — Авт.) под рабочие кварталы Око**».

Однако тогда, в середине 20-х годов, вряд ли кто-нибудь из читателей газеты «Красный Алтай» мог предположить, насколько зловещим станет это бывшее пристанище безбидных монашек, разбежавшихся кто куда после закрытия монастыря...

Тема лагерей и тюрем в контексте рассказа о сталинщине — особая, ибо система мест лишения свободы (а в тех условиях и лишения жизни) суть составная часть репрессивного механизма, та отстойная емкость, куда попадают отработанные смазка и масла. В этом отношении справедливо высказывание профессора М. Н. Гернета: «...понятие «тюремный режим» и понятие «система репрессий» неотделимы друг от друга»***. Особый интерес представляет и та эволюция, которую претерпела наша пенитенциарная система буквально за несколько лет — от радужных планов создания эффективного механизма по перековке по-

* Административный отдел — подразделение Алтайского губисполкома, занимающееся охраной общественного порядка и соблюдением законности.

** Барнаульская тюрьма и по сей день находится частично в помещении женского монастыря на одной из окраин Барнаула, в сосновом бору в районе Булыгино.

*** Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1956. Т. 5, с. 260.

средством трудового и культурно-политического перевоспитания* к планомерному уничтожению миллионов людей, единственная вина которых заключалась в том, что они были людьми.

Первые концентрационные лагеря на Алтае появились в 1920 году, спустя несколько месяцев после освобождения его партизанами и Красной Армией от колчаковского режима. Барнаульский и Бийский концлагеря находились в ведении подотдела принудительных работ Алтайского губисполкома. Правда, в те годы в них было немного (триста—четыреста) заключенных, скорее всего представителей буржуазии, оппозиционных партий, духовенства, офицеры колчаковских армий. Были среди них женщины и дети (дети, по-видимому, жили вместе с родителями — они не считались заключенными, но на их содержание отпускались казенные суммы).

Условия содержания в концлагерях были несравненно лучше, чем в 30-е годы. Достаточно сказать, что заключенные питались по норме красноармейского тылового пайка. Дневной рацион составляли 600 г муки, 100 г мяса, 70 г крупы, 160 г овощей, сахар, перец, соль, табак, жиры, чай. В месяц выдавалось 5 коробок спичек и 200 г мыла. Но довольствие это, по-видимому, полностью выдавалось только на бумаге. Иначе чем объяснить приказ № 73 от 27 июля 1922 года завподотделом принудработ Мухачева**:

«За последнее время мною замечено хождение заключенных по городу (Барнаулу. — *Авт.*) без всякой надобности и просящие милостыню. Во избежание подобных явлений приказываю заместителю коменданта Барнаульского лагеря принудработ немедленно снять с внешних работ всех заключенных... и посылать на работы с контролем над ними надзирателей. А также упразднить шатание заключенных по городу и просьбу милостыни». (ГААК, фР-10, оп. 5, д. 17, л. 103.) Приказ этот, правда, свидетельствует и о том, насколько мягок был лагерный режим, коль заключенные могли свободно выходить на волю.

В обоих концлагерях — Бийском и Барнаульском — действовали «воспитательные коллегии», куда входили 5 человек — 2 заключенных и 3 представителя администрации. «Коллегии» имели довольно широкие права: «следить за поведением заключенных, рассматривать всякого рода жалобы и заявления, поступившие от заключенных, и давать свои мотивированные заключения по заявлению, ходатайствующему о досрочном освобождении. (ГААК, фР-10, оп. 5, д. 17, л. 99.)

В лагерях действовали школы по ликвидации безграмотности. Каждый день два часа не умевшие читать и писать обучались грамоте. В праздничные дни устраивались лекции, чтения на тему «просветительного характера в масштабе государственной политике, дабы, — как выразился завгубпринудработ Мухачев, — освободившийся заключенный, уходя из лагеря, не был бы враждебно настроен к власти». (ГААК, фР-10, оп. 5, д. 17, л. 99.)

Возглавлял лагерь комендант. В Барнаульском лагере долгое время эту должность занимал Иван Прокофьевич Данилов, 1893 года рождения, член РКП(б) с 1918 года. В прошлом он был печатником, жил в Барнауле на Косом взвозе. Имел жену Евдокию, 28 лет, сына Григория, корову, лошадь и «домашнее» образование. В Бийске комендантом был 26-летний Иван Кузнецов, тоже член партии. В прошлом служил в царской армии шофером. О себе писал: «Профессия моя слесарь. С детства работаю по заводам, т. е. живу своим личным трудом». (ГААК, фР-10, оп. 5, д. 16, л. 50.) Кроме коменданта, в штатах лагеря

* «В первые годы революции в судебной практике и затем в законодательстве (ст. 25 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР, 1919 г.) наряду с репрессивными мерами наказания в понятие наказания включалась и такая мера, как прохождение курса политграмоты». — И. С. Ной. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, изд-во СарГУ, 1965, с. 31.

** Здесь и далее в цитатах дословно воспроизводится оригинал.

числились два помощника и девять надзирателей. Охранников предусмотрено не было.

Документы по алтайским концлагерям относятся к 1920—1922 годам. Более поздних документов нет. Скорее всего, к 1923 году в крае, как и по всей стране, концлагеря были уничтожены. Исчезли, чтобы через несколько лет появиться вновь, возродившись в чудовищной, изуверской форме...

Имелась ли связь и преемственность между лагерями начала 20-х годов и лагерями конца 30-х? Сложно ответить на этот вопрос, но, на наш взгляд, именно крайности, нетерпимость и экстремизм, как-то объяснимые в годы гражданской войны и совершенно непонятные в мирное время, стали приводными ремнями того зловещего механизма, важнейшим составным элементом которого являлась и система ГУЛАГа.

Приукрашивание нового тюремного «быта», характерное для 20-х годов, доходило порой до абсурда, вызывая праведный гнев граждан, считавших, что в таких условиях жить лучше, чем на свободе.

Так, в газете «Красный Алтай» за 17 марта 1925 года появилась статья «В Бийском домзаке». «Чистые коридоры, лестницы, опрятности которых могут позавидовать многие из наших учреждений», — пишет автор. В домзаке имеются кооперативные и пчеловодные курсы (последние особенно популярны среди заключенных), 15 мастерских, сельскохозяйственная колония, клуб, где ежедневно читаются лекции и проводятся беседы на разные темы, театральная группа и стенгазета «Бийский заключенный». «Работают совсем по-вольному. На 100 арестантов — три надзирателя». Чем не жизнь?..*

А в 1928 году в Москве состоялась даже «Выставка мест заключения», где многочисленные посетители могли ознакомиться с жизнью лагерей и тюрем (пока, правда, заочно). В общем, совсем не страшно. Хорошо живут заключенные. Даже слишком хорошо, надо бы построже, чтоб в наказание были не экскурсии и кружки за дармовой кусок хлеба, а труд тяжелый да камера холодная... Знать бы им, что через несколько лет многие из посетителей будут с горькой усмешкой вспоминать и ту выставку, и свое гражданское негодование... И вряд ли кто-нибудь в 20-е годы мог представить себе, что новая система мест заключения, построенная на иных, трудовых принципах и в корне отличавшаяся как от царской тюрьмы и каторги, так и от системы лишения свободы в буржуазных странах, вскоре превзойдет их по своей жестокости и антигуманности и может сравниться лишь с нацистскими лагерями смерти.

...А машина набирала обороты и все больше и больше людей отбрасывала она как отработанный или ненужный материал. Обострение ситуации в стране вызывало ужесточение внутренней дисциплины, репрессии. «Жизненный уровень в конце 20-х—начале 30-х годов резко упал, были введены карточки, недовольство росло, в стране стихийно возникали забастовки. Многих из организаторов и активных участников подвергали репрессиям», — пишет историк Рой Медведев. (Новое время. 1989, № 7, с. 42.) Проходили такие забастовки и на Алтае.

В нашем распоряжении имеется письмо, адресованное в Забастовочное бюро, Стаечное бюро и газету «Красный Алтай». Автор, по понятным причинам, не мог указать своего имени. Предлагая свою программу изменений в экономике, он пишет: «О Бюро Заб-стаечного комитета. Может быть, мы и ошиблись — круто просим своих требований, то просим исправить некоторые фразы нашей ошибки. Ни вершка земли — капиталистам»***. К сожалению, пока неясно, на каких пред-

* В те же годы был снят первый пропагандистский фильм, расписывающий «прелести» лагерной жизни «Соловки». Насколько он лжив, можно узнать, посмотрев документальный фильм режиссера М. Голдовской «Власть Соловецкая», в котором с разоблачениями выступают бывшие заключенные Соловецких лагерей.

** ГААК, фР-345, оп. 2, д. 17, л. 35.

приятнях действовал Забастовочно-стачечный комитет в 1932 году, чего он добивался и какова судьба его участников.

С конца 20-х годов начинается огромный приток в лагеря так называемых «раскулаченных». Вооруженное сопротивление насильственной колхозизации, в том числе и у нас на Алтае (усть-пристанское крестьянское восстание в марте 1930 года), о котором еще предстоит рассказать историкам, влечет за собой новые репрессии... Круг замыкается. Начинается новая эпоха — эпоха бесчинств, беззаконий, издевательств, мракобесия. Эпоха Великого Инквизитора...

В конце 20-х — начале 30-х годов в стране в массовом порядке стали появляться лагеря и колонии, разраставшиеся кустами во всевозможные «лаги» и объединившиеся под единой вывеской — ГУЛАГ (Главное управление лагерей). Устрашение приобрело иной характер. На смену лубочным картинкам «домзаков» 20-х годов пришли города-лагеря, фабрики смерти, огромные районы страны, населенные заключенными, «кулаками»-крестьянами, «расхитителями»-рабочими, «вредителями»-интеллигентами и людьми в форме НКВД. Страна была разделена на два лагеря — и один из них был «исправительно-трудовой»...

На Учредительной конференции Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал» (28—29 января 1989 г.) был выставлен огромный стенд, озаглавленный «Архипелаг ГУЛАГ», с картой страны и названиями лагерей на ее территории.

К сожалению, на ней не был отмечен СибЛОН (или СИБУЛОН) — Сибирские лагеря особого назначения, впоследствии широко известные как Сиблаг. По состоянию на 1 января 1931 года в Западно-Сибирском крае (ЗСК), куда входил и Алтай, находилось 8 домов заключения, одна закрытая колония, трудом для несовершеннолетних нарушителей, 12 открытых трудовых колоний, а количество заключенных в них — 14122 человека*. Перегруженность мест заключения, особенно тюрем, была огромной. Так, в общих камерах Бийского домзака, максимальная вместимость которых 278 человек, содержалось 744, а в камере № 16, куда помещалось только 61 человек, находилось 194.

Антисанитария тюрем и перегруженность больниц приводили к неоднократным вспышкам эпидемий. Прокуратура лишь констатировала эти факты. Год спустя в докладе нового крайпрокурора Мерэна Прокурору РСФСР (№ 641/с) читаем:

«Почти все без исключения акты обследований арестных помещений рисуют их состояние такими красками: нарследователь Волчихинского района: «Камеры переполнены и находятся в антисанитарном состоянии, полы грязные, моются редко, выметаются редко, воздух спертый, нет мусорных ящиков и плевательниц, в силу этого о чистоте камер невозможно мыслить». А вот как описывают прокуроры арестные помещения некоторых алтайских районных управлений милиции (РУМов): «Камера в недостаточной чистоте, требует побелки, полы не моются, одна половина камеры холодная, нормальная вместимость 14 человек — налицо 22, кипятком снабжаются в недостаточном количестве, последние дни не снабжаются ввиду порчи самовара, бака для кипяченой воды нет». (Родинский РУМ) «Пол... в камерах никогда не моется, всюду невероятная грязь, для того, чтобы полы привести в более или менее надлежащий вид, надо оскрести втопанную грязь железной лопатой, свет дневной очень мал, т. к. окон нет, а есть дыры, прорубленные в одном бревне под потолком. Камеры переполненные, заявляют, что среди них развелась масса вшей...» (Хабарский РУМ). (ГААК, фР-1575, оп. 1, д. 12, л. 47—48.)

Местами ссылки в Западной Сибири являлись северные районы Нарымского края: Колпашевский, Александровский, Зырянский, Карга-

* Здесь и далее данные взяты из доклада прокурора Западно-Сибирского края Арсеньева Прокурору Республики. Публикуются впервые. (ГААК, фР-157, оп. 1, д. 12, л. 16—19).

совский, Парабельский, Чаинский и Тарский районы бывшего Омского округа. На 1 декабря 1930 года в ссылке находилось 3437 человек. Однако массовое бегство ссыльных с мест поселения уменьшило это количество на 645 человек. Среди ссыльных треть составляли крестьяне. Именно в этот период начинается массовое выселение «раскулаченных» в Нарым, ставший для сибирского крестьянства зловещим символом, о котором сочинялись песни, частушки, легенды, как в свое время о Беловодье.

Среди ссыльных были и политические. Правда, тогда их было немного — 136 человек (к началу 1930 г.). Распределитель ссыльных находился в Томске. Оттуда их направляли к месту назначения, зачастую совершенно не готовых к суровым сибирским морозам, не приспособленных к суровым условиям таежной жизни и поэтому обреченных на верную смерть. Так было со многими тысячами ссыльных-«раскулаченных».

После возникновения Сиблага (со штабом в Новосибирске) лагеря на Алтае вначале переходят непосредственно в его ведение. Однако со временем они обособляются в особый Алтайлаг.

Алтайлаг, по известным нам сведениям, это:

Чистюньские лагеря — лагерный комплекс в Топчихинском районе, на территории современного совхоза «Раздольный», который, по выражению местных жителей, стоит буквально на костях человеческих.

Боровляньские лагеря — первые крупные лагеря. Стали широко известны после публикации переписки философа А. Ф. Лосева со своей женой, бывшей заключенной Боровляньского лагеря.

Из воспоминаний Бориса Ивановича Козлова, жителя р. п. Тальменка: «До войны она (Боровлянька. — Авт.) называлась Ново-Боровлянька и находится сейчас в Троицком районе нашего края. Туда идет железная дорога от станции Буланиха, это в сторону Бийска. От Буланихи 34 километра до конечной станции со звучным названием Соколинская. Это и есть Боровлянька.

В самой Ново-Боровляньке до войны лагерей не было, располагалась только контора этих лагерей. За колючей проволокой «сиблонцы» (так называли их у нас на участке) находились в лесу, западнее и юго-западнее поселка, на 144-м квартале, на новом 15-м, на 70-м и 82-м кварталах.

В самом поселке был лагерь недолго, уже после войны (в 1948—1949 гг.), но его быстро ликвидировали. В 1947—1950 годах заключенные работали и на «зоне» (12 км южнее Боровляньки). Железная дорога в Боровляньку, проведенная туда в конце 20-х годов, позволяла быстро маневрировать этой «мобильной фирме» со зловещим названием «Сиблаг». Лагеря быстро возникали и также быстро ликвидировались.

Существует предположение, что Боровляньские лагеря были или включены как производственные единицы в систему треста Алтайлес*, занимавшегося лесоразработками на территории Алтая, или выполняли хозяйственно-экономические задания на особых правах как подразделение УИТЛиК** УНКВД по Алтайскому краю.

Предположительно в разное время на территории края существовали лагеря в Аламбае (ныне Заринский район), Сентелеке (Чарышский район), в поселке Чудиновке (ныне Новосибирская область), лагерь на разъезде 18-й километр, недалеко от Барнаула, большой пересыльный лагерь в Кызыл-Озеке, в семи километрах от Горно-Алтайска. В годы войны и частично в послевоенный период заключенные принимали участие в строительстве Михайловского содового комбината. Там же работали и мобилизованные трудармейцы, среди которых немало

* Алтайский государственный лесозаготовительный трест (Алтайлес) был создан на основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР № 47 от 27 января 1938 года. В 1958 году (после XX съезда КПСС) преобразован в краевое управление лесного хозяйства.

** УИТЛиК — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний.

было советских немцев. Условия жизни и труда в трудармии мало чем отличались от лагерного режима. Та же «колючка», те же охранники с собаками, короче, все атрибуты и «прелести» ГУЛАГА. А ведь этих людей никто не лишал свободы, никто не выдвигал против них никаких обвинений. Вот разве что фамилии у многих немецкие... Среди трудармейцев были и многодетные женщины, оторванные от своих семей, и несовершеннолетние подростки, и немощные старики. Немыслимо высока была смертность. Часто прокатывались аресты, и трудармеец отправлялся колесить по лагерным маршрутам в качестве «зека»...

Особый интерес представляют воспоминания тех, кто непосредственно работал в лагерях, тем более, служил в НКВД.

Лупанова Анастасия Михайловна, ныне жительница г. Благовещенска, рассказывает:

«В январе 1938 года я по призыву Хетагуровой* приехала в Хабаровск. Меня направили в город Свободный в железнодорожное строительство Управления НКВД по Дальнему Востоку, немного подучили и 9 февраля 1938 года направили на работу в Бушуйский ОЛП (отдельный лагпункт. — *Авт.*) Бамлага в качестве секретаря аттестационной комиссии УРЧ (возможно, учетно-регистрационная часть. — *Авт.*). Вот тогда я и посмотрела, что там был за контингент заключенных. В большинстве своем это были люди старые, интеллигентные, но доходаги. Пеллагрики, как их называли. У них вся кожа была покрыта чешуей, как у рыбы. Им жилось очень худо еще и потому, что уголовники отбирали у них все, что можно было отобрать. Все эти люди были осуждены «тройкой» за антисоветскую агитацию на 10 лет. Из них, думаю, никто не вышел в то время. В 1938 году я была переведена в 1-е отделение Приморлага в качестве помощника начальника 2-й части. 22 апреля 1940 года заняла должность старшего инспектора 2-й части 10-го отделения. Там мы строили железную дорогу к озеру Хасан. Начальником лагеря был Титов. Вскоре в связи с реорганизацией меня перевели в Нижне-Амурлаг НКВД на ст. Известковая, а потом на Урал старшим инспектором 2-й части 7-го отделения. Там было много заключенных, осужденных по бытовым статьям, их отправляли на фронт. 20 мая 1943 года меня откомандировали в Алтайлаг НКВД на должность старшего инспектора УРЧ 4-го отделения. В Алтайлаге мы строили содозавод (Михайловский содокомбинат. — *Авт.*), заготавливали крепежный лес для шахт и строили железную дорогу от Кулунды до Михайловки. 21 февраля 1945 года я была переведена на должность начальника УРЧ 1-го отделения Саранстроя НКВД. Почему это название изменилось, я не помню, потому что жила и работала в Михайловке. А 22 марта 1946 года я уволилась по собственному желанию и уехала в Омскую область. Алтайлаг стал расформировываться (скорее всего, имеется в виду расформирование лагерей, связанных со строительством Михайловского содокомбината. — *Авт.*), часть его перевели в Караганду, а часть — в Черемхово Иркутской области... Помню одного заключенного по фамилии Василенко, звали его как будто Василий Маркович, 1916 года рождения, осужден как сын врага народа. Отец его работал в Киеве то ли в облизполкоме, то ли в обкоме, точно не помню. Вот он, по-моему, не мог и не может (если, конечно, жив) простить то время. Учился в институте — выгнали, а потом дали срок 8 лет... Были и такие случаи, когда привозили заключенных из Средней Азии. Они мерли на наших сибирских да и дальневосточных морозах, как мухи. Не выдерживали, ведь им не давали полушубков...»

Вспоминает Федотова Мария Андреевна, жительница г. Новоалтайска:

«Меня арестовали 11 августа 1937 года. Я в то время работала

* Жена командира, призывавшая девушек ехать жить и работать на Дальний Восток.

в узловой больнице ст. Гудермес Ordжоникидзевской железной дороги. В лагерях я работала врачом и одно время вела поносное отделение в центральном госпитале Сиблага*. Больные умирали от дизентерии, сыпного тифа, туберкулеза легких и многих других заболеваний. Смертность была ужасающей, в особенности в первое время. Но я хочу сказать, что особое место занимала смертность от пеллагры. Пеллагра возникает в результате неполноценного питания, полностью лишённого витамина РР. Вылечить больного на лагерной пище невозможно...»

Из воспоминаний Чайко Е. Ф. (окончание)

Когда прибыли в Улан-Удэ, там нас разместили в палатках — ни помещения теплого, ни нар, а уже ноябрь кончался. Холодно. Горячей пищи и здесь тоже не было. Воды не давали. Снег выпал по колени — вот и питайся. Но мне еще повезло — попал я в строительную колонну. А было так. Ехал со мной в вагоне бывший главный инженер Барнаульского текстилькомбината Рачинский, и в Улан-Удэ мы с ним попали в одну палатку. Но здесь он заболел, простудился в дороге. Вот и попросил однажды: «Слушай, Ефим, если бы ты раздобыл кипяточку...» Кружка у меня была, вот и решил я на костерке снег растопить в ней, нагреть водички для больного Рачинского... Иду и вижу — народ чего-то собрался, какая-то запись идет. Оказалось, плотники нужны для строительных работ. Ну, я и записался.

Вскоре нас погрузили опять в вагоны и повезли в Сквородино, что на речке Уда, а там тупик, так мы там и осели жить прямо в вагонах. И уже на другой день после приезда пошли на работу. Строили пересылку. Не успели достроить, прибыл этап из Калининской области — 700 человек. Но ни одного из них даже из вагонов не выпустили — тифом они заболели. Так все и остались там... Потом их уже хоронить куда-то возили.

— Все умерли?

— Все. Все до единого — 700 человек.

— Их не лечили?

— Какое там лечение, господи! Тогда этап за этапом, этап за этапом... Жуть, что творилось тогда!.. Начальником нашей колонны, 39-й, был Михайличенко. Как работали? Устанавливали группы — например, первая, вторая, третья... Третья — значит, работа полегче, а первая — самая тяжелая, долби мерзлую землю.

— И пайки, наверное, разные были?

— А как же! Сколько заработал. Однажды вечером приходим с работы — комиссовка. Сидит врач, женщина, просматривает формуляры, лагерный документ, в котором все указано — статья, срок и прочее. Время позднее. Люди уставшие. Вот и получилась накладка. За мной стоял старик Лаптев, кожа да кости. Врач еще не взяла в руки мой формуляр, а Лаптев, как сейчас помню, положил свой, ну врач и перепутала... У меня в формуляре первая группа, я молодой был, здоровый, а она, не глядя, вписала третью. Подходит Лаптев, а там и смотреть нечего — больной человек. И ему вписала: «Третья... без вывода из зоны».

Наутро развод. Помощник начальника по труду Шалаботин посмотрел на меня с подозрением: «Чем болеешь, Чайко?» А бригадир наш Котов тут как тут: «У него ноги большие». Назначили меня дневальным по бригаде. Потом освободилось место банщика — меня туда. Так и работал, пока не перевели в Наушки.

— А в каком году вы были в Наушках?

— Это был уже 1939.

* В районе г. Мариинска, Кемеровская область.

— В это время там строили дорогу в Монголию до Улан-Батора?

— Нет. Наушки была конечной станцией, там был поворотный круг. Мы когда приехали туда, дорога уже была построена. А мы строили депо, вокзал, электростанцию... Вот еще что интересно. Когда повезли нас из Наушек, на одном из переездов, во время остановки, увидел я того самого Рачинского, бывшего главного инженера... Тачку возит. Худой. «Все, — говорит, — долго не протяну...» Собрал я немного хлеба в своем вагоне и отдал Рачинскому. Пусть хоть один раз поест.

— А как вас в то время кормили?

— Ну, питание, надо сказать, когда строили, было сносное: 900 граммов пайка была. Приварок тоже был. Денег, правда, на руки не давали, хотя, говорят, и переводили на лицевой счет. Что это был за «лицевой счет» — не знаю. Из Наушек нас перебросили в Челябинск. Но там не приняли, поскольку все мы оказались большесрочниками (по 10—15 лет) и статьи политические. Жуть что было! Рта не раскрой, а то сразу прикладом по зубам. Отсюда нас повезли куда-то на юг, выгрузили на станции Аляты, а дальше погнали пешком. На каком-то полустанке посадили в машины вместе с конвоем, привезли в город Сарьяны на реке Кура. Переправили на другую сторону. Сделали привал. Дали нам кильки и немного хлеба. И дальше погнали. Идем, а языки к небу присохли — пить охота. Сил никаких. И вдруг увидели арычок, и все разом кинулись туда. «Не пойдем дальше, хоть стреляйте». Конвойные говорят: «Попили и подымайтесь, до вашей колонны уже рукой подать. Там все уже для вас приготовлено — жилье, баня и ужин горячий». Приходим. Кол забит, на фанерном щитке написано: «Тридцатая колонна». И больше ничего — ни жилья, ни ужина. Поставили палатки, устроились кое-как. А наутро уже на работу. Требования были суровые. Пока норму не сделаешь, в зону не пустят. Бывало придешь, а пальцы рук не разгибаются и не сгибаются — как держал тачку, так они и задеревенели.

— Скажите, а какое в то время было отношение к Сталину в лагерях? Говорят, что даже там люди ему верили?

— Всякое было. Народ же разный. Помню одного грузина, еще по Наушкам. Раньше, до революции, он был политсыльным и сюда попал как «враг народа», политзаключенным, — так он прямо говорил, этот грузин: «Сталин расчищает себе путь к власти». Но такие разговоры велись редко. Теперь-то и я понимаю, что к чему, а тогда ничего не мог понять — кто и за что сидит. Работал — и все.

— А фамилию того грузина вы не помните?

— Нет, не помню. А вот еще: когда в Наушках были, у нас в зоне портрет Ежова висел. И вдруг — хоп! — нету портрета, сняли. Стало быть, и Ежов не всесильным оказался. Или еще раньше — когда из Новосибирска на Красноярск нас везли, слух пронесся: в хвосте нашего состава вагон прицеплен, Эйхе в нем везут.

— В одном поезде ехали? А как вы узнали?

— Да как не узнаешь! Не иголка же в стогу...

— А самого Эйхе видели?

— Нет. Видел только, как отцепляли вагон.

— Ну а потом?

— Потом строили дорогу Баку—Аляты. Там нас и война застала. Дорога называлась имени Берии. И построили ее очень быстро, месяца за три, столько там было народу!..

— Все заключенные?

— Все. Вольнонаемных не было. Один только начальник лагеря и был из вольных, остальное «начальство» — заключенные. Условия тут были тяжкие. Как говорится, не приведи бог никому.

— Много умирало людей на строительстве?

— Очень много! Привезут рыбы соленой, нажрут люди — и пошла дизентерия косить. Не успевали гробы делать. Да и гробы там осо-

бье — один на троих-четверых, а то и на пятерых, если войдут. Сотнями хоронили.

— А потом?..

— Потом погрузили на пароход — и через Каспий переправили в Красноводск, оттуда в Ташкент. Там недолго мы были. Из Ташкента повезли на Урал, в Нижний Тагил. Лагерь был на 12 тысяч человек.

— А номер или название лагеря помните?

— Восьмой район. В самом городе. Барачного типа строение — коридор, камеры на двенадцать человек. Зона огорожена высоким забором с проволокой, полоса — и еще проволока. Полосу эту рыхлили и боронили, чтобы, если кто вздумает бежать, след остался..

— У вас был номер лагерный?

— Номера не было. На Урале я пробыл четыре с половиной года, отсюда и освободился.

— Расскажите, какой у вас был распорядок.

— Выходных дней не было. Утром чуть начинает светать — развод. Зимой так часов в шесть. Еще темновато. Берешь котелок, получаешь суп, пайку давали еще с вечера. Кому полкило, кому четыреста граммов, а кому и триста... Работали без перерывов. От темна до темна.

— А конвой менялся?

— Конвой, конечно, менялся. В Нижнем Тагиле конвой был из фронтовиков, которые находились тут после госпиталя — кто подчистую комиссован, а кто на выздоровлении, ожидая отправки на передовую..

— И как они относились к вам?

— О-о, это ж фронтовики! Народ сознательный. Помню, идем один раз, а там база — картошка грудой свалена. Конвоир наш, высокий, лет тридцати парень, и говорит: «Ну, мужики, сейчас пойдем мимо картошки — набирайте». А там заведующий: «Не трожь!» Конвоир цыкнул на него, а мы тем временем понабрали картошки — кто во что. Потом на костре пекли..

— А чем обычно заканчивался ваш рабочий день?

— Да всегда одним и тем же: пришел, получил баланду — и на нары. Вот и все.

— Какие-то праздники были у вас?

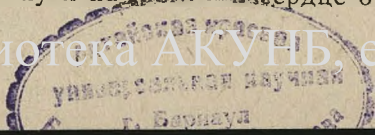
— Не праздники — мука одна. С 6 на 7 поября устраивался шмон — обыскивали, все нары перевернут, думали, наверно, что пулемет припрятан перед праздником... Всю ночь спать не давали. Ну, правда, седьмого не работали, как и Первого Мая.

— Чем вы занимались в праздники?

— Да всегда одним и тем же: сидишь на нарах да вшей бьешь. Или что-нибудь чинишь.

— Ефим Федотович, а какие отношения были между политическими и уголовниками?

— Ну, какие там отношения... Считали, раз политический — значит, враг народа. Другое дело — бытовые статьи. Их и на фронт брали. Кое-кто и сам заявления подавал, добровольно шел. А политических не брали. Я два раза писал заявление. Безответно. Вроде война и вовсе нас не касалась. А она всех касалась... Помню, приходит как-то утром начальник по культурно-воспитательной работе Кораблев и обращается к нам с речью: «Граждане временно заключенные, ваши сестры, отцы и братья на фронте кровь проливают. У вас на лицевых счетах имеются деньги. Кто сможет подписаться на заем?» Вот я и выступил первым: «Сколько там на моем лицевом счету — все подписываю». А когда освобождался, на моем «лицевом счету» числилось 19 рублей. Вот сколько заработал! Выдали мне две буханки хлеба, сахару, воблы и денег. Вышел я на свободу — аж голова с непривычки закружилась. А ребятни около вокзала! Так и шныряют, поблескивая глазенками... Тогда еще голодно было. Гляжу я на них — и сердце от жалости



сжимается. Вытащил одну буханку, другую, разломал на кусочки, раздал сахар и воблу. Ничего, думаю, как-нибудь доберусь до дома, не пропаду. А ребятишки хоть раз поедят.

Пришел за билетом — очередища. Кое-как взял. Место мое оказалось на второй полке, а внизу офицер Николай, фамилию не помню, он из Германии в отпуск ехал, до Новосибирска. Хлеба у меня горбушка осталась, на остановке схожу за кипятком, попью — и дальше. «Что-то ты, друг, жидко питаешься, — смеется. — А ну подсаживайся к столу, есть у меня энээ...»

Так и доехал.

— Ефим Федотович, а всех ли вовремя освобождали, у кого заканчивался срок?

— Нет, многие пересиживали. Знаю мужиков по Нижнему Тагилу — уже и срок закончился, а их все держали.

— А новый набавляли за какие-то проступки?

— Вообще ничего не объявляли, задерживали — и все.

— Кого-нибудь репрессированных, из ваших тальменских, вы помните?

— Помню, конечно. Тогда многих забрали, а вернулись немногие... Кружня работал председателем промартели в Старо-Перунове, арестовали его, увезли — и с концом. Щербаков был управляющим госбанка в Тальменке, а Юров — колхозник из Старо-Перунова (там колхоз был и промартель), оба не вернулись из лагеря. Тогда говорили так: когда закидывают невод — попадает рыба и крупная, и мелкая. Такой произвол был, что не приведи бог. Людей ни за что хватали...

— Ефим Федотович, вот вы освободились из лагеря с пятью годами поражения в правах, что это означало на деле?

— Голосовать не имел права.

— Других ограничений не было?

— Были, конечно, да тут все зависело от того, с кем дело имеешь. Поначалу я кузнецом в леспромхозе работал, потом пригласили меня лесником в Курочкино. Там, в конторе, спросили у меня: «Сидел?» Сидел, говорю, от звонка до звонка. На этом допрос закончился — и в лесники меня зачислили. Вот я и говорю, все от людей зависело — кто понимал, а кто и не понимал. А пять лет я не голосовал.

— А на реабилитацию вы сами документы подавали?

— Один хороший человек надоумил. Я к тому времени из Курочкиной в Хмелевку перебрался, а он коннобазой там заведовал. Фамилию не помню, Александром его звали. Раньше он в Ленинграде какой-то большой пост занимал по кинофикации, в 37-м был арестован. Освободился без права проживания в родном городе и оказался в Хмелевке. Вот он и надоумил меня. «Давай, — говорит, — Ефим, пиши, пусть пересматривают дело...» Я и написал. А с ним самим вот какая история приключилась. Жена его Тамара во время войны к немцам в Германию попала. Многие годы он о ней ничего не знал. А здесь, в Хмелевке, сошелся с одной хорошей женщиной, вдовой, с детьми, жили неплохо, и к детям он относился хорошо. А тут как раз от сестры из Ленинграда пришло ему письмо: «Саша, Тамара в Ленинграде, живет очень плохо». Он взял отпуск — и в Ленинград. Потом, когда вернулся, рассказывал мне. Захожу, говорит, а она седая. Смотрит на меня и не узнает. Я, говорит, не выдержал и заплакал: «Тамара, неужто мы так изменились?..»

Вернулся в Хмелевку, а душой там. Ну и не выдержал, во всем признался своей второй жене. А она — в слезы: «Не отпущу». Дети, уже повзрослевшие, встали на его сторону: «Нельзя так, мама, пусть едет. Он и так много сделал для нас...» Вот как судьба распорядилась.

— Ефим Федотович, а стукачи в лагере были?

— Нет, не помню таких, чтобы в открытую доносили. Ну, разведочка, может, и была, подслушивания всякие со стороны самого на-

чальства... Так с них и взятки гладки, как говорится, по службе небось положено...

— А побеги из лагеря случались?

— Нет. Побегов тоже не было.

— Как вы думаете, почему?

— Да ведь народ у нас был простой, колхозники да работяги, куда им бежать.

— И даже мыслей таких не возникало?

— Насчет других не скажу, а у меня не возникало. Да и слухи, или, как там говорили, «параша», то и дело ходили по лагерю: вот, мол, дела пересматриваются, дела пересматриваются... Ну и ждали. Надеялись. Правда, в конце срока и верить уже перестали, а бежать все равно не пытались... Зачем?

— Скажите, а во время войны лагеря пополнялись?

— Да, в основном, по «бытовым» статьям.

— А политические?

— Нет, политических не было. Вояк много попадало.

— За что?

— 193-я статья. Вот у нас в Нижнем Тагиле Иван Вершинин был, отчаюга. Молодой... Примерно ваших лет. Летчик. Работали мы в мехмастерской. Получил два года за какое-то воздушное хулиганство, как он говорил. Пробыл он, правда, всего месяца четыре, потом его отправили обратно на фронт.

А в другой раз и вовсе интересный случай был. Там у нас, в Нижнем Тагиле, пересылка была, где содержались люди ослабленные, малотрудоспособные, вот и отправили однажды нашу бригаду на подкрепление — возить опилки и шлак, потолки засыпать. Работали мы, а тут как раз и появилась эта слабкаманда, вели их куда-то мимо нас. Большинство молодежь. Отбоя от них нет — дай покурить, дай покурить. И ко мне один подходит: «Дядя, табачку на закруточку не найдется?» А я ему: «Иди ты, — говорю, — вас тут вона сколько...» Он стоит, не уходит. «А вы меня не помните?» Нет, говорю, не помню, кто ты такой? Смеется. «Так я ж Иван Сорок».

Елки зеленые! Глянул я на него: как две капли на сестру мою сродную похож — племянш оказался. Тоже из Тальменского района. «Ты-то, — спрашиваю, — как здесь очутился?» Оказывается, опоздал на работу, во время войны на этот счет строго было, вот Иван и попал в лагерь. Вот уж поистине гора с горой не сходится, а человек с человеком... Надо же, где встретились! Ну, их, этих 193-х, вскоре после войны освободили.

— А бывших военнопленных после войны не было у вас?

— Таких я не встречал. А вот женщины, которые за связь с немецкими офицерами, как тогда говорили, попадались. Жили они, конечно, отдельно, в своих бараках, а лагерь был один. Женщин было много. Работали они в пошивочных цехах, в то время как мужчины трудились в мехмастерских.

— Люди по возрасту были разные в лагере?

— Всякие были: и молодые, и старые, лет за шестьдесят, и вовсе несовершеннолетние, лет по шестнадцать... Всякие были.

— А вам в лагерях не приходилось встречаться с людьми, занимавшими до ареста высокие посты?

— Нет, не приходилось. Слышать слышал, я уже говорил вам, что, когда нас везли из Новосибирска, вагон к нашему составу прицепили в хвост, Эйхе в нем был... Но видеть мне его не пришлось. Говорят, вскоре его и расстреляли.

— Ефим Федотович, а как вы думаете, тех, кого сажали за сотрудничество с немцами, все были виновны?

— Все не все, а большинство, конечно, заслуживали наказания. Тут уж видно было по ходу дела: предатели.

— Сроки у них были большие?
 — Разные. И по пять, и по десять, и по пятнадцать лет.
 — Газеты вам приходилось читать? Или радио слушать?
 — Радио было в Нижнем Тагиле, слушали иногда.
 — И как заключенные относились к ходу войны, может быть, кто-нибудь злорадствовал по поводу наших неудач?
 — Нет, такого не было. Тогда у многих, кто сидел, близкие были на фронте — у кого сын, у кого отец, брат. Чему же радоваться? Обида была: война, а мы ничем не можем помочь. Мне брат писал с фронта. Другие тоже получали письма.

— Значит, право на переписку у вас имелось?
 — У кого имелось, а у кого — нет. Разобраться там было нелегко. А начнешь разбираться, справедливость искать, дак и в карцер можешь угодить...

— Карцеры во всех лагерях были?
 — А как же! Вот у нас был карцер, за Баку, где-то метр высоты, потолок — сетка и кругом сетка — чтоб ни стоять, ни ходить. Скрючешься и сидишь. Старик там у нас был, баптист, по воскресеньям отказывался работать. Как его начальство ни уламывало — ни в какую! Хоть голову, говорит, рубите — не пойду. Ну вот, его за эти отказы и помещали в той клетке. Она стояла на видном месте, около вышки, прямо под открытым небом. Утром идем на работу, а баптист уже в «садке» — значит, воскресенье. Потом этого деда Календарем прозвали.

— А в Нижнем Тагиле какой был карцер?
 — Там ледяной — пол холодный, стены холодные. Ни скамейки, ни нар. Но в Нижнем Тагиле нам повезло на начальника. Хорошо его помню: Писаренко Арнольд Рафаилович, еврей, очень был справедливый человек, и нашу жизнь по возможности старался облегчить. Жалел. Потому что и сам десять лет ни за что отсидел. Работяг уважал, а всякое жулье за версту видел и не жаловал. Лагерь у нас был смешанный — всякого народу хватало. Вот Писаренко и устраивал иногда «облавы»: наденет на себя что похуже, шапку на глаза, котелок в руки — ну доходяга и доходяга. Была такая категория людей — может, ленивее других, а может, и по другой какой причине, а работа у него не идет, выработка низкая, к ним и отношение такое же плевое — и обувь неважная, и бушлат третьего срока, и все прочее. А Писаренко и тут хотел по справедливости — мало ли по какой причине человек не справляется с работой, разобраться надо. Ну, так вот переоденется под «доходягу» — и на кухню вместе со всеми. Котелок сунет в окошечко, а еще темно, на него никто и внимания не обратит. Плеснут в котелок водички — следующий! Ну, тут он и дает разгон — и тем, кто это делает, забирая последние крохи у заключенных, приходится нелегко — и в изоляторе побывают, и карцера отведают. Молодец был мужик, спасибо ему.

— Скажите, а много в то время в лагере было евреев?
 — Нет, евреев шибко много я не встречал. Может, в других лагерях. Вот Писаренко только, Арнольд Рафаилович, так он свое уже отсидел...

— А других национальностей, поволжских немцев, например?
 — Такие к нам не попадали. Много было русских, армян, азербайджанцев, народу много было всякого, громадная армия — этап за этапом гнали. Ну и гибло, конечно, много... Страшно подумать. На фронте гибли, а здесь тоже был «фронт» — и народу гибло тут не меньше, а может быть, и больше...

— А как хоронили людей в лагерях? Записывали где-нибудь место захоронения, могилы как-то отмечали?

— Нет, ничего не отмечали. И могил сейчас тех уже не найти...

Только у нас

«СССР — страна, где загораются солнца, океаны текут под мостами!»

Лазарь Каганович

«...Советский Союз — драгоценность, которой нет равной в мире...»

В. Л. Комаров, президент АН СССР

«...Конституция СССР является единственной в мире демократической Конституцией».

Иосиф Сталин

«Только в стране сталинского социалистического демократизма так быстро и бурно растут новые люди, новые таланты».

«Закрепление колхозов» (Павловский р-н),

1. 1. 1938

«Только в нашей социалистической стране все трудящиеся, весь народ пользуются действительной, а не формальной, не урезанной свободой совести. Только в нашей стране общественное положение человека не зависит от его религиозных убеждений».

Ф. Путинцев. Церковь и государство. «Правда»,

5. 2. 1938

Красный орден серебрится

На груди у чабана.

Этим может похвалиться

Лишь Советская страна.

«Алтайская правда», 15. 2. 1938

«Лишь социалистическое общество умсет обеспечить каждому трудящемуся, своему члену, экономическую независимость и тем самым уничтожить социальный недуг нашего времени — «проституцию».

Врач Муромский. «Красный Алтай», 24. 2. 1926

«Наша Красная Армия, единственная в мире сумела превратить казармы в школы и совместить учебу с задачами по охране Республики Советов».

Пожелание председателя Совнаркома СССР

т. Рыкова. «Красный Алтай», 23. 2. 1926

«Никогда и нигде, ни в каком парламенте не было достигнуто такого единства суждений и мнений по всем вопросам внутренней и внешней политики, каков мы наблюдали на Сессии Верховного Совета. Все решения принимались здесь единогласно. То единодушие, которое неосуществимо ни при каком ином политическом устройстве, стало фактом в советском парламенте...»

«Ленинско-Сталинское Правительство СССР».

«Правда», 20. 1. 1938

«Страна социализма — и только она! — является достойным и законным наследником великого открытия Рентгена».

Приват-доцент И. Тагер. «Алтайская правда»,

10. 2. 1938

Из воспоминаний З. О. Германа, проживающего в г. Барнауле

Мой отец и дед — коренные ленинградцы. Там и я родился, закончил школу, учился в институте... Отец мой, Оскар Зигмундович Герман, был директором табачной фабрики имени Урицкого. Знаете «Беломор» Урицкого? Это та самая фабрика.

Отец был арестован в 1930 году по так называемому делу Промпартии и осужден Ленинградской коллегией ОГПУ. Приговор гласил: высылка семьи и конфискация имущества. Отцу дали десять лет и отправили (ирония судьбы!) на Беломорканал, где он работал, а мать уехала в Казань, так как ей было запрещено проживать в шести городах страны, среди которых значился и Ленинград. Такая мера наказания тогда называлась «минус шесть».

А я остался в Ленинграде, поскольку жил в то время уже самостоятельным заработком. Имущество все забрали, а мне оставили одну комнату, стол, пару стульев и смену белья. Как сын «врага» я к тому времени уже был исключен из ЛАДИ (Ленинградского автодорожного института, сейчас его не существует в Ленинграде, институт переведен в Москву и называется МАДИ). В 1933 году отца освободили по пересмотру дела, он получил назначение в Ростов-на-Дону. Вместе с родителями переехал и я. Работал шофером. В последнее время, перед арестом, на «скорой помощи» в поликлинике парходства.

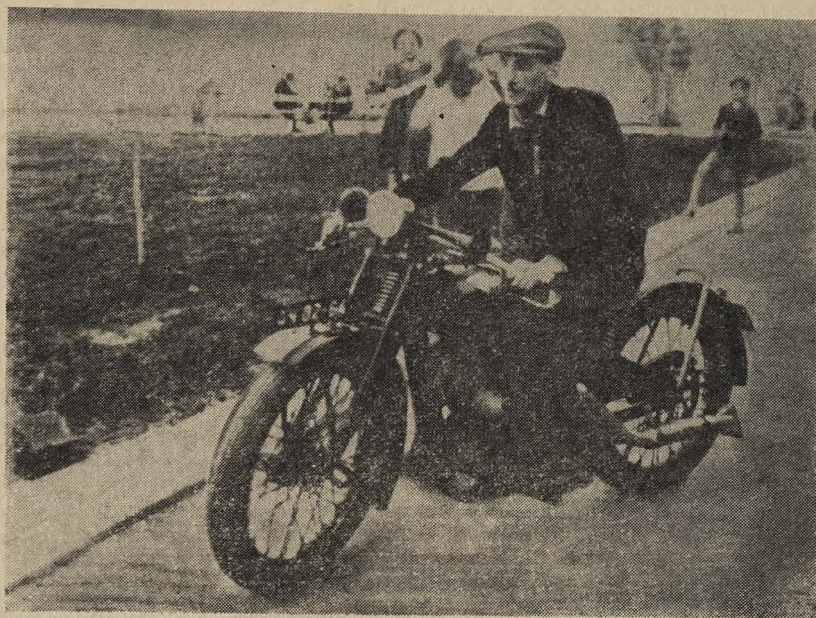
А до этого... До этого работал в гараже крайкома. И мне довелось одно время возить секретаря ЦК партии Грузии Гогоберидзе. Он, правда, в то время после тяжелой операции (у него было удалено одно легкое, а оперировал его знаменитый ростовский хирург профессор Богораз) не работал и жил в Ростове. Жена его — кинорежиссер — оставалась в Грузии. Звали ее Нуца, а дочку — Лана. Тогда ей было лет пять. Сейчас Лана Левоновна — народная артистка Грузинской ССР, кинорежиссер «Грузия-фильм».

Левон Давыдович Гогоберидзе по происхождению был князь (в Грузии князей — уйма), очень образованный и редкостной души человек, и я всегда с удовольствием к нему ехал.

Было это в конце 1936 года. Однажды мне пришлось его возить даже на прием к Сталину. Сталин жил тогда на даче между Манестой и Хостой (он каждый год приезжал туда на мацестинские сероводородные ванны), уютный уголок — бывшая дача генерала Зеизина, которую Иосиф Виссарионович и облюбовал.

Вот Левон Давыдович в один прекрасный день и говорит: приготовьте, Борис, машину, завтра предстоит ответственная поездка. А мы жили в то время тоже на отдельной даче в Хосте. Кроме Гогоберидзе (он отдыхал вместе с женой и дочкой Ланой), жил там еще первый секретарь Ростовского горкома Колотилин. И нас двое — я и шофер Колотилина Жора Плетнев. Вечером приехал какой-то товарищ в штатском, вызвал меня, задал несколько вроде бы пустяковых вопросов — кто я и что, посмотрел мои документы — и уехал.

А на следующий день повез я Левона Давыдовича на дачу Сталина. Хорошо помню — было это 19 октября. Гогоберидзе был строг, задумчив и за всю дорогу, кажется, не проронил ни слова. Подъехали к даче, открылись ворота, нас пропустили. Мне показали, куда поставить машину. И велели от машины далеко не отходить. Я остался в машине; человек довел его до веранды и, подождав, пока он войдет, круто повернул и скрылся за углом дома. Прошло минут десять, и на веранде появился Сталин, следом за ним вышел Берия и только потом Гогоберидзе. Все трое сели в плетеные кресла. Я находился от этой веранды не очень далеко, разговор слышал, но понять что-либо не мог — они говорили по-грузински.



Герман З. О.
Фотография
сделана
за день
до ареста

— Дружеская беседа была, судя по интонации или?..

— Бог его знает. Интонацию я не разобрал, доносило лишь отрывки фраз. Говорили они минут десять. Потом Гогоберидзе встал и откланялся — руки ему ни Сталин, ни Берия не подали — и вышел. Сел в машину: «Поехали, Борис». И опять всю дорогу молчал.

Это было 19 октября. А 21-го ночью подкатили к хостинской даче две машины, и в дом к нам ворвалось несколько человек в форме работников госбезопасности и штатских. Заглянули и к нам с Жоркой (мы жили с ним в одной комнате), открыли шкафчики, выдвинули ящики столов, сказали строго: «Сидите здесь. Никуда не выходите». Продолжалось это долго. Только часа в четыре к нам снова заглянул какой-то человек в штатском и сказал: «Кто тут Герман? Пойдемте». Меня привели в комнату Гогоберидзе. Левон Давыдович стоял, жена его сидела, бледная и растерянная, а дочери не было — Ланочка, наверное, спала.

— Борис, отвезите, пожалуйста, Нуцу с Ланочкой домой, в Тбилиси, — глуховатым и каким-то очень спокойным голосом сказал Гогоберидзе.

Я кивнул:

— Хорошо, Левон Давыдович.

Потом он подошел к жене, Нуца встала, и он ее обнял:

— Ты не беспокойся, это какое-то недоразумение. Скоро все выяснится. Поезжайте домой, не волнуйтесь.

И вышел.

Больше я его никогда не видел. Левон Давыдович Гогоберидзе по приговору военного трибунала был расстрелян в 1937 году.

А Колотилина в тот раз не тронули. Ему, как и нам с Жорой, сказали, чтобы он, пока идет обыск у Гогоберидзе, сидел в своей комнате и не выходил.

Утром он уехал в Ростов на поезде — и через несколько дней застрелился.

— Как вы считаете, есть связь между этими событиями: встреча Гогоберидзе со Сталиным — арест Гогоберидзе — самоубийство Колотилина?

— Насчет Колотилина сказать не могу, что касается Гогоберидзе и Сталина — безусловно, прямая связь. Там ведь еще и Берия был.

Все взаимосвязано. А Сталина я тогда впервые так близко видел. Хотя бывал здесь не раз. В Сочи бывали? Там есть Ахун-гора, вышка с одной стороны, а с другой — ресторан. Так вот Сталин, говорят, любил прогуливаться с этой своей дачки на Ахун. Оттуда такой красивый вид! И вот он как-то любовался этим видом и вдруг высказал пожелание: надо бы, мол, эту красоту сделать достоянием народа. Такой жест. И немедленно все пришло в движение: привезли какую-то редкую по тем временам технику, экскаваторы, нагнали зеков и за 113 дней (не знаю, висит сейчас там такой плакат или нет) построили на гору Ахун одиннадцатикилометровую дорогу на высоте шестьсот метров над уровнем моря... Там ведь и в скале дорога идет. Тяжелая работа! В то же время была построена и башня, что налево, когда едешь на Ахун. А направо был ресторан большой построен. Ресторан, наверное, и сейчас стоит. Когда его строили, я как раз в Сочи работал — было это в 35-м году. Нас тогда, водителей крайкомовского гаража, частенько откомандировывали из Ростова в Причерноморье, там были дачи ЦК и ВЦИКа, и мы обслуживали некоторых отдыхающих. Мне довелось целый месяц возить дочь Калинина, Юлию Михайловну. Когда я утром подъехал к даче ЦК в Сочи, в сторону Дагомыса, вышла молодая, лет под тридцать, женщина, одетая очень строго, скромно, однако все на ней было заграничное, импортное, как сейчас говорят, а тогда это вообще была редкость — и в глаза бросалось, конечно. А рядом с женщиной шел Михаил Иванович, и я сразу понял, что это и есть его дочь. Он ее поцеловал. А мне сказал:

— Молодой человек, вы смотрите осторожнее, горные дороги...

— Михаил Иванович, не беспокойтесь, — говорю, — все будет в порядке.

И я повез Юлию Михайловну на Красную Поляну, это километров пятьдесят от Адлера, в горы. Там когда-то, в царские времена, был охотничий домик принца Ольденбургского. А потом он стал называться Ворошиловским охотничьим домиком. И вот там, в этом домике, Юлия Михайловна отдыхала. Иногда я возил ее в Сухуми, Гагры. Была она очень приветливой и простой женщиной, без всяких там фанаберий и фокусов.

Потом, спустя некоторое время, меня прикрепили к Морису Торезу, генеральному секретарю ЦК Компартии Франции, и я возил его с женой недели две. Морис Торез говорил на ломаном русском языке, жена его только по-французски. Они жили в самом Сочи, отдельная дача. Я каждое утро к ним ездил. Иногда они говорили, чтобы я не презжал, иногда назначали время, и я старался быть у них секунда в секунду. В «Сочинской правде» на следующий день, после того как я увез их на вокзал (тогда самолеты были не в моде, предпочитали поезда), появилась заметочка: «К нам на отдых прибыл генеральный секретарь ЦК французской Компартии Морис Торез». А они уже уехали.

Еще один раз ездил я из Сочи в Сухуми с Серебряковым — он был расстрелян потом как троцкист. Леонид Петрович Серебряков как раз вернулся из Китая, где был послом, и отдыхал в Сочи. По пути мы останавливались в Гаграх, Афоне... А в Сухуми Серебряков встречался с председателем Совнаркома Абхазии Лакобой (вероятно, ВЦИК, если это были 30-е годы. — *Авт.*)

А потом, спустя года полтора, и меня арестовали.

— Вы не связываете свой арест с людьми, которых когда-то возили?

— Нет. Ни одна из тех фамилий не упоминалась в моем деле — ни Гогоберидзе, ни Серебряков, хотя оба они к тому времени уже были расстреляны. Я тогда работал уже на «скорой помощи» в поликлинике водников. И вот 30 апреля во время дежурства меня вызвали в полнитдел пароходства. Когда я зашел к начальнику, у него в кабинете сидел какой-то незнакомый человек в синем костюме. Он попросил предъ-

явить документы, а у меня, кроме водительских прав, ничего с собой не было. Тогда он показал мне ордер на арест. Это был сержант госбезопасности (тогда такие звания были в НКВД) Головачев, он и вел потом мое дело.

Посадили меня в «эмку» и увезли в НКВД. Здание НКВД находилось в центре Ростова, на улице Энгельса, дом № 33. Оно и сейчас там находится. Очень большое пятиэтажное здание, вход с двух улиц (здание угловое), ну и соответственно подвалы. Правда, там я не сидел. Как только привезли — личный обыск: снимают галстук, шнурки с ботинок, ремень, часы, у кого деньги были — забирали деньги, а на руки — акт или опись личного досмотра... Обыск проходил в страшно грубой форме, с руганью, матом. С этого момента человек превращается в ничто. Затем вывели в коридор. Все это было на первом этаже. Длинный коридор, с торца дверь куда-то во двор. А здесь, направо и налево, по обе стороны лежат люди. Живые они или мертвые, черт его знает, в голове всякое... Лежат не то трупы, не то люди, накрытые с головой грязненькими простынями. И меня уложили, накрыли такой же простыней и ушли. Все это делалось, чтоб друг друга не видели и не общались. Потом выходит охранник: «На букву «А» подними ногу...» Дошла и моя очередь на букву «Г», я поднял ногу. Ко мне подходят, наклоняются и тихонько спрашивают: «Фамилия? Вставай, пошли...» Все это сразу унижает человека: валяться на грязном полу... Командуют: «Руки назад!» и ведут по коридору в торцевую дверь, а там уже «воронки». Внутри «воронка» узкий коридорчик с левой стороны, а справа — шесть отделений, наподобие гардеробных ящиков, все с дверками. Посадили туда, у меня ноги длинные, еле-еле «вписался». Закрыли. Заполнили все эти кабиночки. А сзади отделение, где помещаются два охранника. Поехали в тюрьму, которая и ныне действует, на Богатыновском проспекте, в центре Ростова. Большое заведение. Сразу в баню, потом в парикмахерскую при бане. Остриг меня уголовник-парикмахер под машинку — и в камеру.

— Одежду забрали?

— Нет, как был, так и отправили. В этой же одежде — пиджачке, туфлях, то есть в чем был во время ареста, в том и сидел в тюрьме семь месяцев, в том и пошел по этапу в Пермскую область, за Полярный круг, в Усольлаг-4, где сорокаградусные морозы...

Вообще сейчас, когда показывают иногда тюрьмы, и наши, и заграничные, то выглядят они весьма комфортабельно: какая-то койка, столик. Ничего этого у нас не было. Только голые стены и пол. Больше ничего...

Привели меня в подвал, в камеру № 54. Это все запоминается очень хорошо, на всю жизнь. Был я там по счету 186. А камера где-то метров шестьдесят, не больше. На все помещение — одно окошко, зарешеченное, но без рамы и стекол. Вот и весь воздух. На один квадратный метр приходилось по три человека. Спали по очереди. Ночью часть людей стояла, часть — спала. В камере потолок был сводчатый, в верхней части свода я руками доставал до потолка. Воздух ужасный, спертый. За то время, когда я сидел в тюрьме, очень много людей — легочников, сердечников — не выдерживало, умирали прямо в камере. Мне немного повезло. Когда втолкнули в эту камеру, то по неписаным тюремным законам мне как новичку должно было достаться место рядом с «парашей» (у входа стояли две «параша» — необходимая тюремная принадлежность). Однако меня окликнули. Оказалось, знакомый: начальник производства завода «Россельмаш» Терехов (завод находился в Сталинском районе, а я одно время работал шофером в Сталинском райкоме партии). Рядом с ним лежал, точнее сидел на корточках, секретарь Таганрогского горкома ВКП(б) Михаил Иванович Тарапата. Я с ним немножко был знаком. Они позвали меня и втиснули между собой. Таким образом, я сразу очутился на привилегированном месте,

если это можно назвать привилегированным местом. Почти месяц с лишним просидели мы, как в яме: ни вызовов, ни допросов. Потом начали вызывать. Церемония с «воронком» повторялась, так как все допросы велись в здании НКВД. Руки назад, сзади охранник в толстых шерстяных носках. Наверное, чтобы шума не создавать. Все без оружия — и следователи в своих кабинетах, и охрана.

— А почему, как вы думаете?

— Они боялись. Подследственные разные — были такие доведенные до отчаяния мужики, которые могли обезоружить этого следователя, постреляли бы охрану, да и сами пострелялись бы! Короче, оружия ни у кого не было: ни в тюрьме, ни в следственной части... На допросе с ходу: «Ну, давай рассказывай о своей контрреволюционной деятельности». Какая там контрреволюционная деятельность — ни сном ни духом ничего не ведал.

А попал я, думаю, по одной-единственной причине, что я — немец по происхождению, то есть только по национальному признаку. У меня и до сих пор в паспорте записано — немец. Хотя родословная сложная: дед — петербургский немец, бабушка — русская. Это со стороны отца. А со стороны матери: дед — эстонец, а бабушка — шведка. Ну а я — русский, потому что родился в России, родной язык мой — русский, я, к сожалению, немецким до сих пор не владею. В Ленинграде (Петербурге) я родился, крестился, учился, все друзья мои там были русскими. По месту рождения, по родному языку, по культуре, к которой я был причастен — музыка, литература и т. д. — я был русским. В те годы мы воспитывались в полном смысле в духе интернационализма. Национальность не играла никакой роли. У нас в школе учились и поляки, и евреи, и русские, и никому в голову не приходило, что к кому-то можно относиться презрительно лишь потому, что он другой национальности. Поэтому, когда я получал свой первый паспорт, ничтоже сумняшеся написал: немец. Национальность в паспорте уже не изменилась до конца жизни, имя, фамилия, отчество — можно, а национальность — нельзя. Другой версии о причинах моего ареста у меня нет. А обвиняли меня в шпионаже (ст. 58, пункт 6), контрреволюционной агитации (пункт 10) и участии в контрреволюционной организации (пункт 11). Причем, если задуматься, шпионаж и агитация не совместимы. Ну какой же шпион будет заниматься агитацией? Бред все это, чушь собачья...

Требовалась только подпись. Ничего не спрашивали, сунули под нос протокол допроса, разделенный пополам: слева — вопрос, справа — ответ. Первый вопрос: «Признаете ли, что были членом немецкой шпионской контрреволюционной организации?» Ответ: «Да, я признаю». И так далее. Но были и конкретные вопросы. О том, что я якобы однажды передавал шпионские сведения от какого-то мифического человека, увозил как-то с ростовского вокзала взрывчатку на судоремонтный завод «Красный якорь». Там были указаны даты. Но, по счастливой случайности, в это время меня не было в Ростове: был в отпуске в Ленинграде, а затем — в командировке в Сочи. Я тогда промолчал. А потом один прокурор-сокамерник посоветовал: «Ну и помалкивай... Может, времена изменятся, это будет тогда в твою пользу. А сейчас следователь, если ты ему об этом скажешь, просто исправит даты и все». Так вот в камере проходили мы своеобразные «университеты», делясь с товарищами обстоятельствами допросов, советуясь с ними. Я уже был в другой камере. «Общество» в этой камере было не то чтобы изысканное, но глубоко интеллигентное: прокуроры, партийные и советские работники, директора заводов, инженеры... Я как рабочий там был совершенно случайной мелкой сошкой...

Допросы продолжались. Требовалась одна подпись. «Знаете ли вы по вашей шпионской деятельности такого-то? Такого-то?..» Помню фамилии: Фридрих Вася — тоже шофер и Остер — «глава» нашей «шпи-

онской организации», часовщик в Ростовском речном порту. Я его потом видел, в тюрьме, еще до его расстрела. На допросах применялись всякие недозволенные приемы, а проще говоря — пытки. Мне было тогда 24 года, и я, будучи не особо атлетически сложен, все-таки был молод и достаточно силен. Я не поддавался, у меня даже созрела мысль, что с таким клеймом «врага народа» лучше не жить. И я до сих пор горжусь тем, что ничего не подписал, несмотря на все применяемые способы воздействия. А лупили меня здорово. Вот один факт. Кабинет, где следователь Головачев вел допрос, находился на пятом этаже здания НКВД, и балкон в кабинете выходил на главную улицу. А в Ростове вечером улица Энгельса превращается в бульвар, где гуляет в основном молодежь. Этот обычай, кстати, сохранился и по сей день. И вот во время избиваний на одном допросе, когда я сопротивлялся, было у меня такое настроение... Рванул дверь и выскочил на балкон. А в комнате были следователь и два так называемых практиканта, сидевших на диване — еще не аттестованные, будущие следователи, молодые парни, на год-два постарше меня, а может быть, даже и чуть помладше. Когда на допросах пытались применять насилие, следователь один этим не занимался. Страховки ради вызывал двух подручных, и пара таких ребят всегда сидела на диване, а когда надо было, вступала в действие... Так вот, выскочил я на балкон и стал орать во все горло: «Сволочи! Кто вам дал право издеваться над людьми?!» Сейчас я уже не помню дословно, да и в таком состоянии был... Но орал во всю глотку. А было часов одиннадцать вечера, народу еще полно на улице. Ростовчане вообще народ поздний, город южный, это барнаульцы — народ рабочий... Следователь подскочил к дверям, а на балкон не выходит. Вы знаете, было такое настроение, брошусь, думаю, к чертовой матери, с пятого этажа, чтоб прекратить все это дело. А следователь стоит и говорит: «Замолчи, замолчи! Сейчас отправим тебя куда хочешь...» Я говорю: «Отправите в камеру?» Хотя какие там обязательства, врет он или нет... В общем, вышел я оттуда, опамятовался. Они сидели, молчком курили. Следователь нажал кнопку, вызвал разводящего, и меня увели. Так что я тогда своего добился...

— Сколько длились допросы?

— Один из методов воздействия — это «конвейерные допросы», когда допрашивают сутки, двое, трое подряд без перерыва, лишь следователи меняются, передавая допрашиваемого друг другу. Причем не сидишь, а стоишь. Ставят лицом к стене, надумавшись говорить или подписать протокол — скажешь. Как вы думаете, сколько человек может простоять? Я стоял до трех суток. Ноги опухают, сосуды начинают лопаться, маленькие такие кровеносные сосудики, чувствуешь, как помаленьку, тоненькими ручеечками стекает кровь. Но я хитрил: у меня были широкие брюки (тогда мода такая была — широкие брюки до 30 см), поэтому у меня была возможность переминуться незаметно с ноги на ногу. Первый раз я стоял почти трое суток. Ни пищи, ни воды, ничего.

— А в туалет водили?

— Нет. И вы знаете, не понимаю в силу чего, но организм приспособивался. Не тянуло. Правда, это меня. Ведь я был еще молод. Ну, а со многими пожилыми людьми были неприятности на этой почве.

Потом выволакивали человека, поливали из ведра водой. Я еще раз хочу подчеркнуть, что с момента, когда переступаешь порог НКВД, все направлено на то, чтобы тебя полностью унижить. Ты там никто и ничто. Вас стирают с лица земли как гражданина. Вся система построена на бесконечном унижении человека.

Потом я приспособился. Стены в Ростове, как и во многих южных городах, не принято было оклеивать обоями, их белили или красили, иногда делали накат. В кабинете, где меня допрашивали, стены были с какими-то точками. Когда стоишь, глаза девать некуда, мордой все

время в стену, и начинаются галлюцинации: какие-то картинки. Состояние, в общем, тяжелое. Первый день ничего, а на второй, когда простоишь часов тридцать, уже вообще что-то такое в голове невообразимое. Требовалось одно: подписать, подписать... Я хочу подчеркнуть одну вещь: большинство людей, это я вам достоверно заявляю, может быть, процентов девяносто (да ведь и Бухарин, и Рыков, и многие другие старые большевики) подписывали. А что говорить про рядовых людей, попроще, послабее. Но все дело в том, что если бы подписал только на себя, это одно дело, а если подпишешь бумагу, где указан целый ряд людей, потянешь их за собой. Вот что страшно.

— А почему подписывали?

— Под влиянием пыток.

— Пытали всех?

— Конечно. После допросов волоком притаскивали людей, откроют дверь, забросят в камеру, ну и некоторые наслушаются и посмотрятся всего этого, подмахивали буквально на первом допросе все, что угодно. Во имя самосохранения, чтоб сохранить себя, не мучиться, чтобы выжить. Такая была у них самоуспокоительная версия. Я не могу обобщать, не имею права осуждать этих людей, но говорю по своему опыту, так там было.

— А как к этому в камере относились?

— В камере не делились своими делами и своими допросами. Вы же не знаете, с кем сидите. Но в камере обычно люди разбиваются по группам. Такая компания сложилась и во второй камере, куда я попал. Она находилась на втором этаже. Большая комната, воздух хороший. Кстати, одна такая мелочь — в тюрьме была абсолютная чистота, никаких клопов, никаких вшей, никаких эпидемий не было. За этим очень строго следила администрация тюрьмы. Каждый день назначались дежурные, два раза в день мывшие и стены, и полы. Чисто было, хотя в камере только деревянные полы (на них мы и спали) и ничего больше, кроме «парашки». Так вот, в нашу компанию входили четверо. Вы знаете, иногда люди сходятся по каким-то безотчетным признакам. Вот мой товарищ, который и поныне жив, Володя Фоменко, в те годы — студент четвертого курса филологического факультета Ростовского пединститута. Сейчас он писатель, Владимир Дмитриевич Фоменко, живет в Ростове. Второй член нашей компании — Федор Ткачев, бывший первый секретарь Октябрьского райкома комсомола Ростова. И четвертый, Лавр Донецкий, инженер, начальник одного из отделов завода «Россельмаш», шупленький такой дядька. Несколько лет назад мы с женой, Антониной Григорьевной, побывали в Ростове и были у него в гостях. Он восемнадцать лет пробыл в лагерях, реабилитирован и восстановлен в партии после смерти Сталина. Последнее время он был директором областного Дома политпросвещения.

Когда с допроса приводили в раздолбленном, извините, состоянии и физически, и морально, мы встречали друг друга, усаживали, давали водички, кусочек хлеба. Ну а потом обменивались уже своими делами, впечатлениями, советовались. Вот такая дружеская поддержка, при отсутствии всяких внешних связей, имела колоссальное значение.

Кстати, через месяц арестовали и моего отца. Он жил в Краснодаре, работал директором ферментационно-табачного завода. Отец был профессиональным табачником. Закурив, он мог сказать, какой это табак, из какой местности, какого года, какого сорта и так далее. Меня арестовали 30 апреля, а его — 30 мая. Мать осталась, как-то ее в этом случае судьба обошла. Куда она только ни обращалась — и в прокуратуру, и в НКВД, — никакого ответа, неизвестно, где человек и что с ним. Ни о каких передачах, письмах не могло быть и речи...

Жена Антонина Григорьевна:

— Мы в надежде хоть что-нибудь узнать гуляли по Красноармейской улице с матерью. Но тюремщики нас гоняли...

Зигмунд Оскарович:

— Мои допросы продолжались. Использовались разные способы для выколачивания признания. Была там, в здании НКВД, кроме всего прочего, так называемая «парилка» — помещение рядом с бойлерной. Туда по приказу следователей напихивали столько людей, что можно было только стоять. Если кто-нибудь от жары и тесноты терял сознание, то упасть было некуда. Такая вот форма воздействия. Ну и избивания, конечно. Били расчетливо, например, ладонью по шее, это очень больно. Даже если слегка ударить — неприятно (попробуйте сами), а если с силой да по позвонку... А следов не оставляет. Или били ладонью в лоб. Лоб может слегка вспухнуть, но опять же следов никаких. Были более страшные пытки, которым я, правда, не подвергался. Например, «бархатная комнатка» — ниша в стене, обмазанная цементом с битым стеклом, куда человек входил стоя как в футляр. Дверь тоже была обмазана цементом со стеклом. Человека ставили туда и закрывали на несколько суток. Через сутки-двое он не падал, там упасть было некуда — сползал, обрезая тело о стены со стеклом. Я видел множество людей с такими резаными, рваными ранами. А еще была «лягушка»: на подследственного надевали брезентовую смирительную рубаху, клали на живот, завязывали крест-накрест — правую руку с левой ногой, левую — с правой. Делалось все это «гуманно», под наблюдением врача. Затем начинали поливать водой. Намокший брезент начинал сжиматься, выворачивая суставы. Этого никто не выдерживал, люди орала от боли, теряли сознание. Вот тут вступал в дело врач. Как только человек терял сознание, пытку сразу прекращали. Чтобы не кончился раньше времени.

Я дрался, на стойке стоял. Обо всех этих зверствах я писал, кстати, прокурору Союза (Вышинскому. — Авт.), даже из лагеря мне удалось переслать свою жалобу в Москву, копия которой до сих пор хранится у меня. Тринадцать раз был я на допросах. Подпиши, подпиши — только этого и требовал от меня следователь Головачев.

— А вы бы сейчас узнали его?

— Вряд ли, ведь столько времени прошло... Вот тогдашнего я бы его узнал.

— Что вы о нем можете рассказать? Вы все-таки часто с ним встречались.

— Это был весьма ограниченный человек, судя по разговорам, он не блистал интеллектом, а уж тем более интеллигентностью. Это было слепое орудие, выполнявшее приказания сверху. Как выполнял, это уж зависело от индивидуальных способностей. Не они это придумывали, но выполняли — они. Он был всего на два-три года старше меня, мне тогда было двадцать четыре года, а ему, может быть, под тридцать. Серая личность. На допросах чаще всего мы играли в молчанку. Привезут в очередной раз: «Ну что, надумал, будешь подписывать?» — «Нет, не буду». — «Ну, встань». И ставили на стойку.

— То есть допроса практически и не было?

— Разговоры были — он уговаривал подписать. Причем говорил: ну чего ты кобенишься, мол, какая разница, подпишешь ты или нет — все равно. Цена тебе — семь копеек. А семь копеек — это стоимость пули из нагана. Вот такова вершина его умозаключений. Ну и мат. Я горжусь, что ничего не подписал. Однако, если сказать совсем честно, я не знаю, выдержал бы, если бы ко мне применялись все пытки... При мне зачастую люди подмахивали, подписывали просто в каком-то бессознательном состоянии...

Последний раз меня привели на очную ставку с «главой» нашей «шпионской организации» — несчастным стариком Остером. Его звали Леопольд Петрович. Он сидел в кабинете следователя у стола, спиной ко мне. А вот в левом углу шкаф был отодвинут так, что там образовался коридорчик, тупичок. Охранник проводил меня туда и усадил на

Мухомовский мост
 Ростов ДОН. Воронеж
 Таратский поселок
 7 улица № 249
 Улицы № 109
 Э.С. Тарман
 Жидо згорю
 Выехал из Ростова
 Национал. Когда
 202 0994 - сообщ
 берет себя
 целую сын-

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗЯТОГО

Записка
 Германа
 матери
 (написана
 на обрывке
 протокола
 личного
 обыска)

стул. Начинается допрос. Следователь спрашивает Остера: «Подтверждаете ли вы, что Герман, такой-сякой, был членом шпионской организации?..» И так далее. Остер дает ответ: «Да, я подтверждаю». На все вопросы он отвечал лишь: «Да, я подтверждаю...» Затем его увели и больше я его там не видел.

Потом следователь пересадил к своему столу меня и начал убеждать подписать. Но я опять отказался. Следователь так и записал: «От ответов отказался». На том и закончилось мое следствие.

А в один прекрасный день в нашу камеру привели новую группу арестованных, и среди них — Остер. Старостой нашей камеры был Владимир Фоменко, крепкий, коренастый, здоровый парень. Он и предложил подойти к Остеру. Я сначала отказывался. Но Володя настаивал. Я спросил Остера: «Как же вы можете давать такие показания, ведь вы же первый раз меня видите?» А он ответил: «Вы можете судить меня как хотите, у меня такой же сын, как вы, но если бы на вашем месте был он, я бы сказал то же самое».

По иронии судьбы, когда я попал на Алтай в Шипуновский район по спецпереселению, мы оказались в одном селе с семьей этого Остера — женой и сыном. Его самого же в живых не было, но тогда ни они, ни я об этом не знали. Выяснилось это после освобождения и возвращения в Ростов, когда в том же здании ростовского НКВД другой следователь — Дорожук — вел пересмотр моего дела. Вызывали тогда многих свидетелей — моих товарищей, знакомых девушек, соседей, выясняли мой моральный и политический облик. Но это было потом...

Уважаемая!
 Посылаю вам эту записочку,
 конечно дорожную.
 30 го / XI - 38 г в Батайске стоял
 эшелон; который отправляли
 на этап. Вам сын передал эту
 записочку, в которой просил
 передать ее по адресу. Я поспешил
 и с радостью узнали, что этот
 эшелон отправляют
 в Соликамск (Урал).

Письмо женщины, переправившей записку Германа его матери

— А как вам объявили, что вы осуждены?

— В ноябре вызвали из камеры: «Выходи с вещами». Оказалось, на этап. А вещей-то ровным счетом никаких. Разве что из распушенной верхней части носков скрученные шнурочки для того, чтобы завязать хлябавшие туфли (шнурки отобрали при личном обыске). Построили большую команду. Ночь, охрана, собаки. Потом начальник караула объявил: «Шаг в сторону считается за побег, стреляем без предупреждения». Зеки острили: «Прыжок вверх тоже считается за побег». Привели нас на товарную станцию Ростова и погрузили в эшелон, который вскоре откатили через Дон на крупную станцию Батайск. Там наш эшелон и формировался, что-то отцепляли, прицепляли. А мы сидели в теплушках с двухэтажными нарами и печкой внутри. Тогда очень много арестованных отправляли по этапу, и многие родственники какими-то путями узнали об этом и пришли в надежде увидеть своих близких. А моя мать ни о чем, видимо, не знала. И я тогда решил написать матери записку, что еду по этапу в Соликамск (это мы узнали уже по «беспроволочному» зековскому телеграфу), в надежде на то, что записку мою кто-нибудь передаст матери. Кто-то дал мне кусочек карандаша, я оторвал клочок от своего протокола ареста — единственной бумажки, которая у меня была, написал на ней записку и бросил ее через решетку из теплушки на землю. Мимо проходила какая-то женщина, нагнулась и подобрала эту записку. Охрана, прогуливавшаяся вдоль состава с собаками, увидела это. Раздались крики, свист. Но она побежала и скрылась. Женщина эта оказалась настолько порядочным человеком, что переслала ее моей матери домой. Таким образом мать впервые за семь месяцев узнала, что я жив. Кстати, записка эта сохранилась, как и записка безымянной женщины моей матери. Я их обе храню как дорогую реликвию.

Везли нас 21 день. В Челябинске выгрузили, сводили в баню и какой-то санпропускник. Помылись и опять в вагоны. И попали мы в Пермскую область, в лагерь Усольлаг-4, что в четырнадцати километрах от городка Соликамска, рядом с селом Усть-Боровое на берегу Камы. Там шло громадное строительство целлюлозно-бумажного комбината (Соликамбумстрой), который существует и по сей день. В лагере было одиннадцать тысяч заключенных, большинство осуждены по 58 статье — «враги народа».

Выгрузили нас из вагонов на сорокаградусный мороз. Шел декабрь 1938 года. А мы в том, в чем нас арестовали — пиджачки, рубашки, туфли. Завели в барак. Там за столами сидят люди. Встали в очередь по буквам. «Как фамилия?» Такой-то. Они вытаскивали из картотеки карточку: «КРД (контрреволюционная деятельность. — Авт.)». 10 лет решением «тройки». Вот и весь суд, вот и приговор...

Усольлаг-4 — лагерь так называемой «второй описи» с правом переписки. Так что я сразу написал оттуда домой. Писать разрешалось один раз в месяц. Мать потом посылала мне посылки.

Первую неделю нас не трогали, после тюрьмы, где было страшно голодно, мы здорово ослабли. Первый месяц в тюрьме как-то держались, старым жиром, что ли, а потом начали голодать, потому что тюремная баланда и кусок хлеба — слабая поддержка...

В лагере кормили получше и хлеба давали больше — 600 граммов. Мы немного пришли в себя. Через неделю после прибытия нас распределили по работам. Поначалу я работал землекопом, но потом получил «повышение» — стал лесорубом. Нас возили в тайгу на лесоповал. Зимой холодно. Нам дали ватные штаны, стеганки, шлемы, очень смешные, из разноцветного ситца, но теплые. А на ноги — «ЧТЗ», ботинки, сшитые из разодранных покрышек и обмотанные снизу веревками. В таком виде мы и работали...

В январе 1939 года по стране прошла Всесоюзная перепись. Переписывали и нас, зеков. В графе специальность я тогда записал «лесоруб». А через какие-то месяц-полтора попал в автоотряд, где и работал вплоть до освобождения шофером.

Лагерь делился на две части: зона собственно лагеря и зона строительства. Стройка шла на берегу Камы. Тяжело было, но тех издевательств, которые были в НКВД, в лагере (по крайней мере, в том, где я находился) не было.

— А почему, как вы думаете?

— Там были более простые люди. Я имею в виду начальство. Вот, например, начальник лагеря — Израэлян. Я его видел раза два. Видимо, порядочный человек и во всяком случае не дурак, понимал, что за люди тут. Кстати, насчет людей. В лагере было нас 11 тысяч, тюрьма вся переполнена, и я не могу поручиться, что все невиновны. Возможно, были и действительно какие-то враги народа, черт их знает, но в этой массе они растворялись. В охране люди были простые, в основном из местных жителей, вольнонаемных. Может быть, поэтому и не было никаких издевательств. Однако режим строгий. Работали по двенадцать часов, подъем в шесть утра, в семь часов завтрак. Так шла лагерная жизнь. В лагере имелась поликлиника. Оборудования ни черта не было, зато первоклассные врачи, профессура, все из зеков, ни одного вольнонаемного. У нас была прекрасная самодеятельность с профессиональными артистами. До сих пор помню балерину — полячку Младзинскую, бывшую солистку Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова... Народ в основном интеллигентный. Очень много было студентов, молодых ребят из институтов всей страны.

— А были в лагере известные люди — политические деятели, крупные военные, писатели и так далее?

— Из известных — родной брат Валериана Куйбышева. Он был секретарем обкома где-то на Волге. Я его встречал. Такой же курча-

вый, как и брат. Там, в лагере, нас не заставляли сбривать волосы. Кто хотел — стригся под машинку, кто хотел — отпускал волосы.

...Был еще один интересный тип по фамилии Арнольд. Я с ним познакомился. Это, знаете, международный авантюрист. Военный. Служил в какой-то южноамериканской армии, затем — офицер финской армии. Прекрасно говорил по-русски, владел многими другими языками. Вот он действительно был членом какой-то подпольной организации, по крайней мере, с его слов. Работал он на Урале, шофером в гараже Свердловского обкома партии. Туда должен был приехать Молотов, и Арнольд готовил теракт — собирался перевернуть машину, с тем чтобы ухлопать Молотова, но тот не приехал... Их дальнейшая судьба — и Куйбышева, и Арнольда — мне неизвестна.

...Зимой 1939 года произошла страшная история. Привезли к нам в лагерь целый эшелон — две с лишним тысячи человек — узбеков, в основном это крестьяне-дехкане. Выгрузили в сорокаградусный мороз — в халатах, тубетейках, каких-то чувяках, сапожках, построили и погнали на «раскомандировку» — дальние участки лесоповала в тайге в сорока—семидесяти километрах от самого лагеря. Я тогда уже работал шофером в автоотряде. Через несколько дней вызывает нас наш начальник: «Готовьте машины, завтра поедем на «раскомандировку». Приказал взять веревки. Поехали туда целой колонной. Приехав, увидели цветные штабеля. Это — замерзшие узбеки в своих халатах. Тамошние заключенные грузили их на машины и увозили к месту захоронения. Сделали два рейса. Землю под могилу приходилось взрывать — там вечная мерзлота, а два бульдозера рыли ров, куда и складывали трупы. При нас их не закапывали, только сгружали на землю. Переносили трупы в ров «похоронщики».

— Все две тысячи умерли?

— Остались считанные единицы с отмороженными ногами, руками, носами и так далее. Некоторые потом попали к нам в центральный лагерь; они работали дежурными, подметальщиками, уборщиками. Они были уже инвалидами. К тому же совершенно не владели русским.

— Зигмунд Оскарович, вы могли бы описать место захоронения?

— Опушка леса в сорока-сорока пяти километрах от центрального лагеря, в полутора часах езды...

— Были между заключенными в лагере какие-либо разговоры о характере осуждения, о жизни и так далее?

— Лагерь — не тюрьма. Там уже было, хоть и минимальное, свободное время. Все мы, без исключения, получали посылки от родственников. Все немного окрепли, пришли в себя. Я, когда оклемался, накатал жалобу. Отправил ее через вольнонаемных нелегальным путем, потому что посылать куда-либо жалобы из лагеря было бесполезно. Все письма проходили через цензуру, а официальные заявления попросту никуда не отсылались. В нашем автоотряде было несколько вольнонаемных. С одним из них, Пчелинцевым, я и познакомился. Сейчас-то уже можно назвать его фамилию. Он и отправил мое письмо из Соликамска по почте. В конце концов оно попало к адресату в Москву — «товарищу» Вышинскому, Верховному прокурору Союза. «Товарищ» тогда мы, конечно, не писали, мы «товарищами» не были, а назывались «гражданами». Описал я в этом письме все, что со мной произошло. Потом после освобождения при пересмотре дела следователь показывал мне мое заявление с резолюцией Вышинского: «Пересмотреть». Через полтора месяца после отправки письма я был освобожден.

— Почему это произошло, как вы думаете?

— Я совершенно убежден, что если посадили меня только по национальному признаку, то освободили в связи с другим делом. Недавно я был в Эстонии. Там очень много разговоров о дакте Риббентропа—Молотова и секретных приложениях к нему. Существует версия, что в них тогдашнее германское правительство обратилось к нашему с тре-

бованием освобождения репрессированных советских граждан немецкого происхождения и что наше правительство дало согласие на пересмотр ряда дел и освобождение действительно невиновных. И вот я думаю, хотя, конечно, это только мои предположения, что произошло счастливое стечение обстоятельств: эта вот договоренность и мое письмо, попавшее в конце 1939 года на стол Вышинского.

— Однако, разумеется, не все немцы могли написать, и заявления далеко не всех могли попасть в руки Верховного прокурора. Не так ли?

— Конечно. Мне крупно повезло, ведь через полтора года после ареста я вышел на свободу...

— Еще несколько вопросов о лагере. Как вы встречали праздники?

— В праздничные дни мы не работали по одному дню, то есть в майские праздники, например, отдыхали только Первого Мая. В этот день давали усиленное питание — какой-нибудь компот, котлетку. Вы знаете, сейчас это смешно, а тогда это имело какое-то значение — полакомиться чем-то. Потом концерт силами самодеятельности зеков. Концерты проходили великолепно, на высоком профессиональном уровне. Ну вот и все, собственно. Никаких докладов. Кстати, ни газет, ни журналов нам не давали.

— А заключенные не выпускали стенгазет?

— Нет.

— Некоторые бывшие заключенные — узники сталинских концлагерей — рассказывали, что праздники для них были сущей мукой, потому что в ночь на праздники устраивали повальные обыски, «шмонали» в бараках?

— Это совершенно правильно. Искали, конечно, не оружие, а листовки, плакаты, чтобы кто-нибудь с чем-либо не выступил. Кстати, регулярные обыски имели место и в тюрьме. Отбирали все неположенное». Например, шахматные фигуры или шашки, вылепленные, не смотря на тюремную гололуду, из хлебного мякиша. Карты, сделанные из папиросных мундштуков и разрисованные сажей...

— В Усольяге-4 были только политические или были и уголовники?

— Были и уголовники.

— А как складывались отношения с ними?

— В первое время очень тяжело, потому что они царствовали там, несмотря на то, что их было абсолютное меньшинство — максимум человек пятьсот, то есть приблизительно два барака.

— А всего сколько было барачков?

— Разделите одиннадцать тысяч на двести пятьдесят, и получится количество барачков. Это были одноэтажные, рубленые, деревянные строения...

А потом, через несколько месяцев, я, правда, в этом не участвовал, образовались группы сопротивления и защиты из кээрэдэшников и «врагов народа». Кстати, много студентов — молодых в основном ребят — стали организаторами. Они начали отвечать террором на террор. Кульминационным моментом этой борьбы стал один эпизод. В лагере была бригадная система. Скажем, я работал в бригаде лесорубов, а бригадир — из наших же товарищей. А в каждом бараке был нарядчик, выведивший нас на работу. Иногда это «бытовик», чаще — уголовник. А уголовники и «бытовики» — это небо и земля. Первые — попросту рецидивисты, убийцы, бандиты. «Бытовики» же — растратчики, взяточники и так далее, одним словом, публика «интеллигентная». В одном бараке повесили нарядчика из уголовников в его же закутке. Он жил вместе с заключенными, как и все другие нарядчики, но за отдельной загородочкой. Нарядчик этот был зверствующим. Вот его и повесили, прилепив на грудь плакат: «Всех бандюг, которые будут издеваться над другими заключенными, ждет такая же участь». Вообще уголов-

ники очень издевались над другими заключенными, избивали их. Они дружно держались, были крепко спаены, чем и пользовались поначалу, терроризируя остальных. Но так как уголовников было абсолютное меньшинство, их в конце концов зажали вот таким путем, самостоятельно. А администрация лагеря делала вид, что ничего не знает. Не знаю, как «списали» этого повешенного, но никаких репрессий и даже расследования не последовало. Впоследствии всех уголовников куда-то убрали, когда к нам приходили новые этапы...

— А откуда чаще всего приходили этапы?

— Со всего Советского Союза, но чаще всего из Европы: из Ленинградской, Ростовской, Московской областей, с Украины, из Киева...

— А были ли из Сибири?

— Нет, сейчас не помню, чтобы был сибирский эшелон... Поначалу в лагере мы, скрывавшиеся под аббревиатурой КРД, попали на общие работы: на лес, на земляные работы и так далее. А потом пришло какое-то указание — разрешение на работу всем «врагам народа» по специальностям, какие были в лагере. С тех пор все должности, вплоть до главного инженера огромного строительства, занимали «враги народа». Возможно, тогда и увезли всех уголовников, может быть, в другое отделение Усольяга.

— А завод строило только четвертое отделение?

— Да, только наше отделение. А чем занимались другие — не знаю.

* * *

— Зигмунд Оскарович, как вас освободили?

— Дело было так. Я работал шофером. И вот в ночную смену (мы работали по двенадцать часов) в зоне строительства я подъехал к одной маленькой котельной, погреться. Было очень холодно. В котельной работали знакомые зеки. Зашел я туда, привалился к чему-то и незаметно уснул. А ребята, кочегары, не стали меня будить, пусть, мол, отдыхает. В общем, смена моя кончилась, ни меня, ни машины нет. Меня объявили в побеге, сообщили на вахту приметы. Когда, очухавшись, я приехал в гараж — там скандал: меня уже разыскивают. Только я сдал машину сменщику, появляются из особого отдела: садись, поехали. И меня — в карцер. Это как тюрьма в тюрьме. Деревянное двухэтажное зданье. Что на втором этаже было — не знаю, а на первом — несколько камер с нарами. Вот в одной из них и просидел я трое суток. В карцере давали триста граммов хлеба и воду. В общем-то, все это ерунда, да вот только украли у меня там кирзовые сапоги, которые мне мать прислала из Ростова. На четвертые сутки вызвали меня — иди, разобрались с тобой. А я им: «Не в чем мне идти — сапоги украли». Выдали мне опять эти «ЧТЗ», и вернулся я в свой барак. А на следующий день приходит нарядчик и сообщает, что меня вызывают в управление. Управление, где находилась вся администрация лагеря, занимало двухэтажный кирпичный дом. Зашел в какой-то отдел, а мне и говорят: «Ну что, собирайся домой. На тебя документы пришли». Это была настолько потрясающая и неожиданная новость, что трудно даже сейчас описать все мои ощущения. Тот, кто не лишался свободы, этого не поймет. Было беспросветных десять лет. И вдруг... Поначалу даже не поверил. А мне: «Утром завтра придешь, получишь документы и вали на все четыре стороны». Когда вернулся в барак, уже весь лагерь знал об этом. Ко мне началось буквально паломничество: знакомые, незнакомые. И все спрашивали: «Кому писал? Как писал?» Ведь писали-то жалобы многие. Я, что мог, рассказывал. Сидел, готовился допоздна. У нас был официальный отбой, но особенно он не соблюдался. Можно вечером, кому надо, выйти. Но в основном никто никуда не ходил, потому что уставали смертельно, сразу валились на нары — ведь скоро снова на работу. Так вот, поздно вечером

зашел ко мне один из «бытовиков» — Володя Неманихин. Он был сыном председателя ВЦСПС Алмазова, а фамилия — по матери. Володя был рецидивистом, причем здоровым, красивым парнем, толковым и даже начитанным. Мы с ним работали в одном отряде в автогараже. Последний раз погорел он, обчистив пьяных пассажиров в Сочи, где работал таксистом.

— Ну что, Борис (меня до сих пор иногда Борисом зовут), — говорит, — домой поехал?

— Да вот, сказали, Володя, завтра утром явиться... У меня уж кой-какие вещички собраны, ребята чемоданчик деревянный из ящика посылочного сделали.

— Что ж ты, в таком виде поедешь?

А я в «ЧТЗ» сижу, и другой обуви у меня и нет.

— Какой, — спрашивает, — у тебя размер?

— Сорок третий.

Повернулся он и ушел. Через полчаса приносит мне коричневые полуботинки сорок третьего размера.

— Меряй.

Померил — как раз.

— Что, — говорю, — Володя, еще теплые, что ли?

— Не, не, чистые, батенька, чистые. Надевай, не бойся.

Снова оценивающе посмотрел на меня:

— Ну что у тебя за куртка!

А у него был морской китель с блестящими пуговицами. Снимает он его и отдает мне. А мое барахлишко себе забирает. Так вот Володя Неманихин проводил меня. А перед уходом говорит:

— Ты в Москве будешь, зайди к матери, скажи, что жив-здоров...

Я потом зашел к его матери. Поплакала она...

Вот так — в морском кителе с чужого плеча да в ботинках, не знаю, ворованных или нет, — и появился я в Москве.

...А потом после освобождения, когда шел пересмотр моего дела, следователь показывал мне материалы следственного дела. Там же в НКВД мне помогли получить все документы. Следователь сказал, что если будут задержки, звоните нам. И действительно, один раз мне пришлось воспользоваться их телефоном. В ГАИ начали морочить голову с правами. Тогда я позвонил в НКВД, и на следующий день мне писали права.

Там же в НКВД я увидел в документах такую фразу: «Проверить показания гражданина Остера невозможно в связи с осуждением его по первой категории». Спрашиваю следователя: «А что такое первая категория?» — «Это, — говорит, — высшая мера». То есть того, с кем у меня была очная ставка, в живых уже не было.

Антонина Григорьевна, жена:

— К прокурору и меня вызывали, хотя мы были только знакомыми с Зигмундом Оскаровичем. Я работала в театре бухгалтером. Я еще запомнила, как Костя Мелентьев, наш комсомольский секретарь, предупредил меня: «Зачем ты к нему ходишь, он же враг народа...»

— Все мы, я имею в виду наше поколение, росли совершенно убежденными в непогрешимости Сталина, росли, так сказать, под солнцем Сталина, безгранично верили ему. Даже в тюрьме и лагере, куда я попал, партийцы, по сравнению с которыми я был мальчишкой, несмотря ни на что, верили ему. Спрашивал одного из них, бывшего секретаря Таганрогского горкома партии Ивана Тарапаху, впоследствии расстрелянного:

— Иван Михайлович, когда же это кончится? Будет ли этому конец?

Он подумал и сказал:

— Конец будет лет через двадцать.

И знаете, он ошибся всего на два года, потому что XX съезд партии наступил через восемнадцать лет.

— А почему именно через двадцать лет?

— Тарапаха сказал, что всякий поворот в политике быстро не происходит ни в ту, ни в другую сторону, требуется время, причем оговорился: «А может быть, это произойдет и раньше, если Он все узнает». То есть, даже сидя там, люди верили в Сталина. Вера эта поколебалась лишь после XX съезда партии.

— Интересно, происходили ли побеги из лагерей?

— Да, но почти никогда не удавались. Кругом тайга, сложные природные условия. Кроме того, жители окрестных сел были повязаны с администрацией лагеря на коммерческой основе: за поимку беглецов они получали денежное вознаграждение и кой-какие продукты: муку и прочее. Поэтому большинство беглецов, — а их было немного, при мне, например, случая три — ловили. Произошел один потрясающий случай. Был в лагере капитан дальнего плавания из Ленинграда. Мы с ним хоть и знакомы, но он меня не посвящал в свои планы. Ходил он в морском кителе с блестящими пуговицами, как и Володя Неманихин. Словом, настоящий капитан. Когда разрешили всем зекам работать по специальности, он пошел работать на буксир. Лагерь стоял на берегу Камы, и у нас был свой водный транспорт — паровой или дизельный буксир, которым таскали плоты. Он, оказывается, втихаря готовился к побегу: запасал продукты, добыл какие-то бумаги, документы, в этом ему помогли его знакомые, работавшие в управлении. Там, кстати, работало много женщин из заключенных. Вообще в лагере был целый барак жен и дочерей «врагов народа». Жили они совершенно отдельно от нас. Среди них — и жены наркомов, всяких крупных деятелей. Некоторые ходили в котиковых манто, правда, потертых, в общем, со следами былого благосостояния. Так вот. Подготовившись, этот капитан дальнего плавания бежал из лагеря.

— На катере?

— Нет. Но ушел он именно с катера. Команда, вернувшись, когда он ушел за зону лагеря, доложила, что его нет. Тогда и объявили его в побеге. Сообщили по всем окрестным селам, деревням, городам его приметы. Но ему удалось скрыться... Уже на воле я встретил человека, освободившегося уже после меня. И он мне рассказал, что этот капитан прислал в лагерь с воли письмо или открытку, душу, что ли, хотел отвести. И откуда бы вы думали? С Аляски! Видно, он хорошо знал топографию, что добрался аж до Аляски.

— А что было в письме?

— Привет всем зекам. Такой скандал был! Ушел человек из такой тайги, да еще куда — на Аляску! Видать, влетело начальству здорово и охране в первую очередь...

— Какие меры применялись к пойманным беглецам?

— Прежде всего — карцер. Держали там столько, сколько им нужно было. Там же работал так называемый второй отдел — следственная часть внутри лагеря. Возглавлял ее начальник режима лагеря Адлер — крепкий, коренастый блондин с ежиком. Он ходил в форме, с мечом на руке. Суворый дядя. Был он и царь, и бог, а для нас — самый страшный человек, страшнее начальника лагеря — почти мифической, абсолютно недоступной фигурой, которую никто и не видел. Знали, что генерал какой-то. После карцера был суд. Судили в Соликамске в нарсуде. Там и набрасывали по 82-й статье за побег обычно три года.

— Как сложилась ваша судьба после освобождения?

— Приехал домой. Женится на Антонине Григорьевне. Продолжал работать шофером в Ростове-на-Дону...

— А как вы попали сюда, на Алтай?

— В начале войны, в сентябре сорок первого, получил повестку: с ложкой-кружкой на отправку. А я очень плохо чувствовал себя тогда. Медкомиссия установила, что у меня открытая форма туберкулеза, который я из лагеря привез. Каверна была с пятак. И выдали мне белый билет. Хотя мне кажется, что не взяли меня как бывшего «врага народа». А через некоторое время вызвали в райком партии и объявили, что в соответствии с указом о переселении немцев Поволжья меня отправляют на спецпереселение. Так что, собирай шмотки, будешь переселен с семьей в отдаленный район страны. В этом указе был пункт, согласно которому выселялись и лица немецкого происхождения, проживающие в военных округах, объявленных на особом положении.

В эшелоне переселенцев, собранных со всей Ростовской области, было две с лишним тысячи человек. Везли нас под охраной, хотя она особо за нами не следила, если кто-нибудь и намылился бежать, мне кажется, его и не стали бы ловить — беги на все четыре стороны. Везли нас более трех недель. Ехали в теплушках. Когда бомбили, состав останавливался. Дорогой кормили, на станциях были организованы пункты питания, давали супы, хлеб, еще что-то. Люди в основном подготавливались: и продукты взяли, и барахло кой-какое. Багаж не ограничивали — бери сколько увезешь. Ехали с нами и коммунисты, и комсомолы.

— Все немцы?

— У кого в паспорте было записано, что он немец. Не тронули тех немцев, у которых в паспорте было записано «русский». Например, наших знакомых Вундерлих. Кстати, один из братьев Вундерлих, Борька, перешел к немцам и воевал за них в «люфтваффе» летчиком. Даже приезжал в оккупированный Ростов в немецкой форме.

Так вот и обрели мы вторую родину — Алтай. В пятьдесят пятом году можно было уехать, но мы не уехали. И абсолютно не жалею об этом. У меня, верите ли, жизнь пополам — черное и белое. На Алтае мне везло на хороших людей, ко мне очень хорошо относились люди, душевно. Здесь меня приняли в партию в 1957 году. Работал я тогда в Рубцовске в транспортной конторе водителем автобуса. Моим напарником был Петя Тарский, секретарь нашей парторганизации. Он меня и уговорил подать заявление о приеме в партию. Спецпереселение уже было снято. На общем собрании попросили рассказать биографию. Рассказал я, а там сплошная чернота: судимость, тюрьмы, лагеря... «Ну, какие предложения?» — «Принять!» — «Кто «за»?» Единогласно. И вы знаете, у людей какая-то реакция, заплодировали, такого в общем-то не бывало на собраниях.

...Работал я потом на транспорте. Сын тоже автомобилист. А беда наша и боль — внук Юрка. Вот уже год и восемь месяцев в Афганистане. Уже переслужил*. Ждем его...

Вот так и сложилась моя судьба.

ЛЮДИ ИЗ ЖЕЛЕЗА

...Во время разговора прокурор ни разу не поднял на меня глаза, он был какой-то металлический. Из какого металла?..

Из воспоминаний Мерзликиной А.И.

Авторам, как членам общества «Мемориал», приходится довольно часто встречаться с людьми, чьи близкие прошли через подвалы НКВД, тюрьмы и лагеря. И подчас, слушая их рассказы, буквально кожей ощущаешь присутствие тех, кто расстреливал, пытал,

* Рассказ З. Германа был записан год назад.

арестовывал. И возникает один и тот же вопрос: кто они, эти люди, чьи фигуры в синей форме НКВД расплываются в тумане времени?..

К сожалению, так мало сведений о работе этих органов, такими секретами и тайнами окружена их деятельность, что даже сегодня, в пору гласности, очень трудно восстановить достаточно полную и достоверную картину репрессий. Однако делать это необходимо: этого требует историческая правда и память о тех, кто стал безвинной жертвой беззакония...

В 30-е годы за политической благонадежностью всего огромного Западно-Сибирского края наблюдали из Новосибирска. Именно там действовала главная «тройка», куда входили Роберт Эйхе — первый секретарь крайкома партии, и Миронов — начальник Управления НКВД. О третьем члене «тройки» известно мало. По должности им мог быть председатель крайисполкома Грядинский. Однако ряд фактов свидетельствует о том, что в работе «тройки» принимал участие крайпрокурор Барков. По указанию Вышинского, прокуроры обычно не участвовали в «тройках». Но западно-сибирский «блюститель законности» был на особом счету в Москве и общий порядок здесь мог быть изменен.

...Авторитет Эйхе был достаточно высок в Сибири и на Алтае в частности. И мысль о том, что он — организатор репрессивных кампаний, что тысячи людей обречены им на смерть и муки, казалась многим крамольной. Может быть, потому, что сам Эйхе в 1938 году был арестован, будучи уже наркомом земледелия, и вскоре расстрелян.

Однако факты и свидетельства очевидцев доказывают, что Эйхе стал жертвой той системы репрессий, одним из активных участников создания которой и сам являлся.

Бывший в 30-е годы партийным работником в Нарымском крае Мукин, вспоминает:

«Эйхе самых активных революционеров, коммунистов с дореволюционным стажем арестовал и расстрелял. По его приказу взяли председателя крайисполкома Грядинского, его заместителя. В крайкоме работал один революционер, старый такой, с дореволюционным стажем, больной, тут вот трубочка у него была — взяли и его*.

И вот еще штрих. В 1937 году Эйхе был на февральско-мартовском Пленуме ЦК. Когда он приехал, меня пригласили на краевой партактив, где был доклад Эйхе по итогам Пленума. В этом докладе он много говорил о многочисленных арестах в Омской, Свердловской областях. Но о том, что он делал в своем крае, он ничего не сказал. А в президиуме сидел начальник политотдела Томской железной дороги. Был он членом бюро крайкома, еврей по национальности**. Просит слова. Ему предоставляют, он и говорит: «Товарищ Эйхе, вы много говорили о перестраховщиках, много перечислили областей, но ничего не сказали о своем крае». А в нашем-то крае допущено было перегибов не меньше, а больше. Ему, значит, звонок, чтобы не выступал. А весь зал говорит: «Продолжить!» Ну и он с полчаса, наверное, говорил. Приводил примеры репрессий и обвинил в этом Эйхе. Он же виноват непосредственно, тут и говорить нечего.

Наутро объявляют по радио, что этот начальник политотдела —

* По-видимому, имеется в виду В. Д. Вегман — сибирский большевик, историк, литератор. Выпустил ряд книг, в том числе и по истории революционного движения на Алтае. С 1937 по 1989 годы они находились в спецфондах и лишь несколько месяцев назад стали доступны читателям.

** Нельзя точно установить, кто был этот человек. Мог быть Ваньян, начальник Томской железной дороги, член бюро крайкома, мог быть Степанов, начальник политотдела Томской железной дороги, или начальник политотдела Западно-Сибирского пароходства, чья речь на этом активе была признана «вредной». Возможно, архивные поиски помогут прояснить этот эпизод.

враг народа, японский шпион. И все. Разделались с этим человеком*.

Затем Эйхе взяли в Москву. А там добрались и до него. И он писал заявление Сталину, что «товарищ Сталин, меня арестовали за то, что, будучи секретарем Запсибкрайкома партии, я там много разоблачил врагов народа». Его заявление высылали по связи всем партийным работникам, и мы его читали.

Если его арестовали за это, то я тоже выступаю за это, потому что репрессировали при Эйхе очень много. Позднее, при Хрущеве, его реабилитировали посмертно. Откровенно говоря, как коммунист, я бы его не реабилитировал ни за что. Потому что он самый цвет партийных, советских работников расстрелял».

На том же партактиве Эйхе говорил в своем докладе: «В процессе проверки обмена партдокументов в крае исключено из партии 338 троцкистов, и после обмена исключено еще 178». («Советская Сибирь», 21 марта 1937 года.)

Третьим в «тройке» мог быть и Н. П. Грядинский, но сведений о нем очень мало. В 1937 году он был председателем крайисполкома и членом бюро крайкома партии, впоследствии репрессирован.

Наиболее зловещая фигура в этом триумvirате — начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю С. Н. Миронов, старший майор госбезопасности (по общевойсковой иерархии это звание можно приравнять к генерал-майору). Московский журналист Эдуард Белтов сообщил нам ряд фактов из его биографии.

— Настоящая фамилия Миронова — Король Сергей Иосифович. В прошлом — прапорщик царской армии. С 1918 года в Красной Армии. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В начале 1937 года был назначен начальником второго Восточного управления НКВД. Затем вместе с И. С. Коневым был направлен в Монголию. Там принимал участие в репрессиях среди монгольских руководителей. В 1939 году был арестован, а в 1940 расстрелян. Не реабилитирован.

В октябре 1937 года после организации Алтайского края, на базе Барнаульского НКВД возникает УНКВД по Алткраю. Старожилы Барнаула до сих пор с опаской обходят это здание по улице Ползунова, 34, где в 30—50-е годы располагалось УНКВД. Многим барнаульцам известна легенда о голубой даме — привидении в бывшем дворце горного начальника. А сколько же сотен и тысяч теней замученных должны находиться по ночам мрачные коридоры этого дома... До сих пор не выветрился отсюда тяжелый тюремный запах, до сих пор видны следы от решеток в полу и на стенах, и, право, не по себе становится, когда из замурованных подвалов дохнет сырым, холодным ветерком. Здесь находилась внутренняя тюрьма НКВД, где велись допросы, пытали и расстреливали арестованных. Расстрелы происходили в специальной комнате без окон, в центре здания, а трупы сжигали в особой печи, уничтоженной, как рассказывают, уже в наше время. Лишь недавно было снято запрещение копать землю во дворе и в окрестностях здания. Каких страшных находок боялись запретители? Да, много еще секретов и тайн хранит в себе это огромное строение с глухим внутренним двором, бесконечными переходами и мрачными коридорами, винтовыми лестницами, ведущими куда-то в бездну.

Когда-то в этом здании кипела своя жизнь: здесь, на лестничных площадках, курили «Беломор» уставшие следователи, обменивались своими соображениями о методах ведения допросов, а в «расстрельной» комнате уже растапливали жаркую печь небольшого крематория...

Где сейчас эти люди, заполнявшие кабинеты и комнаты большого дома на Ползунова, 34? Многих уже нет, разумеется. Но некоторые живы до сих пор. Лишь немногие из них понесли наказание в 50-х го-

* Ваняин и Степанов действительно были объявлены «врагами народа», но несколько позже, во второй половине 1937 года.

дах или раскаялись в содеянном. Да были ли такие? Что-то не слышно о раскаяньи...

Сегодня со стороны общественности, репрессированных и их родственников раздаются требования — обнародовать имена людей, служивших в карательных органах сталинского режима (НКВД, прокуратура, суд). Начало этой деятельности было положено и у нас на Алтае — краевое УКГБ опубликовало список своих офицеров, в свое время осужденных за беззакония. («Алтайская правда», 7 марта, 1989 г.)

Картотеки «Мемориала», хотя и неполные, позволяют нам предать гласности некоторые из этих имен. О них известно очень немного, и мы не можем делать окончательный вывод о том, кто перед нами — патологический убийца-изувер или попавший в жернова административной системы добросовестный чиновник. Может быть, кто-нибудь еще помнит этих людей и сможет написать о них?

СУД

Шемелев Николай Ильич, Тюрин Павел Андреевич, Рошиков П. И., Прокопьев С. Ф., Островский А. В., Коммунар, Тармышев, Тихонов.

Эти судьи входили в 1937—1938 годах в состав так называемой «Спецколлегии крайсуда», занимавшейся проведением политических процессов в Кытманове, в колхозе К. Маркса Марушинского района, в колхозе «Новая жизнь» Каменского района, в Курье, на Алтметаллзаводе, в Усть-Пристани. Обвиняемые как «вредители» и «враги народа» приговаривались либо к расстрелу, либо к длительным срокам в лагерях.

ПРОКУРАТУРА

Барков И. И. — в 1934—1937 гг. прокурор Западно-Сибирского края. Активно участвовал в репрессиях. Видимо, недаром он в числе лишь нескольких прокуроров страны в страшном 1937-м указом ЦИК был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Поздняков Н. Я. — первый прокурор Алтайского края (1937 г.), был обвинителем на процессе в Марушинском районе, а ранее замещал И. Баркова. По некоторым данным, в 1931 г. работал прокурором Хакассии и исключался из партии. Был репрессирован с группой других прокурорско-судебных работников, затем освобожден.

НКВД

Попов Серафим Павлович — начальник УНКВД Алткрая (1938 г.), в конце 30-х годов расстрелян.

Южный — капитан госбезопасности, начальник НКВД Барнаула (1935—1936 гг.).

Жуков — лейтенант госбезопасности, начальник НКВД Барнаула (1937 г.).

Юркин — начальник следственной части УНКВД Алткрая (1939 г.).

Усов Яков Александрович — ответработник УНКВД Алткрая (1938 г.).

Перминов Петр Романович — лейтенант госбезопасности, начальник 7 отделения УГБ УНКВД Алткрая (1938—1939 гг.).

Кусков — уполномоченный 7 отделения УГБ УНКВД Алткрая (1939 г.).

Кузьмин Федор Иванович — лейтенант госбезопасности, начальник 4 отделения УГБ НКВД Барнаула (1937—1938 гг.).

О некоторых работниках НКВД хотелось бы рассказать подробнее. Никольский Евгений Петрович. Начал свою карьеру офицера госбезопасности в Москве. В 1934—1938 гг. служил оперуполномоченным, помощником и начальником отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937 году за «беспощадную борьбу против контрреволюции» награжден почетным оружием, знаком «Почетный чекист», в 1938 году — золотыми часами. 1 февраля 1938 года переведен в Алтайский край помощником начальника УНКВД. Был членом Барнаульского горкома партии. Летом 1938 года стал нашим депутатом в Верховном Совете РСФСР по Тальменскому округу. Дальнейшая судьба не известна.

Мокиевский Константин Андреевич. Происходил из семьи чиновника. Учился на юридическом факультете Московского университета. Член партии с 1918 года. «Принимал участие в ликвидации двух кулацких восстаний и ликвидации бандшаек в 1918—1920 годах»*. (Из автобиографии, ГААК, фР-1575, оп. 1, д. 1, л. 4.) В 1925—1926 гг. исключался из партии. Причиной послужило то, что отец его жены был «помещиком». С 1930 года в Западно-Сибирском крае — работал прокурором Томска, затем старшим помощником крайпрокурора, вел надзор за местами заключения. «Большую работу провел т. Мокиевский в Сибирском и Алтайском краях по уничтожению врагов большевистской партии и Советской власти, право-троцкистов и других двурушников японо-немецко-фашистских агентов». (Из справки к назначению персональной пенсии, ГААК, фР-1575, оп. 1, д. 1, л. 8.) Но настал момент, и фортуна повернулась к нему спиной. 20 июля 1938 года Мокиевский был арестован, набрав себе целую коллекцию пунктов страшной 58 статьи: 1-а, 2, 7, 8, 11 (измена Родине, вооруженное восстание, вредительство, совершение террористических актов, участие в антисоветской организации).

Шестнадцать месяцев провел он в заключении, в тех самых камерах, переполненность и вшивость которых он хладнокровно констатировал будучи прокурором (ГААК, фР-1575, оп. 1, д. 12, л. 16—19.) Раньше Мокиевский отказывался принимать протесты заключенных о том, что их били в застенках НКВД, если они не могли найти свидетелей. Теперь он сам мог убедиться в характере «методов» следствия и поискать среди сокамерников тех, кто рискнул бы выступить в роли его защитников.

Во время наступившего после смещения Ежова краткого момента либерализации, в ноябре 1939 года, вышел на волю и Мокиевский. Неизвестно, что он думал тогда, как оценивал свою жизнь. Но вскоре снова стал работать в прокуратуре, снова включился в систему, уничтожавшую людей.

Для тоталитарных режимов характерно установление разветвленной сети всеобщего и добровольного сыска, доносительства. Существовала она и у нас. Дополняя органы, она делала их вездесущими и всеильными. Попробуем восстановить элементы этой системы.

Осодмил (Общество содействия милиции). Это «общество» ведет свои традиции от старой полицейской системы станových приставов, урядников, сотских и десятских. Идея о полицейском, живущем среди своих подопечных и ведущем свое хозяйство, нашла свое выражение в 30-е годы. Осодмильцы помогали местным властям проводить многочисленные компании, выступали вооруженной силой против разрозненных проявлений недовольства. В госархиве Алтайского края хранится поэма «Из рабочего квартала», написанная в 1932 году неизвестным крестьянином и посвященная коллективизации. Она завершается наивным, но красноречивым призывом: «Еще просим убрать осодмильцев из

* В Бельском уезде Центрально-Черноземной области.

участков милиции. Это социал-демократ, что из-за границы*. (ГААК, фР-345, оп. 2, д. 17, л. 34.) На 1 января 1932 года в Западно-Сибирском крае имелись 2093 ячейки Осодмила с количеством членов 29309» (44% — члены партии и комсомола, 2% — женщины). За год ими было проведено самостоятельно 284 следственных дела. За четвертый квартал 1932 года осодмильцы выявили у крестьян «136 ям с хлебом с общим количеством 582 центнера зерна». (ГААК, фР-1575, оп. 1, д. 12, л. 42.)

Группы содействия прокуратуре. Эта более цивилизованная форма надзора за советскими людьми, характерна для городов. Для примера возьмем группу, руководимую уже упомянутым К. А. Мокневским. Члены ее выбирались рабочими. Они занимались вопросами прогулов, пьянок, самоснабжения. Но основную задачу свою видели в борьбе с классовыми врагами и вредителями. Член такой группы вел сбор компромата на своем предприятии, мог упрятать любого из своих товарищей по работе за решетку.

Секретные сотрудники (сексоты). Наиболее приближенная к органам часть помощников. Институт сексотов, как одно из направлений работы ЧК, возникло вскоре после Октябрьской революции. На Алтае первые сексоты появились в 1920 году, вскоре после освобождения от Колчака. Нам приходилось встречать в архиве рапорты того времени с фамилиями, густо замазанными шариковой ручкой (по-видимому, в 70-е годы). Существовали профессии, почти сплошь укомплектованные тайными осведомителями: служащие ресторанов, проститутки, люди, контактирующие с иностранцами.

Вообще предложения о сотрудничестве получали в те годы (да и позднее) почти все сколько-нибудь заметные, выдающиеся над средним кругом люди, имеющие широкие дружеские и деловые связи. От предложения можно было и отказаться. Если органы не располагали на человека компроматом, то иногда отказ сходил ему с рук. По крайней мере, такие случаи нам известны.

В среде сексотов — этом втором, невидимом НКВД, сложилась своя этика, своя система ценностей. Зачастую они недолюбливали и презирали своих «кураторов», офицеров госбезопасности, полагая, что без услуг осведомителей, как без глаз и ушей, они ничего не смогут. Не брезговали сексоты и прямым провокаторством, полагая таким образом повысить и свой авторитет, и зарплату...

Но система доноительства не ограничивалась одними лишь сексотами. Широко была распространена система партийных доносов, доносов в газету, доносов администрации.

Часто доносы были анонимными: «Красный Алтай» (барнаульской газете. — Авт.) от деревни Санниковой Барнаульского района. В Санниковском Совете и в колхозе «12 лет Октября» замаскировались вредители Советского Союза как и Тарасов Василий, председатель колхоза, бывший баптист, занял пост ударника, второй Килин, бывший поп... занял ответственный пост при сельсовете. А третий кержак Карпов Елисей, то есть вредитель кулак ему здесь не место». (ГААК, фР-345, оп. 2, д. 17, л. 40.) Грязная, оборванная бумажка-треугольник со штампом Барнаульского почтамта — 13. 4. 33 г. Но уже через два дня руководитель Барнаульской партколлегии Редячкин отправляет в Санниково документ с грифом «совершенно секретно», где, повторяя все обвинения, требует разбора дела и наказания виновных.

Но иногда донос просто ужасает. Сын пишет на отца, жена на мужа. Вот перед нами такой документ.

«От Кутаревой Н. Н., чл. ВЛКСМ с 1934 г., № 00202 ком. бил.

* В 30-е годы, в период бытования теории «социал-фашизма», выражение «это социал-демократ» звучало как страшное политическое ругательство, так же, как в 1918—1919 гг. было принято ругать оппонента: «Ты — левый эсер».

Живя с Зыряновым Михаилом Александровичем как с мужем с 8/III-38 г. я обнаружила такие факты:

Мне как комсомолке кажутся антисоветскими такие поступки. Так как Зырянов 2 года тому назад из-за границы, идет категорически против комсомола. Он предлагает выбросить «комсомольский билет и называет честными болтунами...»

Работая в типографии «Алтайской правды», Кутарева получила письмо, где говорилось, что ее муж — сын бандита. И она сообщает: «Но я сделала не по-комсомольски и отдала ему это письмо, не зарегистрированное в книгу писем трудящихся. Но он у меня его вырвал и сжег... Я заплакала и спросила его, что, мол, ты наделал, так он стал угрожать. Но я осознала эту грубую ошибку, нечестную с моей стороны как комсомолки... 14/VI-38 г.». (ГААК, фР-345, оп. 2, д. 20, л. 14—15.)

*«От члена ВКП(б) Забудкина Петра Иосифовича,
п/бил. № 3097101*

ЗАЯВЛЕНИЕ

...Контрреволюционной деятельностью в данное время занимается столяр типографии Степанов Устин Николаевич.

...Один из рабочих, очевидно, насторожившись, спросил Степанова, где он работает, в какой организации? Степанов ответил: «Там, где больше всех врут». Его не поняли и повторили вопрос. Степанов снова ответил: «Разве не понимаете, где, в каком учреждении больше всех врут? Понятно, в газете, а я работаю в редакции» («Алтайской правды». — *Авт.*).

...Прошу парторганизацию пресечь антисоветскую деятельность Степанова, сообщив вышеизложенные факты следственным органам». (ГААК, фР-345, оп. 2, д. 20, л. 5—6.)

Собирая материал, авторы испытывали большие трудности. Атмосфера секретности, окружающая органы госбезопасности и МВД, делает картину фрагментарной. Возможно, читатели почувствовали это. Архивы же этих органов и по сей день закрыты, а многие из них, вероятно, уничтожены, как это делалось в недавнем прошлом в государственных архивах. В процессе работы нам часто приходилось встречать следы этих дел, «выделенных к уничтожению» в середине 70-х годов по одному признаку — в названии их упоминалось слово МГБ, НКВД, ОГПУ — таких, например, как: «Переписка с органами НКВД АК (анонимный корреспондент. — *Авт.*) и указания по их секретной корреспонденции», «Анонимные письма и переписка по ним с органами УМГБ и УНКВД АК», «Расследование жалоб через органы НКВД» (ГААК, фР-345, оп. 2, д. 26, л. 34, 56.)

Трудно было выявить имена руководящих работников НКВД. Подавляющее их большинство упоминалось лишь по фамилии. Таков был порядок. Некоторые вообще скрывались под псевдонимом. Кропотливая работа по сличению источников, выявление сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях, определение характера и степени участия — все это необходимо для восстановления правды об органах государственной безопасности, представлявших в известный период главную опасность для судеб людей и государства.

«Колхозники нашего края пишут: «Раньше говорили: око за око, зуб за зуб. Сегодня мы говорим: за око — двадцать очей, а за зуб выдернем всю челюсть. Все трудящиеся нашей страны присоединяются к этим словам».

«Алтайская правда», 5. 3. 1938

«...Вполне очевидно, что в известных случаях бывает необходимым поразить одного человека, чтобы спасти тысячу, чтобы спасти сто тысяч, чтобы спасти будущее и создать лучший мир, в котором человек уже никогда не будет жертвой человека».

*Барбюс А. Сталин. Человек, через которого
раскрывается новый мир. М., 1936*

«В поселках Каменка и Токарн Ребрихинского района появился выдававший себя за прокурора аферист Н. Леуткин. Пользуясь иднотской беспечностью сельских организаций, лжепрокурор устроил в поселках процессы над колхозниками. Колхозников Колпакова и Кошкикова аферист «приговорил» к 200 р. штрафа, колхознику Коростилу за нарушение якобы общественного порядка аферист пригрозил 8 годами заключения, но, смилостивившись, заменил заключение штрафом в 200 р.»

«Алтайская правда», 16. 7. 1938

Фурсова Полина Кузьминична

Навечно остался в моей памяти февраль 1938 года. Это было часов в 11 утра, 18 февраля. Дома были я и моя мама. Все остальные в школе (четверо), две старшие сестры — замужем. Всего в семье было семеро детей. Так вот, одна я была еще не у дел: в школу не ходила и потому стала свидетелем совершившейся экзекуции. Подъехала кошевка, запряженная лошадю. Входит к нам в дом милиционер (говорили, что его фамилия Максименко) в сопровождении женщины, которую все в нашем селе звали Бюричиха, а с ними отец. Он не раздевался. Сначала молча постоял посреди избы, а затем стал ходить из угла в угол. Я стояла у дверей, а он, всегда такой внимательный к детям, меня словно не замечал. Милиционер начал обыск. Осмотреть все для него не составляло труда — скарб в доме в ту пору был не очень-то мудреный: стол, две кровати, лавка у стены, на стене кое-какая одежонка. Но была у нас в доме главная достопримечательность — сундук, где хранились, если можно назвать, сокровища, самое ценное в доме. Крышка сундука была обклеена картинками, туда же записывали всякие знаменательные даты: когда, например, отелилась корова или когда ждать новый отел. Там же хранились кое-какие бумаги: школьные тетради старших братьев и сестер, подписанных матерью, а также тонкая, прозрачная, шуршащая бумага, свернутая в несколько раз. Это был подробнейший план землеустройства нашего села Ракиты Михайловского района, где мы все родились и выросли. На нем были нанесены все улицы, постройки, дома, прилегающие к ним земельные участки, поля и лесополосы. Все это сделал сам отец — ходил, замерял и заносил на бумагу. Там же, в сундуке, хранились его партизанский билет, биография отца... Все эти бумаги милиционер забрал. Жили мы так, что и дать-то отцу что-либо из еды нечего было, заняли у соседей булку хлеба, положили в мешок — вот и все. Поместили его в сельский Совет. Был он такой не один, мать говорила, что одна комната в сельсовете была заполнена арестованными. Свидания не разрешили, поэтому прощались через окно. Я не ходила — не во что было обуться, а две старшие сестры вместе с мамой были. Отец попросил принести очки и газеты. Очень наказывал матери: «Алена, смотри, как тебе трудно ни будет, учи детей».

Ночью всех их увезли в Ключи (тогда Михайловка и Ракиты входили в Ключевский район). Подойти к подводам никому не разрешали. Когда моя сестра Клава подбежала к отцу, послышался окрик: «Сейчас всех вас сюда заберем». И ее грубо отстраняли винтовкой. Никаких вестей от отца больше не было, больше мы его не видели.

Мама пыталась написать его биографию, описать его заслуги перед Советской властью, пыталась найти их подтверждение у коммунистов, партизан, воевавших с отцом в гражданскую, однако никто ничего не подписал. Никто...

Начались трудные времена. Семье «врага народа» не дали хлеба из колхоза, сена, отказали буквально во всем. Встал вопрос: как выжить? Закончив семь классов, пошел работать в колхоз брат Павел. Младшие продолжали учиться. Илья закончил 10 классов, хотел стать летчиком — не разрешили. Сын «врага народа». Павла даже в армию по своим годам не взяли, а забрали сразу вместе с Ильей — 1 мая 1941 года. Илья в 19 лет погиб под Ельней, а Павел прошел всю войну. Позже он вспоминал, что на фронте его не раз хотели отправить на командирские курсы, но как только узнавали, что отец репрессирован, на том и дело кончалось...

Часто мне вспоминаются строки одного из моих любимых стихотворений «Мать» Сергея Острового:

Репрессирован муж, ты теперь ни жена, ни вдова...
А потом от тебя сыновья на войну уходили...
От тебя, нет, с тобой...

Документов об отце почти не сохранилось. Есть архивная справка о том, что он был красным партизаном, участвовал в боях под Волчиной, Белым. Есть справка о реабилитации, выданная после XX съезда в 1956 году. Но ничего не сказано о том, за что его забрали, кто те люди, которые дело на него «состряпали». Хотелось бы, чтобы их называли.

...Хочу рассказать об одном эпизоде, имеющем отношение к репрессиям. В период освоения целинных и залежных земель мне пришлось работать в Назаровской МТС Михайловского района. Муж работал главным зоотехником в МТС, а я в школе-семилетке завучем. Жил тогда в Назаровке налоговый агент Фролов. Он был дружен с бывшим следователем НКВД Владимовым. Так вот Фролов рассказывал: «Арестованных далеко не увозили, их убивали в Ключах. Делали это тайно. Процедура была следующая: проходил будто бы медосмотр: врач в белом халате (работник НКВД, он же палач), в приемной — очередь, в комнату заходят по одному. Начинается осмотр. Врач просит открыть рот, вроде осматривает горло, помогает ложечкой, а сзади к заключенному в легких тапочках подходит другой палач со специальной колотушкой, бьет со всей силы по голове...

Хоронили убитых в общих ямах, сбрасывали кучами. Он даже рассказал такой случай: один погибший был высокого роста и не влезал в могилу. Ему отрубили ноги и сбросили в яму... Все эти безымянные могилы находятся неподалеку от села Ключи Ключевского района. Возможно, есть люди, которые знают, где эти могилы, вернее, ямы с телами погибших безвинно, без суда и следствия.

Однажды мама сказала мне: «А знаешь, отец мне говорил, что мы пошли не по ленинскому пути». Я с удивлением на нее смотрела: «Не вздумай это еще кому-нибудь сказать». Она вздохнула: «Но ты должна знать об этом».

Я часто вспоминаю отца. Он был веселым, жизнерадостным человеком. Любил играть с детьми, петь украинские песни, читал, окая, наизусть стихи Кольцова, Тютчева, Фета: «Сеть намокшую подняли дружно рыбаки и на корточки присели рыбу класть в мешки...» Помню, мы с отцом ежедневно вели записи погоды, проводили опыты на всхожесть семян: в ящичках сеяли разные сорта пшеницы, а потом определяли процент всхожести, считая, сколько зерен посеяно, сколько вошло.

В 1938 и 1939 годах такой урожай вырос в наших Ракитах, что хлеб некуда было сыпать. Мать вздыхала тогда: «Вот бы Кузьма порадовался...»

После XXII съезда нас, учителей истории, часто собирали в красном центре на семинары, конференции и называли цифру репрессиро-

ванных участников партизанского движения на Алтае: из 50 тысяч человек арестовано было 20 тысяч.

И это только на Алтае!..

* * *

И особенно почему-то «цвела» в камерах легенда об Алтае. Те немногие, кто когда-то там был, навевали сокамерникам певучие сны: что за страна Алтай! И сибирское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и медовые реки. Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые деревни.

Арестантские мечты об Алтае — не продолжают ли старую крестьянскую мечту о нем же? На Алтае были так называемые земли Кабинета Его Величества, из-за этого он был долго закрытее для переселения, чем остальная Сибирь, — но именно туда крестьяне более всего и стремились (и переселялись). Не оттуда ли такая устойчивая легенда?

Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха в незамутненном воздухе! Погладить добрую серьезную морду лошади! И будьте вы прокляты, все великие проблемы, пусть колотится о вас кто-нибудь другой, поглупей. Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спертой камерной духоты. Одна жизнь нам дана, одна маленькая короткая! — а мы преступно суем ее под чьи-то пулеметы или лезем с ней, непорочной, в грязную свалку политики. Там, на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой и темной избушке, на краю деревни, подле леса. Не за хворостом и не за грибами — так бы просто вот пошел в лес, обнял бы два ствола: милые мои! ничего мне не надо больше!» (А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования. Вермонт—Париж, YMCA PRESS, 1987, с. 265.)

* * *

Прибакова Н. Д., участница Великой Отечественной войны, ветеран труда

Отец наш работал на железной дороге в кондукторском резерве, был раздатчиком и нарядчиком кондукторских бригад. Семья наша была большая. Жили бедно, испытали и холод, и голод. Когда пошли учиться в школу, одежки не хватало, носили по очереди. Отец брал участок земли, сажали картошку за железнодорожной линией, неподалеку от маслозавода, но этой картошки не хватало на семью, всегда было голодно. Жили одной мечтой: поесть досыта. Помнится, пришел отец с работы (мать болела, лежала), мы к нему кинулись, есть хочется, плачем. Он отстранил нас и вышел. Вскоре вернулся, принес буханку черного хлеба и селедку. Это была для нас радость. Хлеб всегда делили. От такой безысходной жизни отец был суров. Часто говорил матери, что его преследует какая-то черная тень. Это были годы, когда повсюду висели лозунги «Пятилетку — в четыре года». Мы ждали и боролись с нуждой, твердо верили в светлое будущее. В школе проявляли заботу об учениках, варили похлебку: вода да пшено. «Крупинка за крупинкой гонится с дубинкой», — сочинили мальчишки. Трудно было и с мылом, началась вшивость. В школе стригли и мальчишек и девочек под машинку, проверяли белье и отправляли в купалку при депо, прожаривали на кольцах.

Как-то на уроке девочка подняла руку. Учительница ее спросила: «Что ты хочешь сказать?» Она и говорит: «А у Иванова вша ползет по рубашке!» Многие болели сыпным тифом. С топливом тоже было трудно, в доме всегда было холодно и сыро. Электричества и радио не было, вечером зажигали керосиновую лампу. По полу ползали мокрицы и двухвостки, забирались ночью в постель и кусали.

Шел 1935 год. Зимой в мороз к нам постучали люди, слезно попросили приютить их на несколько дней, им везде отказывали. Ехали они с Востока, две семьи с детьми, восемь человек. Мать их пожалела. Они прожили у нас до весны. Жили дружно, как одна семья. Варили суп в ведерном чугуне, у них оказались кое-какие продукты. Но привезли с собой и миллион вшей. Потом заболели сыпным тифом. Приехали из санэпидстанции, увезли все шмутье на прожарку, а их, две семьи, — в больницу. Но что было удивительно врачу, никто из нашей семьи не заболел.

Помню годы раскулачивания. Были у нас знакомые, которые держали корову, мы покупали у них молоко. Однажды они предложили нам свою корову: «Возьмите, а то ее у нас скоро заберут, пусть хоть ваши дети пьют молоко». Но корова от нас убежала именно в тот момент, когда у них шла опись. Кроме коровы, лошади, кур, у них имелась еще какая-то сельхозмашина, другого богатства не было. Потом их всю семью сослали в Нарым.

В это тяжелое время и появились киргизы. Они ютились на песках у бора в своих кибитках. Ходили по дворам, побирались. Грязные, оборванные, страшно было смотреть, по-русски говорить не умели, только твердили: «Курсак пропал». Много тогда их гибло.

Однажды под вечер на нашей улице упала лошадь, лежала со вздутым животом, хозяин ее оставил. А на следующее утро смотрим, а у нее вырезаны мягкие места. В то время люди ели и конину, и собак.

Летом было сытнее — то ягоды, то грибы, а то и траву ели. Отец, бывало, соберет детвору — и в лес. Много тогда грибов было. Ездил отец и на рыбалку с друзьями. В большие праздники было весело. Приходила сестра отца Пелагея Васильевна со своим мужем Михаилом Яковлевичем Казаковым, был он, как и наш отец, железнодорожником. Отец любил, когда приходили гости, как-то веселел. У отца и его сестры были прекрасные голоса, они иногда пели, к тому же отец хорошо играл на гармошке.

Друзей у отца было много — и машинист Осин Михаил Александрович, и начальник станции Зайцев Александр Павлович, и ревизор Иван Иванов... Отца они уважали за его прямогу и отзывчивость.

Из первых жертв репрессии из наших знакомых стали Некрасовы, работавшие на железной дороге, имя его не помню, а жену звали Надежда Гавриловна. Очень добрые и культурные были люди. Их выслали неизвестно куда. На нашей улице арестовали Камаева. Потом пострадала семья Хоружевых. Отец их был железнодорожником. Большая семья осталась без кормильца. В нашей школе 104-й был арестован учитель математики Киркинский Дмитрий Павлович, а его жену, тоже математика, уволили из школы и выселили из квартиры. Учитель пения стал жертвой репрессии.

Как-то я купила портрет Сталина и повесила в правый угол в комнату, где еще при бабушке висели иконы. Ведь Сталин тогда нам казался столь великим, что мог и бога заменить. Мы ложились и вставали с песней о нем, как с молитвой: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет, с песнею борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». Увидев портрет Сталина, отец, помню, построжел и сказал вдруг: «Сталин не любит детей, а вы его в передний угол...»

1937 год навсегда запомнился. Был морозный декабрь. Отец пришел с ночной смены уставший. Еще не успел поесть, как явились трое мужчин, спросили, кто жильцы. Начали обыск, вели себя как дома, выдвигали ящики комода, выбрасывали содержимое на пол, что-то искали. Кроме альбомов с фотокарточками и открытками, ничего не нашли. Отцу сказали: «Собирайся, пойдешь с нами!» Он как-то сразу сник, побледнел. Подойдя к вешалке, выбрал старенькую шинель, оделся и тихо сказал: «Прощайте!»

Мы не поняли, в чем дело, подумали, что отец вернется, но его уве-

ли навсегда. Все наши попытки отыскать его оказались безуспешны, нигде не было и следа. Только от людей, разделивших нашу участь, удалось узнать, что, кого забирали, все без права переписки осуждены по 58 статье, а где находились, так никто не знал.

1938 год. Осенью начались занятия в школе. Классным руководителем была Мария Михайловна. Когда сели за парты, она обратилась ко мне и сказала при всем классе: «Божевольнова выйди из класса, ты больше не учишься в этой школе! Я не хотела уходить, но она настойчиво стала требовать, чтобы я вышла, и заявила: «Пока не выйдешь, я не начну урока!» Я вышла и горько заплакала, не могла понять, за что? Такая же участь: постигла двух моих братьев и младшую сестру. Закончили ученье в другой школе.

Нас у матери было пятеро, остались без отца и средств к существованию. Мать больная, но чтобы как-то поддержать нас, пока мы учимся, стала понемножку шить людям, так, кулемала понемножку. Но железнодорожное райфо обложило ее большим налогом. Несколько раз приходили, чтобы описать имущество, но брать было нечего. Угрожали, стращали, терроризировали мать. И однажды все-таки приехали на подводе, действовали оскорбительно. Стали выносить гардероб, комод, швейную машину «Зингер»... Мать им вдогонку крикнула: «А вы сдерите с меня и последнюю шкуру!»

Потом наше «добро» стояло во дворе райфо и гнило под дождями.

О комсомоле нам нечего было и думать — дети «врага народа». С таким клеймом дороги закрыты. После окончания курсов машинописи, решила я работать на железной дороге, она казалась как-то роднее. И отец, и вся наша родня были железнодорожники. Но когда я написала в автобиографии, что отец осужден по 58 статье, мне любезно отказали. Такие вот хождения по мукам. Потом стали мы писать в биографии, что отец умер, как будто его вообще не существовало.

Только спустя много лет, уже в 1958 году, мать получила документ, в котором говорилось, что Божевольнов Дмитрий Васильевич был осужден в январе 1938 года «тройкой» НКВД. А в 1958 году, 4 октября, дело пересмотрено и прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Полностью реабилитирован. Умер отец от воспаления легких, а где похоронен — неизвестно.

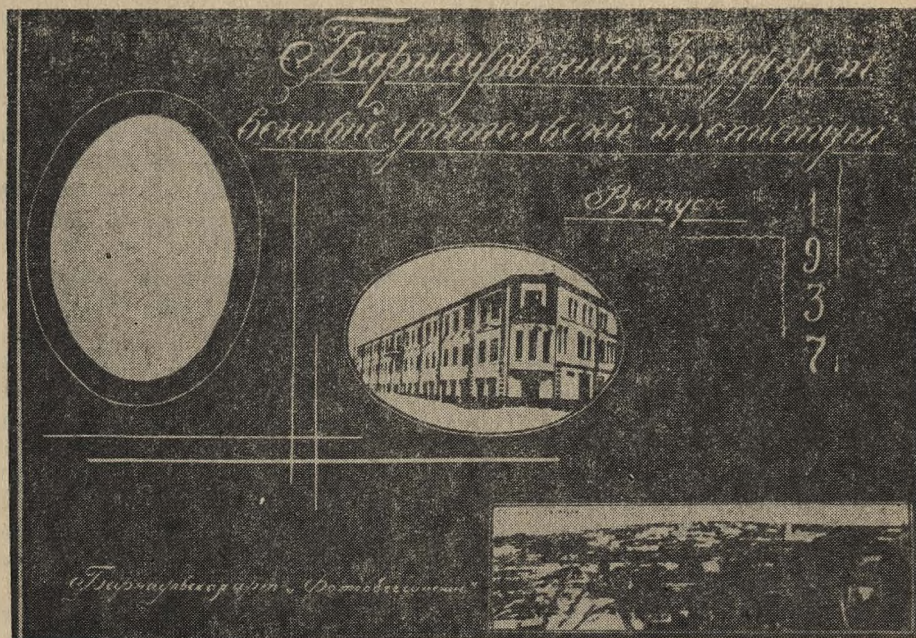
Козлов Александр Дмитриевич

Приведу несколько фактов, связанных с арестами в 1937 году работников Барнаульского учительского института, в котором я учился на историческом отделении. Прошло более полувека, давно забыты многие факты, фамилии и имена преподавателей и студентов, особенно с других отделений и курсов. Но то, что происходило в 1937 году, забыть невозможно.

Могу твердо сказать: репрессии обрушились в основном на преподавателей. Большой потерей для института был арест его директора Юферова. Как сейчас, вижу человека огромного, богатырского роста, с широким добродушным лицом, рыжеватого с голубыми глазами. Свой курс философии читал он увлеченно, свободно. Любил приводить отрывки из произведений поэтов. На одной из лекций он процитировал на память отрывок из «Фауста» Гёте на немецком языке и тут же пересказал его по-русски. Голос у Юферова был мощнейший. Его арест произвел удручающее впечатление на студентов. Уж очень хороший, уважаемый был человек. Позже ходили слухи о его освобождении и работе в вузе одного из приволжских городов. Так ли это было, сказать трудно, однако в Барнаул Юферов больше не вернулся.

Несколько преподавателей, боясь ареста, спешно выехали, бежали из Барнаула — литератор Парилов, преподаватель военного дела Курзо.

В 1937 году органы НКВД арестовали завхоза института, бывшего



летчика, молодого, общительного, симпатичного человека по фамилии Кошкин (или Кукушкин). Через какое-то время я его увидел на свободе. Обвинения оказались насквозь лживыми. Человека этого было трудно узнать: постарел, стал калекой, ходил с костылем. Потом он куда-то уехал. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба.

Секретарем партийной организации института был у нас Козырь, выпускник нашего же института. Очень высокий, худой, чем-то похожий на Дон-Кихота. По слухам, после ареста в 1937 году он повесился в тюрьме.

Запомнился один случай. Как-то в коридоре увидел я мало знакомого мне парня (ни фамилии, ни отделения, где он учился, не знаю). Голова парня была замотана марлей, покрытой кровавыми пятнами. Кому-то из ребят он сказал, что был избит на допросе. Через несколько дней он покончил с собой. Во время перерыва между лекциями парень этот, распахнув окно на третьем этаже, выбросился из него на тротуар. Окно выходило во двор. Подняли его еще живым, занесли в одну из аудиторий (военный кабинет), где он через несколько минут и умер.

Хорошо помню Ивана Федяева, секретаря комсомольской организации института. До этого он, как и я, отслужил действительную службу в армии, танкист. Институт окончил на год раньше меня, в 1936 году. А в 1937 году его направили работать секретарем комитета комсомола меланжевого комбината.

Однажды летом 1937 года (хотя, возможно, и 1938) мы встретились с ним на улице. Иван сказал: «Моя судьба решена. С работы сняли, жду ареста...» И, прощаясь, предупредил: «Если еще встретишь меня, не подходи, не разговаривай. Тебя могут обвинить в связях с «врагом народа».

Больше я его никогда не видел.

Заборовская Надежда Александровна, жительница г. Барнаула

Мой отец, Заборовский Александр Павлович, был священником, протоиереем Покровского собора в Барнауле. В 1937 году его арестовали. В четыре часа утра вломилась в наш дом двое мужчин и стали требовать оружие. Начался обыск. Они рылись в бумагах, придираясь к каждому слову. Нашли талон из детской консультации, заявив, что



Семья Заборовского

это шифровка контрреволюционной организации, в которой указано время и место встречи... Отца увели, не дав даже как следует одеться. Мама ходила потом каждый день в тюрьму, пытаюсь хоть что-то узнать, выяснить и, может, увидеть отца. Один раз ей это удалось, но отец был далеко, помаhal ей только рукой и поклонился.

Больше мы его никогда не видели.

Отца отправили в дальние лагеря без права переписки на десять лет. Как нам сказали в НКВД, отправили туда, откуда не возвращаются...

В ту же ночь, когда увели отца, в городе шли повальные аресты — забрали живших рядом с нами врачей Покровских, мужа и жену, у которых остались маленькие дети с больной старушкой, родственницей; были арестованы служители Покровского собора — епископ Макарий, священники И. Пульхров, М. Высоцкий, С. Малыш, М. Голуб... Собор закрыли. Другие церкви тоже были закрыты.


Погиб в те годы и брат моего отца Заборовский Тихон Павлович, тоже протоиерей, живший в городе Минусинске Красноярского края.

В том же году и маму арестовали, Александру Фаддеевну Заборовскую, 1893 года рождения. Ее обвинили в том, что она «агитировала против Советской власти» и судили по статье 58 как врага народа.

Позже, вернувшись из заключения (а отбывала она 10 лет и 5 лет ссылки), мама рассказывала: «Ночью возили в НКВД на допросы. Следователь, молодой, почти ни о чем не спрашивал, а все писал, писал, списывая из одного «дела» в другое. И когда прочитал, ни одной фамилии мне не было известно. К ним подставили мою фамилию — получилась «организация». Прочитала я и воскликнула в ужасе: «Да ведь меня за это расстрелять мало?!» И отказалась подписывать. Но следователь сказал, что лучше подписать, этим я только спасу свою жизнь. Тут я вспомнила, как мужчины, привезенные с очередного допроса, говорили, проходя мимо: «Подписывайтесь, женщины, не мучьте себя».

И поверила я этому следователю — подписала себе приговор.

Отправили меня в лагерь, находившийся на станции Яя Новосибирской области, где я и работала на швейной фабрике. Работали очень


РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

ИДНО № 037737

Гр. Заборовский Александр Павлович
 (умер(ла) 24 Сентября 1942 г. Иркутск обл.)
Федотовский Сергей Владимирович
 (возраст 58 лет)
 Причина смерти Парашию Сергей
 о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти
 1956 г. в Иркутск месяца 29 числа
 произведена соответствующая запись за № 318
 Место смерти: город, поселок _____
 район _____ область, край _____
 республика _____
 Место регистрации: Байкальск
Успенский бульвар 3/10
 Иркутск, Байкальск 20 ноября 1956
 (подпись) _____

Горький, 1956

много, шили военное обмундирование. Кормили плохо и мало. Условия тяжелые. «Политические» в большинстве своем были интеллигентными людьми, пожилыми и совсем молодыми, с разных концов страны. Жили дружно, помогая друг другу. Была я близка с женой известного врача Киркинского А. П., с женой репрессированного священника из Тальменки Верой Андриановной Авдентовой, с женой и сестрами Маршала Советского Союза Тухачевского. Нары, где они спали, были рядом

РСФСР

СПРАВКА

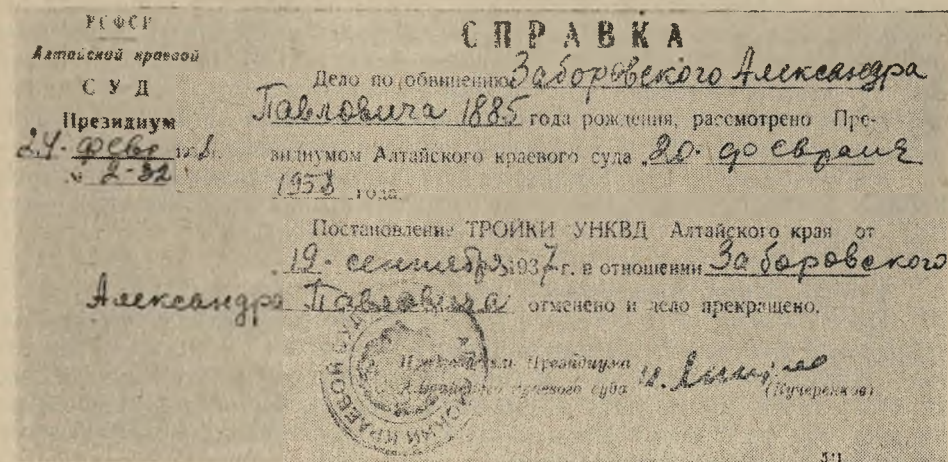
Алтайский край
 СУД
 Президиум
 30 ноября 1956
 м 2-138

Дело по обвинению: ЗАБОРОВСКОЙ Александры Евдеевны
 1893 года рождения, рассмотрено Президиумом Алтайского краевого суда 13 ноября 1956 года.

Постановление ТРОЙКИ УНКВД Алтайского края от 14 марта 1938 г. в отношении ЗАБОРОВСКОЙ Александры Евдеевны отменено и дело прекращено.

(подпись) _____
 Секретарь Президиума Алтайского краевого суда

5-1



с моими, и мы частенько по вечерам разговаривали, вспоминая своих детей, оставшихся где-то на произвол судьбы, и плакали, плакали вместе слезами горючими...

Горчакова Лидия Никифоровна, жительница г. Барнаула

В нашей семье, начиная с 1934 года, было репрессировано четыре человека. Первым арестовали старшего брата Ивана Никифоровича Твердохлебова — это моя девичья фамилия. Ивану тогда было тридцать пять лет. Он работал коммерческим директором фабрики (названия не помню), которая находилась на улице Гоголя, напротив Красного (ныне «Юбилейного») магазина, где теперь размещается туберкулезный диспансер. Там же работала и его жена, Елена Яковлевна Кокорина. Когда Ивана арестовали, ее предупредили: или муж — или партбилет. И она выложила билет на стол. За ней стали следить. Елена приходила домой поздно вечером и уходила рано утром.

Однажды, как потом Иван рассказывал, вызвали его из камеры, дали билет до пристани Колпашево, булку хлеба, и он один, без конвоя, отправился туда. Однако в Колпашеве о нем ничего не знали, не ждали его и только руками развели: а зачем ты нам? Можешь быть свободен. Но домой он не вернулся, остался там работать бухгалтером. Вскоре к нему приехала жена. И они прожили в Колпашеве два года. Вернулись потом в Барнаул. А в 1937 году Ивана вновь арестовали. Он работал тогда в Местпромснабсбыте.

Два других моих брата, Борис и Константин, работали, как и я, на железной дороге — Борис дежурным по разъезду № 16, а Константин старшим дежурным на ст. Барнаул. Вскоре после ареста Константина забрали и Бориса, обвинив его в попытке диверсии — крушении поезда, которое-де только благодаря бдительности путевых рабочих было предотвращено. Особо подчеркивалось в обвинении, что два его старших брата осуждены за контрреволюционную деятельность. Уволили и меня из товарной конторы, где проработала я несколько лет. Я так была напугана, что даже сейчас не помню указанной в приказе причины увольнения. Позже я поступила на работу в артель «Красный Октябрь», вышла замуж за Богатырева Сергея Давыдовича. Прожили мы с ним полтора года. И его тоже арестовали. Был он начальником отдела боевой подготовки Осоавиахима.

Брат Константин впоследствии рассказывал. Когда его этапировали по Колыме, он встретил одного знакомого, Валеряна Павловича Горлова (о нем писала «Алтайская правда» — «Судьба кооператора», 21 сентября, 1988 г. — Авт.) Ноги у него были обмотаны тряпками. Вид его ужасен. Смертность была огромной: люди умирали на ходу,

многих расстреливали на месте. Константин вернулся в 1956 году совершенно больным. В родне из мужчин остался невредимым лишь муж старшей сестры Зинаиды — Сибирцев Вениамин Иванович, да и тот был на волоске от гибели. Константин рассказывал, что, будучи в тюрьме, увидел, как один из его сокамерников вписывал Сибирцева в список «соучастников». Но потом вычеркнул его фамилию.

Фабриковалось все: Константину в тюрьме показывали заявление сестры Зинаиды, в котором она якобы отказывалась от братьев. Это была ложь...

Кендро Иван Августович

После ареста отца осталась мама с тремя малолетними детьми да старенькой бабушкой. Начались наши мучения: ни обувь, ни одеть нечего. Никто нам не помогал. А когда из района начальство приезжало, то при случае, когда мать о чем-либо просила, напоминали: а ты не забыла, где твой муж? Правда, односельчане, знавшие мать и отца с детства, не попрекали нас этим.

Я был старше других детей в семье, и когда вырос, меня даже в армию не взяли — сын «врага народа». Образование нам не пришлось получить — надо было помогать матери. Работали в огороде, дрова возили из леса на саночках.

Однажды мать приготовила дров и хотела, натопив печку, закрыть пораньше трубу, чтобы умереть нам всем и больше не мучиться — так она устала от такой жизни. Сказала об этом бабушке, думала, что та согласится, но бабушка побоялась греха и бога, сказав, что нельзя этого делать. Мы, дети, об этом ничего не знали. Лишь когда выросли, выкарабкались, помаленьку встали на ноги, мать мне как старшему призналась и рассказала обо всем.

Кендро Август Иванович умер 14 декабря 1943 года в возрасте 38 лет. Причина смерти — рак пищевода. Место смерти — прочерк. Свидетельство о смерти 1-УЭ № 062471.

Дело по обвинению Кендро Августа Ивановича, 1905 года рождения, до ареста, то есть до 22 февраля 1938 года, работавшего заведующим мельницей колхоза «Ударник 2-й пятилетки» Легостаевского района Новосибирской области, пересмотрено военным трибуналом Сибирского военного округа 23 января 1959 года. Постановление от 12 апреля 1938 года в отношении Кендро А. И. отменено, дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Кендро Август Иванович по настоящему делу полностью реабилитирован посмертно. (Справка Военного Трибунала Сибирского Военного округа от 14 марта 1959 года № 4-59/000ж.)

Петрова Ольга Семеновна

Накануне 20-летия Октября, в полдень, к нам пришли люди в военной форме. Перевернули все в комнате вверх дном и увели с собой нашего отца-кормильца, оставив матери, Анне Тимофеевне, предписание в 24 часа покинуть станцию Оловянную, где мы жили тогда. А у нее пятеро детей да шестым она была беременна, о чем не успела сказать мужу. Старший сын Семен работал уже, правда, бухгалтером, помогал. Остальные — Владимир, Михаил, Ольга и Виктор — учились. Самому младшему — Виктору — было 8 лет.

На второй день утром нам на две семьи предоставили товарный телячий вагон, мать собрала кое-какие вещи, нас кучей погрузили в этот вагон и повезли в неизвестность... Так мы ехали месяцев пять. Что пришлось пережить за это время, у меня не хватит сил рассказать! Помню, загонят на какую-нибудь станцию и стоим неделями без еды, воды, почти полугруппы, пока не упросит мать на коленях какого-нибудь машиниста подцепить наш вагон, и опять едем, едем куда-то... Наконец приехали в Алтайский край. Остановились на станции Повалиха. В Барнаул сразу показываться побоялись — как бы не арестовали старшего брата Семена.

Начались муки по второму кругу: нигде ни на какую работу не принимали ни Семена, ни Владимира, которому было тогда 15 лет. А нас не брали в школу. Так мы и прожили в Повалихе до июня 1938 года. В июле купили небольшой домик в Барнауле, мать родила дочь Тамару. Семен устроился бухгалтером на аптечный склад, а Владимир — учеником электромонтера на меланжевый комбинат. В сентябре мы пошли учиться в школу, но год у нас пропал. Когда Тамаре исполнилось два месяца, мы получили письмо от отца, шедшее через руки ровно четыре месяца. Он писал, что находится в лагере на ст. Болотная Новосибирской области. Мать с грудным ребенком отправилась к отцу. Кое-как нашла тот пересыльный пункт, с трудом добралась туда, пройдя много километров с чемоданом и ребенком через лес, чтобы узнать страшную весть. В лагере ей сказали, что ее муж Семашко Семен Матвеевич недавно умер. А где похоронен — не показали. Ее не покормили, не дали приюта, не дали помыть малышку и постирать пеленки, запретили обслуживающему персоналу разговаривать с ней. И все страшали ее карцером, если будет о чем-либо расспрашивать.

Так и вернулась она домой.

А в годы войны братья Владимир, Семен и Михаил воевали. Владимир погиб 18 августа 1943 года. Мать в годы войны работала сторожем в Запсибтрансесе и за шесть лет работы не имела ни одного выходного, хотя работала из ночи в ночь. Говорили, не положено. Наша младшая так и не увидела отца, выросла, закончила техникум и теперь работает технологом на мебельной фабрике.

Господи, сколько пришлось пережить!

Трудно было тем, кто попал в тюрьмы, но не легче было и тем, кто остался на воле. Мне кажется, в это время и было погублено милосердие, сострадание. Настала эра карьеристов и хапуг. Сейчас волосы дыбом встают, когда читаешь прессу: где же мы жили и кто нами руководил?..

Справка Военного трибунала Забайкальского Военного округа от 15 июня 1957 г. № 451385 Т г. Чита. Дело по обвинению гражданина Семашко Семена Матвеевича, 1884 года рождения, работавшего до ареста (16 ноября 1937 года) заведующим материальным складом на станции Оловянной, пересмотрено Военным трибуналом Забайкальского Военного округа 4 июня 1957 года. Постановление от 2 января 1938 г. отменено, дело производством прекращено и гражданин Семашко С. М. реабилитирован посмертно.

Гридасов Иван Васильевич

Однажды морозным февральским днем приехало несколько человек на лошадях. Спросили, где отец. Отец был на работе. Спустя несколько дней они снова приехали. Мать, конечно, понимала что к чему, плакала, просила отца, чтобы он уехал, сбежал куда-нибудь. Но отец был неумолим: его не за что арестовывать, а кого забрали, были, значит, в чем-то виновны. Он говорил, что должны разобраться, и вообще место его работы (Союзмука) находится через дорогу от милиции — если бы хотели, его давно бы забрали. И вот настал тот роковой день. Утро. Отец умывался, мать пекла лепешки в русской печи. Входят трое в шубах. Подали отцу бумажку — ордер на обыск. Я тогда не знал, что такое обыск. Отец пошел в комнату и вскоре вынес ружье — берданку, которое постоянно висело у родителей над кроватью. Сказал, что больше нет у него оружия. Но они, или не веря, или для отвода глаз, пошарили еще в постелях. Вышли в сарай, потыкали палками соломенную крышу нашего дома. Ничего не нашли. И предложили отцу проехать с ними. Мать в слезы: пусть хоть позавтракает. Они не возражали. Но отцу было не до еды. Он стал собираться, а мать ему в карманы, за пазуху совала лепешки. Отец подпоясался ремнем, но ему сказали, что ремень он может оставить дома. Так и увезли отца. Было это 16 февраля 1938 года.

Шли дни, недели. Мать ходила в милицию, но ничего не смогла добиться. Она еще просила, чтобы вернули хоть ружье. Она хотела продать его и купить нам что-нибудь. Мать показала мне как-то деревянное здание КПЗ Алейска во дворе милиции и сказала:

— Ты, сынок, подбеги к забору, может, и увидишь отца.

Я так и делал несколько раз. Для того чтобы увидеть отца, приходилось, подтягиваясь, взбираться на забор. Я сначала думал, что в окне, за железной решеткой, есть форточка, а на самом деле вытаскивалась шибка стекла. Сразу оттуда, из камеры, начинал валить пар, как из трубы. Лиц почти не видно, слышны только голоса. Однажды шибка внезапно закрылась, я смикитил, что грозит опасность, спрыгнул и спрятался под забором. Потом слышу голос отца: «Сынок, сынок!» Он высунул руку и перебросил через забор спичечный коробок, перевязанный тряпочкой или ниткой, а там обрывок бумаги с письмом, коробок тоже исписан. Внутри для тяжести кусочек сырой глины от штукатурки стен КПЗ. Я схватил спичечный коробок — и бегом домой. Дома все вместе читали. Отец просил у матери прощение за то, что не послушал ее и не уехал куда-нибудь загодя, писал, что бьют на допросах, заставляют подписывать обвинения в таких злодеяниях, о которых он и думать не мог...

В конце марта или начале апреля, когда уже стояла оттепель, арестованных погрузили в товарные вагоны и увезли в Барнаул. Потом пришло письмецо от отца. Поехала туда бабушка, мать отца, но вернулась ни с чем. Прошло более двух лет. Вновь пришло письмо. Я только удивляюсь, как отец умудрялся их отправлять, сообщать о себе из таких дальних лагерей. Последний его адрес был: ДВК (Дальне-Восточный край. — Авт.), бухта Нагаева. В 50-х годах я служил чуть ли не в тех местах, на Камчатке. И всегда помнил о том, что совсем недалеко, в бухте Нагаева, покоится прах моего отца.

В свидетельстве о смерти сказано, что Гридасов Василий Михайлович, 1901 года рождения, умер 27 декабря 1942 г. Диагноз: упадок сердечной деятельности. Отец по-смертно реабилитирован, обвинение «тройки» УНКВД Алтайского края от 8 марта 1938 года отменено, дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Смирнова Нина Павловна, живет в с. Первомайское Алтайского края

Мой отец Тугобаев Павел Григорьевич по национальности удмурт, а мама — русская. Дед по отцовской линии пропал без вести в 1914 году на германском фронте. Отцу, как старшему из оставшихся детей, было нелегко. Он учился и работал в поле. Бабушка была неграмотна и не очень хотела, чтобы сын учился. Но отец выучился, стал образованным по тем временам человеком. Был командиром Красной Армии, боролся за Советскую власть.

В 1925 году родители мои переехали на Алтай в село Кунгурово Краюшкинского района (сейчас это село Ново-Повалиха Первомайского района), где прожили двенадцать лет.

Семья наша была дружная. Папа слыл добрым и веселым человеком, хорошо играл на гитаре, пел, был мастером на все руки: мог отремонтировать часы, швейную машинку, столяр и плотник... Пользовался в селе уважением.

Отец возглавлял Осоавиахим. В 1935 году, обучая допризывников, случайно был ранен в щеку. Долго лечился в барнаульской больнице. Однако после ранения стал картавить. Пошел работать бухгалтером в колхоз.

И вот наступил 1937 год. Я училась в шестом классе, когда арестовали отца. Помню, как делали у нас обыск, как взяли мамину фотографию, где она, гимназистка, сфотографировалась с учителями. Сотруд-

Церковный хор с. Большие Бутырки (ныне Мамонтово). В центре — священник Н. П. Никольский. Репрессирован в конце 20-х гг. Умер в ссылке в 1931—1932 гг.



никам НКВД не понравился священник с крестом на этой фотографии... И начались наши мытарства. Папу вместе с другими деревенскими мужиками увезли на грузовике — полный кузов «врагов народа» — в райцентр, а потом еще дальше... Осталось нас двое детей у мамы, да третьего она ждала, оставшись беременной.

Забрали в том же году нашего учителя немецкого языка. Супруги Малковы застрелились. Осталась сиротой их дочка. Забили Бороздина, он не вынес пыток... Забрали многих других. Мы переехали в Краюшкино. Жили у тети Вали, своего дома не было. Мама родила девочку, но она долго не прожила — голод и холод в доме... Да и в других домах было не лучше.

Я ненавижу Сталина, он исковеркал многие жизни. И поныне скандально называют его злодеяния на судьбах людей. Он вселил в нас страх и повинение. Почти сорок лет я работала учительницей. У меня два сына и три дочери. Мои дети только теперь, в последние годы, узнали, что их дед был незаконно репрессирован. Ни одного письма мы от него не получили. Наверное, он был расстрелян. Как узнать, где он погиб? Что с ним сделали проклятые сталинцы?

Кайгородов Николай Гаврилович

Осенью 1936 года в колхозный амбар (рядом с которым стоял наш дом) засыпали зерно. А весной хватились — зерно почернело, сгнило, его долбили ломом и ссыпали в тут же выкопанную яму. После этого отец и выступил на собрании: столько сгноили хлеба, а есть нечего! Тогда бывший председатель сельсовета Есипов и заявил отцу, что он ответит за разглашение тайны. А какая это тайна, что хлеб сгнил — все село знало. Но осенью отца забрали. Пришли два работника НКВД и председатель сельсовета Есипов, все перерыли в квартире. Есипов искал какое-то золото, которого у нас сроду не было.

Увезли отца. От него не было ни одной весточки. В Смоленском районном архиве мне показали «дело» отца, уместившееся на двух тетрадных листках. Там имеется заявление, в котором сказано, что отец вел контрреволюционную агитацию — отец работал конюхом, кого он агитировал?.. Заявление было подписано председателем сельсовета Есиповым В. С., председателем колхоза Писосниным Д. Е., кладовщиком Бочкаревым А. А., колхозниками Тырышкиным Л. И. и Ждановым М. С.

В 1937—1938 годах в Белокурихе было взято по линии НКВД бо-

лее трехсот человек — якобы одна из групп контрреволюционной организации, которую возглавлял сам Эйхе... Сколько нам пришлось пережить! В середине учебного года меня исключили из школы. А весной 1938 года пошел я пешком в Бийск узнать что-либо о судьбе отца. Тюрьма была огорожена высоким дощатым забором. И в щели этого забора я увидел страшную картину — весь тюремный двор был заполнен голыми людьми, сидевшими на земле. Возможно, и отец был там? Кинулся я к проходной, попросил дежурного позвать начальника. Вышел какой-то человек, выслушал меня и сказал: «Иди домой, сынок, ничего ты здесь не найдешь... — И добавил: — Твой отец совершил преступление против Советской власти, а таких расстреливают...»

Расстреливали тогда и в Бийске, и где-то ниже Бийска, по Оби. Там еще сохранились развалины бараков, куда привозили заключенных... Быть может, есть и очевидцы, которые могли бы показать места расстрелов и захоронений. В самом Бийске, на горе, где телевышка, также есть рвы, в которых были захоронены расстрелянные еще в 1932 году кулаки.

Помню, у нас в Белокурихе арестовывали целыми семьями — и никто из них не вернулся. Даже дети, с которыми я учился в школе. Помню их имена: Казанцев Егор Андреевич и его сын Семен, Касацкий Павел с четырьмя сыновьями — Андреем, Василием, Иваном и Денисом, Копыловы — отец и три сына, Кайгородов Николай Афанасьевич, Тырышкин Пантелей Никитович, Логачев Василий, Тырышкин Василий Григорьевич и его сын...

Земля им пухом, безвинным жертвам! И да будет вечной память о них...

СРОСТИНСКАЯ ГОЛГОФА

Сростки... Это село сегодня не просто точка на географической или административной карте, его название стало символом того духа народности, той нравственной культуры, на которых вырос могучий талант Василия Макаровича Шукшина.

Ежегодно на Шукшинские чтения приезжают тысячи людей со всех концов Советского Союза. Совершая «паломничество» на родину писателя, многие из них не просто участвуют в своеобразном ритуале, выражая любовь к его творчеству, но и стараются, наверное, причаститься к той атмосфере, в которой он рос, прикоснуться к земле, давшей жизнь его книгам, вдохнуть воздуха, без которого, возможно, и не было бы писателя, режиссера, актера Шукшина. Однако, поднимаясь на гору Пикет и оглядывая с нее лежащее внизу как на ладони село Сростки, большинство из этих «паломников», наверное, не знает, сколь трагична его судьба, не подозревает, что жизнь и творчество Шукшина, пусть не прямо, опосредованно, связаны с этой трагедией. Позже она отзовется в нем, пройдя своеобразным рефреном через многие его произведения, через все его творчество.

«Вот моя деревня...

Вот мой дом родной... — вырвется у него однажды, как стон, как боль души. — А вот моя мать... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз — в 31 год, в 1942 г.

...Вот тетки мои:

Авдотья Сергеевна. Вдова. Вырастила двоих детей.

Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей.

Вера Сергеевна. Вдова. Один сын.

...Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто

сможет больше, и не приведи судьбу никому на земле столько вынести. Не надо».

Перед нами документ, озаглавленный с какой-то нарочитой и ужа-сающей простотой: «Список репрессированных лиц в 30-х годах с. Сростки Бийского района Алтайского края, составленный по опросам родственников, соседей репрессированных». В этом списке, присланном в краевой госархив Сростинским сельсоветом и сельским советом ветеранов войны и труда — 85 имен. Тракторист, рядовой колхозник, пасечник, бригадир, свинарка, шорник, конюх, учительница... Ворогушины, Волобуевы, Воронцовы, Гилевы, Дегтяревы, Емельяновы... Мужчины и женщины. Молодые и пожилые. Большинству за сорок или около того, но были постарше — иным за пятьдесят: Каменев П. Н., Пономарев П. Г., Потапочкин Г. В., а иные и вовсе молодые: Воронцов Василий, Лычагин Степан, Пономарев Петр, Соснин Иван... Среди них и отец В. М. Шукшина — Макар Леонтьевич, рядовой колхозник. Никого из них сейчас уже нет в живых. Да и из тех, кого «забрали», как говорили тогда, вернулось домой лишь 16 человек. Время беспощадно. Но остались родственники, соседи, друзья — они хранят память о тех, для кого тот последний путь стал как бы восхождением на Голгофу...

**Из воспоминаний Екатерины Тимофеевны Кондратенко,
жены репрессированного Ивана Мартемьяновича
Кондратенко, 1904 года рождения**

...Мужа взяли 3 марта 1933 года. Нас выгнали из избы, забрали корову, кур. Яша Горячев заколол свинью прямо в ограде и избил меня за то, что не отдала ему костюм мужа. Вызвали меня в сельсовет. Требовали, чтобы сказала, где спрятала оружие. Я про оружие первый раз услышала. Какой-то из района, видно, следовательно, все тыкал мне в лицо цветную открытку, где было изображено оружие. Орал. Потом так ударил меня в ухо наганом, что из другого уха кровь пошла. Я даже, грешным делом, тут же обмочилась...

Семьи арестованных выгоняли на улицу. Где хочешь, там и живи. Родные отказались от нас...

Отправили наших мужиков сначала в Старую Барду (Сростки в тот период относились к Старо-Бардинскому району — А. К.), а уж оттуда погнали на Бийск. Ночью. Побежали мы на тракт, но опоздали: прошли уже они. Догнали мы их в Полеводке.

Заключенные выбились из сил. Конвоиры подгоняли их прикладами. Шли в пимах по раскисшей дороге. Особенно издевался над арестованными милиционер по кличке Турок, отгонял прикладом провожающих.

Ночью из Бийска арестованных, погрузив в «черные воронки», увозили. Потом те, кто вернулся после реабилитации, рассказывали о том, что происходило в Барнаульской тюрьме. 400 человек однажды выгнали из камер и посадили в тюремной ограде, а тех, кто остался в камерах, заставили лечь на пол вниз лицом... Утром привезли несколько возов одежды заключенных, в основном сапоги... Ямы копали сами заключенные.

Я с бабами из Сросток ездила один раз в Барнаул, но к мужу меня не пустили. Очень злобствовали тюремщики. Одного только и смогли уговорить. Он разрешил Дегтяреву Григорию Тимофеевичу поговорить с женой... в туалете. А я своего мужа так и не увидела. Получила от него лишь одно письмо, в котором он писал, что надеется на меня — семью я прокормлю. Советовал не ходить за волей. А в конце письма добавил, что свидеться нам больше не придется. 6 мая муж был расстрелян.

**Из воспоминаний Шукшина Ивана Игнатьевича,
сына репрессированного Шукшина Игната Павловича,
1884 года рождения**

...Ночью всех собрали. Пешком погнали в Старую Барду. В Барде здорово пытали, били. Через Сростки пешком гнали в Бийск. Затем отправили в Барнаул. После ареста отца забрали у нас дом. Мать тоже арестовали, но через полмесяцапустили. Их всех обвиняли в том, что они якобы принадлежали к «Солтонскому центру», который вел работу против Советской власти. Какое отношение к этому «центру» имел мой отец (работал кладовщиком — А. К.), до сих пор не знаю...

Приговор суда был таков: 10 лет со строгой изоляцией. За что — неизвестно. Потом я узнал от женщины (жительницы села Малиновка Барнаульского района), что вместе с моим отцом она работала на одном участке (лагерь находился у Черного моря). Отец был каптенармусом, а она уборщицей в лагере. Женщина эта потом была освобождена. Позже лагерь куда-то перевели. Куда — она не знала.

Впоследствии А. В. Хохлов, работник Сростинской милиции, сообщил нам, что отец погиб на Дальнем Востоке 20 марта 1941 года...

**Из воспоминаний Куксиной Грозы Степановны,
дочери репрессированного Куксина
Степана Евгеньевича**

Отец родился в 1894 году. Образование — три класса церковноприходской школы. Позже закончил партшколу в Новосибирске. Воевал в первую империалистическую, в годы гражданской войны служил в войсках Блюхера на Урале. С марта 1920 по 1921 год — в частях Особого назначения в Горном Алтае. С 1921 года работал председателем Сростинского волисполкома и председателем кредитного товарищества. С осени 1927 по 1930 год был основателем и председателем ТОЗа, а затем председателем коммуны «Заветы Ильича». В 1930—1931 годах находился на практике директоров МТС в Новосибирске, а с 1931 по 1933 год работал директором Сростинской МТС. С 1933 по 1935 год — председателем сростинского колхоза «Заветы Ленина», а с 1935 по 1936 год — снова директор Сростинской МТС. С начала 1937 по 26 апреля 1937 года был заведующим Тогульским льнозаводом. Там его и арестовали, но по «сростинским делам», так как на допросы погнали в Старую Барду. Вели одного. И когда дошли до Сросток, он упросил конвойного зайти в село к семье. Был день. Я играла на улице и, увидев отца, кинулась к нему. Он подхватил меня на руки и понес домой. По дороге он сказал мне:

— Я, доченька, сидел в холодной...

Я тогда не понимала этого и только позже узнала, что это отдельная маленькая камера, где человек может только стоять, где пол и стены покрыты льдом, а когда открывается дверь, человек падает без сознания... Это была наша последняя встреча с отцом. Как гнали его обратно, никто не знает. Потом прошел слух, что отец находится в Бийской тюрьме. Мама взяла меня, и мы поехали в город. Помню, что была тьма арестованных, которых уводили из тюрьмы группами. Взрослых близко не подпускали, а дети вертелись у ворот. Смотрю, подходит ко мне дяденька и спрашивает:

— Тебя Грозочкой звать?

— Да.

— Ты с мамой?

— Да.

— Тогда идите, только не оглядывайтесь, чтоб не заметили охран-

ники, поднимайтесь на холм, там стоит будка, я буду там и что-то вам расскажу.

Так мы и сделали. Когда вошли в будку, то я и мама сразу же узнали на мужчине папину рубашку. Мужчина сказал, что видел отца два дня назад, он отдал ему свою рубаху, сказав, что она ему больше не понадобится... Больше отца никто и никогда не видел.

**Из воспоминаний Воеводиной Лидии Михайловны,
1925 года рождения, дочери репрессированного
Каменева Михаила Николаевича, 1891 года рождения**

Помню, как 3 апреля 1933 года отец приехал с поля раньше обычного. Он работал трактористом. Сходил в баню, потом пошел на колхозное собрание. На том собрании отца наградили за хорошую работу почетной грамотой «Ударник первой пятилетки» и премировали 700 рублями (в старых деньгах), которые он должен был получить завтра...

А в два часа ночи разбудил нас сильный стук в дверь. Отец вышел, открыл дверь. И мы услышали грубый мужской голос: «Собирайся, пойдем в сельсовет». Отец спросил: «Зачем?» Его оборвали: «Меньше разговаривай, собирайся». Отец собрался и ушел. А мы до утра не сомкнули глаз, ждали его. Но отец не вернулся. Утром стало известно, что за ночь в Сростках арестовано 88 человек.

Помню хорошо, как от старого клуба (тогда его называли нардомом) арестованных, выстроив в колонну по четыре человека, погнали по Советской улице. Никого из родных близко к ним не подпускали. А начальник политотдела Крылов (видимо, начальник райотдела НКВД. — Авт.) верхом на коне гарцевал, поднимал коня на дыбы и размахивал наганом: «Не подходи! Разойдись! Застрелю!» Колонну повернули на бывшую Енисейскую улицу и погнали напрямиком на Бийск.

Осенью прошел слух: мужики сростинские находятся на разъезде Песьяновка, недалеко от Барнаула, работают в лесу. Мама, недолго думая, сговорила нескольких баб, взяла меня, и мы пешком отправились в путь. Сколько дней шли, не помню. Добрались наконец до разъезда. Стали расспрашивать жителей, где находятся заключенные. Нам сказали: идите в лес, там увидите лагерь с высокими вышками.

Лагерь мы нашли. И стали ждать, когда приведут с работы заключенных. Наконец появилась колонна. Отец увидел меня, позвал. Я подбежала, он взял меня за руку, и так мы с ним шли... Отец был горд и всем, кто был рядом с ним, говорил: вот приехала дочка в гости. И тогда каждый из тех заключенных стал одаривать меня кусочками сосновой серы, набранной в лесу...

Отцу разрешили свидание. И мы втроем посидели, поговорили. Отец уже знал, что осужден «тройкой» на десять лет. Он рассказал нам, как их привезли в Барнаул и разместили в тюрьме, что сельдь в бочке. Вся тюрьма была забита мужиками. Не верилось: неужто это все — «враги», «шпионы»? Допрашивали ночью. Называли несколько фамилий и говорили, чтобы выходили с вещами. Так ушли и не вернулись больше старший и средний братья отца. Потом вызвали отца и говорят: подпиши бумагу. А в бумаге сказано, что отец якобы взял в колхозе 1500 рублей и не вернул, за что и был арестован. Отец сказал, что никаких денег он не брал. Тогда его избили. Но отец и после этого отказался подписывать. Его опять били. И он еле добрался до нар. А на следующую ночь все повторилось. И отец уже сам не мог дойти до камеры, его дотащили и втолкнули в дверь... На третью ночь сильно избитый, он сказал: «Подпишу, но ложно. Потому как денег я не брал». Возможно, это упорство и спасло его от расстрела.

Потом отец был сослан в Магадан. Там он и умер в 1943 году от сердечного приступа...

Тогда же, при встрече в лесу, рассказывая о допросах, отец говорил, что он ни в чем не виноват. И еще говорил, что правда все равно восторжествует. Правда восторжествовала, но слишком поздно. Нас, дочерей и сыновей ни в чем не повинных отцов, всю жизнь считали детьми «врагов народа». А бедных наших матерей при виде всякого милиционера начинала трясти лихорадка: «Господи! Неужто опять к нам?..»

* * *

Бывает, в солнечный летний день вдруг налетит прохладный ветерок, нагонит облака, и как-то неуютно и пасмурно станет вокруг. Зашелестят осины в лесу, показывая светлую изнанку листьев, затрепещут березы... Но ветер стихнет, облака минут — и снова светит солнце. Как будто ничего и не менялось в природе.

Философ Кант сказал, что две вещи всегда волнуют человека: звездное небо над ним и нравственный закон внутри него. Может быть, здесь, на горе Пикет, и открыл Шукшин свой закон: «нравственность есть Правда». И сам прожил по закону Правды всю свою недолгую, но яркую и мужественную жизнь. Ибо Правда, как он говорил, «это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ...» А полуправда — безнравственна, как и ложь. Вот почему сегодня, как никогда, восстановление всей Правды об эпохе беззакония и репрессий является первоочередной и в высшей степени нравственной задачей.

Автор этих стихов — неизвестен. Видимо, они были написаны женой репрессированного, ходили потом в списках по лагерям, заучивались и передавались из уст в уста — и остались в памяти лишь тех немногих, кому удалось выжить...

Скорее это даже не стихи — а плач женщины.

Надо мной раскаленный шатер Казахстана,
Бесконечная степь колосится вдали.
Но куда ни пойду — я тебя не застаю,
Рассказать о тебе не хотят ковыли.

Вырываю часами бурьян и осоку,
Чтобы колос пшеницы налился полней.
Облака проплывают дорогой высокой,
Только нам улететь не удастся вдвоем.

Только нам, мой хороший, дороги заказаны,
Даже ветер и тот не приносит покой.
Я иду по степи без тебя, сероглазый,
Крепко сердце сжимаю горячей рукой.

Я иду по степи, колосится пшеница,
Остроклювая чайка куда-то спешит.
Мы с тобою отныне бескрылые птицы,
А птенцов унесло далеко в ковыли...

Что же делать? Слезами беде не можешь.
Ветер высушит слезы, но боль не уймёт.
Нам не верит страна! Ни единый прохожий
Нам приветной улыбки навстречу не шлет.

Нам не верит страна... Что же делать, мой милый?
Как сказать ей о том, что мы сердцем чисты?
Я иду по степи, солнце нежит мне губы.
Непривычно и пряно здесь пахнут цветы.

Ковыли и пшеница... Ни речки, ни бора.
Но и здесь своей родины воздух я пью.
Я со степью веду о тебе разговоры,
Ковылям о тебе и о детях пою.

Так сожми, как и я, свое сердце рукою,
И глаза, проходя, осуши на ветру.
Если тучи так сильно сошлись над нами —
Тем скорее их ветер разгонит к утру...

Из воспоминаний Мерзлякиной Анны Ивановны

Мой муж Мерзлякин Сергей Иванович, 1909 года рождения, работал на Чуйском военизированном тракте автомехаником авторемонтного завода в г. Бийске. 13 ноября 1937 года был арестован его отец, Иван Тимофеевич, работавший там же завхозом столовой. На него пришел донос. Ивана Тимофеевича обвиняли в том, что он был кулаком. А через два дня, 15 ноября, арестовали и его сына, моего мужа Сергея Ивановича. Встретились они в Бийской тюрьме. Их унижали, оскорбляли, пытали (держали совершенно раздетыми на ледяном полу), требуя подписать на самих себя клеветнический материал. Не выдержав пыток и издевательств, они подписали то, что от них требовали, надеясь, что правительство разберется.

В камерах Бийской тюрьмы их находилось человек 600, все было забито людьми. Суда не было. Как-то в камеру вошел человек со списком, зачитал фамилии и сказал, что всем им дали по 8 лет и 5 лет поражения в правах. Отправили их в распределлагерь в город Мариинск Кемеровской области.

Со мной осталась больная мать мужа, лежавшая в это время в клинике Новосибирска, два брата мужа, школьники. А я была беременна, ждала первенца. Тут и начал донимать нас управдом по фамилии Гордин. Однажды он явился с сотрудником тюрьмы, чтобы занять нашу квартиру. У нас было две комнаты, одну пришлось освободить. Остались мы впятером на 14 квадратных метрах. Однажды Гордин приказал освободить и эту комнату. Однако я ему сказала, что пока не получу ответа на жалобу, которую написала в Москву Калинину, секретарю ЦК ВЛКСМ Михайлову и председателю Верховного суда, квартиру не освобожу. Он ушел, а я отправилась в отдел НКВД, ведавший транспортом, где работали Михайлов и Леонтьев. Они меня приняли любезно, видимо, щадили мое состояние и двадцатилетний возраст. Я просила их отправить меня к мужу. Начальник сказал, чтобы я шла домой и не беспокоилась.

14 февраля 1938 года к нам в Бийск приехала специальная комиссия краевой прокуратуры и крайкома партии разбирать заявления жен арестованных по статье 58. Я была записана на прием на 15 февраля. А вечером 14 февраля в последних известиях в 23 часа сообщено об открытом письме тов. Иванова Сталину о незаконности его ареста. Письмо было подробное, а в заключение сказано, что незаконность его ареста подтвердилась. 15 февраля я не смогла пойти на прием: меня увели в роддом и в 2 часа ночи у нас родился сын. На следующий день я получила первое письмо от мужа из Мариинска, в котором он сообщил свой адрес. 22 февраля после выписки из роддома пошла на прием в эту комиссию. Меня приняли, выслушали внимательно и сказали: напишите заявление, что я и сделала.

В мае 1938 года поехала я с трехмесячным сыном к мужу и его отцу. Дорога была очень тяжелой. Лагерь от Мариинска находился километрах в двадцати. Доехала на извозчике. Меня принял начальник лагеря, выслушав, удивился моей рискованности. Муж еще не был расконвоирован. Свидание с ним и его отцом продолжалось два часа. Ночевала я с ребенком в бане.

Обратно до станции Мариинск меня подвезли на лагерьной грузовой машине.

По возвращении из Мариинска в Барнауле я зашла в крайком комсомола и была принята первым секретарем. Он выслушал меня и посоветовал написать заявление на его имя. На все мои заявления и жа-

лобы мне следовал один ответ: обращайтесь в краевую прокуратуру. В 1939 году я обратилась в спецчасть краевой прокуратуры. Во время разговора прокурор ни разу не поднял на меня глаза, он был какой-то металлический. Из какого металла? Я сказала ему, что следствие по делу мужа идет уже третий год, сколько же оно может идти? И он ответил, не поднимая глаз: «Оно может идти и десять лет». Так что сходила я безрезультатно. Вспоминаю прокурора, хотя лица его я и не видела. И когда в кино показывают фашистов, я представляю его фашистом. И никто меня в этом никогда не разубедит.

Мужа в 1938 году из Мариинска отправили в Комсомольск-на-Амуре, где он отбывал срок до 1942 года, затем его перевели в Хабаровск. В Хабаровске он работал на авторемзаводе по специальности.

Свекра моего Ивана Тимофеевича оставили в Кемерове, где он в возрасте 52 лет скончался 18 марта 1939 года. Об этом нам написал один заключенный. Во время следования на работу Иван Тимофеевич упал, не было сил идти дальше. Охранник бил его прикладом и пинал. Заключенные окружили измученного. Ивана Тимофеевича без сознания положили на грузовую машину и повезли в больницу, где он вскоре и скончался. Написавший об этом неизвестный заключенный обещал после освобождения зайти к нам и обо всем подробно рассказать. Но так и не зашел, видимо, тоже умер.

Помню, я регулярно отправляла посылочки Ивану Тимофеевичу, старалась поддержать его, но последнюю посылку ему не вручили, о чем я написала прокурору в Кемерово. Он мне ответил, что посылку под роспись вручили гражданину Мерзликину 22 марта 1939 года. Тогда я написала начальнику лагеря и получила ответ, что Мерзликин умер 18 марта. Выходит, даже мертвого подняли из могилы, чтобы расписаться за посылку?

Муж мой Мерзликин Сергей Иванович вернулся домой лишь 27 июня 1946 года, хотя срок его истек еще в ноябре 1945 года. Умер он в 1976 году.

...Кто же ответит за эти злодеяния, за миллионы погубленных жизней? Истребив тех, кто завоевал Советскую власть, остались и живут еще, получая персональные пенсии, сталинские прислужники. Где же справедливость? Кто может ответить на мой вопрос, в чем разница между нацистскими палачами, мучившими, терзавшими, сжигавшими людей в концлагерях, и теми, кто мучил, издевался, заставлял подписывать ложные показания у нас в стране в 30-е годы? И эти вурдалаки еще живут и дышат с нами одним воздухом... Как поздно пришла справедливость!.. Спасибо тем, кто эту справедливость восстанавливает. Пусть наши дети, внуки знают об этом и помнят всегда.

...Как хочется еще больше сказать. Сил нет. Воздух почему-то сжимается. Жизнь так прекрасна, а человек — это целый мир. Было бы только в нем основное побуждение благородно. Может, это время наступило? Я верю в это... Хочу верить.



ОЩУЩЕНИЕ КРЫЛА

Вадим ЗИМИН

ПЕРВЫЙ ШАГ

Я смотрю не дыша —
Первый шаг малыша...
Вот он встал, постоял,
Покачнулся, упал —
Посмотрел на меня,
Словно в чем-то вина.
Я смеюсь:
— Не беда,
Так бывает всегда.
На отца не гляди —
Поднимайся, иди,
Упадешь — встань опять...
Постарайся понять:
Нет другого пути —
Надо встать и идти!
Первый сделанный шаг...
Что ж, мальчишка — герой:
Начинается с первого шага второй.

* * *

Нам всем недолгий век отпущен,
И почему такой конец:
В холодный снег упавший Пушкин,
В живых оставшийся Дантес...
И снег, залитый алой кровью.
Где справедливость?
Правда где?
И смерть над снежным изголовьем
Вдруг прошептала:
— Быть беде.
Не дописал строки повеса,
Не надыхался славой власть...
Рукою подлого Дантеса
Такая жизнь оборвалась.
Не знаю, буду ль в этом правым,
Но так в России повелось:

5 Альманах «Алтай» № 3

Кто был кому-то не по нраву,
Тому спокойно не жилось.
И я живу за боль и веру —
Пусть жизнь придет таким концом,
Но я за то, чтобы к барьерам
И нынче ставить подлецов!..

ПАМЯТИ ЛЮБЫ КОРАБЛИНОЙ

Холодный ветер
Гонит листья с веток,
Покрыта рябью серая вода...
И в эту ночь на спящую планету
Скользнула вдруг еще одна звезда.
В огромном мире
Наша жизнь — мгновенье,
Не всем его бессмертие продлит...
Твоя звезда не совершит паденья, —
Она летела и летит в зенит!..

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

...А он погиб.
Погиб в разгар весны,
В тот день,
когда все в мире ликовало,
В тот день, когда Москва салютовала
Кончине опостылевшей войны.
Конец войне.
Конец огню и смерти.
В селе царили мир и тишина,
Когда пришло его письмо
в конверте:
«Вот, мама,
и закончилась война...»

г. Горно-Алтайск

Анатолий ПРОХОДА

ЖАЛЬ

Эпоха круче, время злее
В экспрессах и очередях.
Жалеем время мы, жалеем...
Но жаль — лишь только на словах.

Поля под пыльным суховеем —
Солончаковый серый прах.
Жалеем землю мы, жалеем...
Но жаль — лишь только на словах.

Старушки-матери болеют,
И мы, по долгу естества,
Жалеем матерей, жалеем...
Но жаль — лишь только на словах.

Фитиль запальный все же тлеет.
Планета, ты еще жива!
Жалеем мы ее, жалеем...
Но жаль — лишь только на словах.

СОВРЕМЕННОЕ

Старательно фыркает трактор —
Оранжево-яркая масть
Плюс мой человеческий фактор:
Над техникой полная власть.

Машина без усталости лезет,
А я горячу ее пыл,
Ведь дизель не просто железо —
Табун больше сотни кобыл.

Не только над техникой волен,
Пашу, лемехами пыля:
Подвластно мне черное поле,
Усталая, в общем, земля.

Я нравственным всплескам не внемлю:
Мол, плуга земля не простит,
Ударно коверкаю землю,
А там — хоть трава не расти!

Давлю на железку и знаю:
Заплатят, убей меня гром,
Погодой дурной оправдает
Плохой урожай агроном.

Он свой получает приварок,
Довесок, солидней, чем мой.
Гектары, гектары, гектары —
Гектары любую ценой!

День платный — не ратный и ладно:
Не хлеб мне, а деньги важны.
Беру у природы за плату
Я то, чему нету цены.

Рупь длинный — мой бог и удача,
И как ей поставить предел!
На высшей живу передаче,
Чтоб выиграть время везде.

Жаль, стала мне снится отныне —
Под боком у теплой жены —
За плугом — пустыня, пустыня.
Зловещие, вещие сны...

ОТКРОВЕНИЯ

I

Неспокойно мне было
С удалой головой:
Меня семеро били —
Я остался живой.

Меня били словами:
— Поперек не моги!
Пололам поломаем,
Изогнем в три дуги!

Научился я падать,
Подниматься привык,
А степенные дяди
Мне лепили ярлык:
Мол, летун он и — точка!
Неуживчивый тип.
Что летаю я — точно.
Ползть вот не привык!

Если вдруг занедужу
И почую беду —
Я к хорошему другу
Перед смертью приду.
Он поймет, как мне тяжело,
А потом, поутру,
В его чистой рубашке
Я спокойно помру.

II

Один окрысится,
Другой открясится.
А я не сгиб, а я не сгнул
В промозглом месяце.
Я все дышу, я все пишу,
Я не повесился.
То вниз, то вверх
Всю жизнь хожу
По скользкой лестнице.

Чужие взгляды на спине —
 Паденье слушают...
 А я доволен, что ко мне
 Нет равнодушия!
 Я о других не позабыл —
 Улыбки светятся,
 И ради них я не споткнусь
 На скользкой лестнице!

III

Крали, то есть воровали
 [Я не в смысле легких дев],
 Маски в жизни надевали
 Для дурных и добрых дел.
 Ах, дела! А чья забота,
 Что из полных сорока
 Добрых двадцать лет работал
 Под Ивана-дурака!

ПЕСНЯ ПРО НЕРАВЕНСТВО

Мне ни петь, ни свистеть, мне —
 стихи писать.

Дегустация вин — не по мне.
 Кто — хлеба растить, кто —
 аркан бросать,
 Кто — сноровисто выгрести снег.

Кто за день заработает тысячу,
 А кому — не под силу за год.
 Кто придумал и кто это вычислил,
 Что в способностях равен народ!

И к чему раздувают полемику
 Про неравное наше житье!
 Заплатите свое академику,
 Сталевару отдайте свое!

Полосатые гольфы у бабушки
 Раскупают — да здравствует спрос!
 Не глушите умельцев — и ладушки,
 Слишком шкурно не ставьте вопрос.

Пусть способности будут размашисты,
 Пусть шедевры творят и носки,
 Пусть здоровая выгода начисто
 Отменяет бездарность тоски.

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Не скучно ли на темной дороге?..
 А. Грин. «Бегущая по волнам»

Мне скучно на темной дороге.
 — Эй, друг, разреши закурить.
 Опаски оставь и тревоги,
 О жизни давай говорить.
 Живая душа сквозь потемки
 Не может беспечно шагать,
 Льет дождик-зануда потоком —
 Нельзя папироску размять.
 Спасу огонечек в ладонях,
 В глаза с любопытством взгляну.
 И вдруг на дороге, бездомный,
 Увижу большую страну.
 Страну, где дорожные люди,
 Иззябнув, измокнув душой,
 В холодной осенней остуде
 Дают огонек небольшой.
 Окрепнут усталые ноги,
 Расскажем к распутью, что как...
 — Не скучно на темной дороге!
 Шагай себе с миром, земляк.

НЕ С ТОЙ НОГИ

Взорвался будильник! Я крикнул во зле:
 — Зачем я родился на этой земле!
 Подумал, чтоб утром сожрать бутерброд
 И вместе с толпою бежать на завод.
 Вломлюсь я в троллейбус, покорный
 судьбе,

Томлюсь и толкаю подобных себе...
 Нет! Лучше в пещеру, в докаменный век,
 Когда не был хищным таким человек.
 Там нет профсоюза, там все «на мази»:
 Сверкай себе пузом, бананы грызи,
 Ищи себе Еву, а можешь — так взвод,
 Никто алиментов с тебя не возьмет.
 Там нету начальства, милиции нет...

Меня возвращает на землю сосед:
 Выходим, дружище.
 Спешу на завод —
 Минута в минуту сквозь челюсть ворот.
 Закончится смена, забуду о зле:
 — А, впрочем, неплохо на этой земле!

г. Рубцовск

Владимир ТОКМАКОВ

НА СМЕРТЬ СТАРОГО БАРНАУЛА

Собор
бежал, кресты теряя,
как человек теряет память.
Собор бежал,
спасая вечность,
за поворот, а там — за реку.
Но не успел —
качнулся влево
и, падая, ища опоры,
сломал деревья на аллее...
Из пыли вышел, улыбаясь,
Великий Преобразователь.
«Ну вот, — сказал он, — все на месте.
не зря кувалдой я махаю...»
Грохочут челюсти, как войско,
готовое убить, кто против:
«Архитектурные постройки
времен прошедших и народов
мешают современной мысли
расти и развивать культуру».

Страшней бульдожьего свирепства
в патриархальность стен вонзились
клыки бульдозера «Бей Первым».
Две гусеницы давят камень,
которому клонится в пояс
демидовский кафтан богатый.
По куполам, хранившим эхо
петровских бурных лет России,
с размаху бьет большой кувалдой
Великий Преобразователь:
«До основанья мы разрушим
весь мир... потом себя начнем...»
Страшнее логики нет в мире,
и потому, как божий вызов,
я подниму знаменье сильных:
рубите руки из железа,
ломающие старый город.
По челюстям, гремящим, словно
идущее на битву войско,
ударь без страха стать планетой,
которую лишили званий!

Мне очень страшно слышать стоны
костей Ивана Ползунова —
здесь позавидуешь святому,
с которого содрали кожу, —
ведь по нему же после смерти,
не бегали в кроссовках «Пума»
и в женских импортных сапожках!
Да и собаки ТАМ культурней,
не оправляются в могилы, —
прости своих потомков, гений!

Так проще,
все круша, идти
вперед, держась за плуг,
и видеть
не дальше задницы кобылы.
Вспахать истории пласты,
засеять разум, чем придется.
Затем,
когда все позади
и лошадь сдохла, плуг сломался,
до пропасти земной добраться,
улыбку смыть слезой страданья,
стоять и ждать:
вперед — нельзя,
назад — в развалинах погибнуть.
На небо — бог-садист грозит
тюрьмой и вечной одиночкой.
(Иль сделает Его стеной
и каждый день
заставит рушить.)

...Стоит в раздумье, одинокий,
опершись на свою кувалду,
Великий Преобразователь —
над ним висит
гнилое небо,
в иголках труб заводов дымных,
за ним — кирпичные ладони,
раздавленные тракторами,
протягивает старый город —
и плакать хочется,
да нечем...

г. Барнаул

Борис КАПУСТИН

УПАСИ

Упаси тебя бог от неверного шага,
от неровной дороги, глухого оврага.

Упаси тебя бог от неверного звука —
ревом меди рванется вдогонку разлука.

Обесценено слово. Бессмысленны речи.
Все боюсь проболтать свою душу
до встречи,

все боюсь растратить запас голубиных.
Упаси тебя бог прозябать в нелюбимых!

Пусть полюбят тебя, если нынче не любят.
Пусть погубят тебя, но любовью погубят.

Слишком мало на свете ее, слишком мало.
Словно чуда молить ее чудо пристало.

Все снесешь с ней — любые обиды и беды,
слякоть памяти, изморозь вражьей победы,

злую стужу тоски и позор перепутья.
Упаси тебя бог проглядеть ее в смуте!

ЛАЗАРЬ

Как стар я, батюшки, как стар...
Вчера у Лазаря в гостях
Сидел. Там был Паслей и третий
[Кто он — забыл]. Грыз твердый сыр.
Стихи читал. Стихами бредил
и всех стихи читать просил.
Да-да. Январь. И наш хозяин
на все восторженные «О!»
недоуменно-тяжело
косил вишневыми глазами.
Пророчил вороном Паслей
о Маяковском и Алжире.
А Лазарь пил. И все грустнел.
Потом вломилась в дом чужие.
И снег, и грех приволокли.
И женщина стекло разбила
и на осколках голосила
о нелюбимых всей земли.
Ее подруги увели.
А мы по утренним снегам,
таким несокрушимо чистым,
брели к суровым старикам
бараньей требухой лечиться.
Да. Шли учиться к старикам,
что с гор пришли,
из долгих дней
любить похмельных сыновей.

Вчера.

Сто лет назад.
Когда-то.
Мертв Лазарь. Долг его иссяк.
О, время, господин мой святой,
пусть он воскреснет,
сделай так!

Скажи: — Встань, Лазарь, и иди,
ведь ты не самый страшный грешник!
Пиши стихи и пой, как прежде:
«Сладки плоды за все труды...»

Воскресни, молодость моя!
Встань, Лазарь, все начнем сначала!
...Как страшно женщина кричала
на битых стеклах бытия.

РЯБИНОВАЯ НОЧЬ

В эту ночь полыхали деревья,
задыхались и падали ниц,
в эту ночь молодые царевны
превращались в державных цариц.

Получив вождеденное право,
шли они на бессмертье и страх.
И заря отражалась кроваво
в их тяжелых и гордых глазах.

* * *

Л. Б.

Топни красным сапожком,
вгорячах всплесни руками.
Жизнь присылана снежком:
и трава, и лед, и пламя.
Впейся острым каблучком
в жизнь, как прежде ты умела.
Душу выпусти из тела,
усыпленного снежком, —
пусть дрожит на всех ветрах,
согреваясь где придется,
прямоком, на всех парах
в преисподнюю несется!
Все-то лучше, чем зверьком
горевать лихую спячку.
Топни красным сапожком,
акатуйская полячка,
и — по снегу босиком!

ФЕВРАЛЬ

(Из Ярослава Ивашкевича)

Ты помнишь,
в феврале
свистало с неба
огромным ослепительнейшим снегом!

И я сказал испуганно: — Ох, мама,
родная,
что ж так мало,
что ж так мало!

Вот жизнь —
вишневой веткой Хокуссаи.
Замерзли мы.
Но мы — не замерзали.
Гляжу я на фарфоровые блюдца
и вижу: жилки розовые бьются.
Глядели жадно на бесстыжем рынке,
как продавали расписные кринки.

Уж мочи нет,
и сердце жить устало.
А я шепчу:
— Ах, мама,
что ж так мало...

СТРАШНЫЙ СУД

Пока еще дышу
невестке на отместку.
Пока еще гляжу
в судебную повестку.

Ни страха, ни стыда,
ни дерганий извечных.
Какая ерунда:
истец или ответчик!

Почем судьбу купил!
В копеечку влетела!
...Я нелюбимым был.
Вот в этом все и дело.

Вернее, был любим
не теми что мечталось.
Суди, мой Господин,
отринь любовь и жалость.

Я руку задержу
и гляну пусто, мимо.
Куда я ухожу!
К Харону в гости, милый.

г. Барнаул

Михаил АНОХИН

СУДЬБА

Давно ли быть, насущная, как хлеб,
В такой словесной шелухе лежала,
Что даже смерть ее не обнажала,
Последняя инстанция судеб.
Иное время и иные песни,
Их трудно петь, еще трудней — сложить.
От прошлого себя не отделить,
Покуда есть понятие о Чести.

Боюсь, что мы умрем, но до конца
Мы не пойдем
Ни сына,
Ни отца.

* * *

Нету законченной мысли,
Есть — трепетанье души.
Звонкие, круглые числа,
Словно тифозные вши.

На отрывной календарик
Черный накинут платок:
Блюхер, Якир и Гамарник —
Чем не кровавый урок!!
Спуталось все и смешалось
в непостижимой глуши...
Только душа и осталась,
Как ты ее ни души!

* * *

Кто мы! — когда
Родники обесчестим,
Выкинем прах из священных могил,
Выучим волчьи
Подлунные песни,
Плети соьем из надорванных жил!..
И, ускоряясь в стремительном беге,
Жизнь промелькнет, как мгновенье одно.
Что же сказано о таком человеке!
Мне — не дано!

г. Прокопьевск

Со дна моих длинных снов.
Я буду молиться ветвями,
Я буду смеяться снегом,
Который топчут ногами,
А он окажется небом.

Воскресни
Во мне мечтами,
Сиреневыми, как утро.
Воскресни сквозь эти лица,
Задушенные ночами
И брошенные почему-то.

И вся, как израненный ветер,
Клочки его тела всюду.
Смеются святые дети.
Смеются, веруя в чудо.

А я говорю: — Воскресни!
Прорви декорации мира.
И города серый колер
Я красками расцвечу.

Я руки твои,
Как звуки,
Я пальцы твои,
Как струны,
Перебирать хочу.

Упавшее сердце, как солнце,
Взойдет и осветит чувства,
Которые мне сквозь плачи,
Как палачи в ночи.

Я верую,
Ты воскреснешь.
Недаром немые губы
Цвести начинают снова
И произносят имя,
И произносят слово,
Вобравшее все в себя.

Пусть эти тупые ночи
Его забросают грязью.
Затопчут и заплюют.
Оно расцветет повсюду.
Оно недоступно смерти.
Я верую,
Ты воскреснешь.
И говорю — люблю.

* * *

Меня сегодня
Передразнивало одеяло.
Оно сделало сонную рожицу,
И было ужасно на меня похоже.
Платье прикасалось ко мне
Своим шерстяным телом
И грело.
А когда я пила чай,
Чайник дул своим длинным носом,
Пытаясь мне угодить.
А сковородка с жиром
Так была зла на меня,
Что все норовила
В меня плюнуть.
Вечером, когда я,
Чтобы не чувствовать себя одинокой,
Зажгла свечу,
Она почему-то
Так заботилась о моем сне,
Что постоянно затухала.
А когда я ей выговорила об этом,
Она неправильно меня поняла,
И вся изошла
На слезы.
А этюдник весь вечер
Играл трагическую роль,
Вытянув свою
Крюкообразную руку вверх.
Он смотрелся в зеркало
И сам себе позировал.
Засушенная розочка в вазе
Изображала весь день японскую женщину
В тот момент, когда
В ее дом приходят гости.
Сапоги играли в пьяниц.
Они не стояли на ногах
И постоянно
Валились на бок.
Пришлось включиться
В их игру.
Поставить их в шкаф
И сказать, что это вырезвитель.
Я успокоила свечу.
И подумала:
— Интересно,
Что они будут вытворять завтра!

г. Барнаул

Надежда БАЛАКИРЕВА

ВЕЧЕР

Ни души на вечерней пристани.
Гладкий плес полон тайной тоски.
И мне кажется: если выстрелить —
Он расколется на куски.

Я смотрю в это темное зеркало
С помутневшим ночным серебром,
Над его камышовыми стрелками
Машет утка усталым крылом.

Врассыпную и крупными гроздьями
Засветилось над мраком воды
Августовское небо звездами,
Словно белым наливом сады.

Темной вязью славянской азбуки
Над водою деревьев венцы,
А за пазухой греются яблоки —
Потерявшие гнезда птенцы...

ШТОРМ НА ОЗЕРЕ

Что случилось с озером добрейшим!
Вчера край платья целовало
Мне, как особе августейшей,
И лодку бережно качало.

А нынче — ветер непопутный,
И тучи рассекает вспышка,
И падает, как столбик ртутный,
В туманной дымке телевышка.

Гребем не в лад, гребем сумбурно,
Не чужа онемевших пальцев.
На плесе белые буруны,
Как сотни прыгающих зайцев,

Бегущих в панике с востока,
Откуда вал валит за валом,
Где мутное больное око
За тучу спряталось устало.

И в небо цвета ржавой жести
Слова уносятся, как птицы.
Остались нам кивки и жесты
Да взгляд сквозь мокрые ресницы.

Попробуй крикнуть! — ветер кляпом
Забьет твой крик обратно в глотку,
Как будто бы сорвало клапан
С баллона, брошенного в лодку!

* * *

Деревня гуляет на свадьбе.
Стрекочет у клуба движок.
В заброшенной барской усадьбе
В окошке горит ночничок —

В пристройке под ветхим балконом
Скупой и безрадостный свет...
Брожу я в селе незнакомом —
Подросток пятнадцати лет.

В разрушенной барской усадьбе,
Где баре давно не живут,
Что надобно девочке Наде! —
Ее там не знают, не ждут.

Там майская зелень бушует,
Светло от сирени окрест.
Мне хочется знать, кто ночует
В дому одинокий как перст.

Живет там глухая старуха,
Забытая дальней родней,
Бездетная вековуха —
Бог весть, каково ей одной.

Она из останков усадьбы
Слепила жилище свое,
Картошку растит в палисаде
И смертное ладит белье.

О чем, вечера коротая,
Она с тишиной говорит!
К чьему милосердию зывая,
Глухую молитву творит!..

По озеру в вечном покое
Плывут на закат острова.
Как грустно, что чудо такое
Не выразят эти слова.

Скрипит над кувшинковой речкой
Прогнившими бревнами мост,
И жаль, как любви быстротечной,
Разрушенных временем гнезд.

Не звякнет кольцо на калитке
И будет балкон пустовать,
И девушка в белой накидке
Не выйдет сиренью дышать...

ПОМИНКИ

Выпорхнет ласточка из гнезда.
Весна на дворе, и сирень под окном.
В раскрытые окна сирень входит в дом,
А в доме плачет беда.
Хозяин умер. Помянем добром:
Баню срубил и крышу покрыл —
Два ската, белей лебединых крыл,
Дранкой сияют над отчим гнездом.
Понятное дело: тут жить бы да жить.
Был добрый работник и храбрый солдат.
В разведку ходил. Сколько всяких наград!
А вот не любил их покойный носить.
Вдова-то совсем почернела от слез,
Но постаралась — есть чем помянуть.
Покойный, хоть жалился часто на грудь,
Ни разу стакан мимо рта не пронес.
Вот младшего сына и не дорастил.
А где ж сирота! За столом не видеть,
Молод еще — не привык горевать,
А крепко покойный сыночка любил...

Пчела раззвенелась в паучьих сетях,
Воркует на крыше чета голубей,
И мечется мальчик в темных сенях —
Уйдите, уйдите, уйдите скорей!

ТУМАН

Мертвый тростник — шелестящие плавни.
Мокрый песок собирает следы,
И выползают зернистые камни
Из присмирившей вечерней воды.

Слышатся шорохи в черном бурьяне,
Где неизвестные звери живут,
И в послеливневом теплом тумане
Прямо по воздуху лодки плывут.

Пахнет дождем и густым иван-чаем,
Листья манжеток в холодной росе,
Стуком тумана сидит стайка чаек
На потемневшей песчаной косе.

Жизнь в ожидании чуда и яви —
От затерявшихся писем до снов,
Лишь прошуршит за калиткою гравий —
Вздоргну от шума знакомых шагов.

Сколько, скажи, мне томиться в обмане
И на пустынном причале дрожать,
Ждать ненаписанных писем в тумане
И, задыхаясь, туманом дышать!

Время — разбрасывать черные камни
И восходящее солнце встречать.

Ольга РОДИОНОВА

* * *

Ничего не сделаю назло,
Никому не поврежу рассудка...
Беглеца за горы понесло,
Циркачу понадобилась дудка.

Посреди веселой пестроты
Лица то бесчувственны, то пылки...
За горами — желтые цветы,
На арене — желтые опилки.

Где лицо, в котором без оков
Нежность воплощаются и норы!..
Пестрые заплатки дураков.
Плоские костюмы резонеров.

Голос одинокого скворца
Прозвучит решением загадки,
И черты знакомого лица
Вдруг возникнут в пыльном беспорядке.

И апрель в оконное стекло
Простучит настойчиво и жутко...
Беглеца за горы понесло,
Циркачу понадобилась дудка.

* * *

Молись, душа, молись до хрипоты!..
Тебе опять апрель бросает вызов,
И голуби толкуются на карнизах,
И окна по-весеннему чисты.

«Вначале был огонь, — ты говоришь,
По-своему трактуя Гераклита, —
Теперь зола...». А из-под всех калиток —
Трава, и бесподобно каплет с крыш!

Молись, душа, пока не занесло
Тебя грядущим тополиным пухом.
Спускайся на скамеечку к старухам,
По-своему трактуя тепло.

На солнышке сиди, расходуя яд,
Но не касайся фотографий старых,
Где мальчики играют на гитарах
И девочки надменные стоят.

Молись, душа, молись, пока жива,
Пока трезва, пока имеешь силы
Не вспоминать, не знать того, что было,
Не трактовать по-своему: трава...

Не ощущать биения в руке,
 Не падать в глубь засохшего колодца...
 Горит огонь, зола по ветру вьется,
 И детвора играет на песке.

* * *

На розоватом краешке тепла,
 Когда гроши зазвякают в копилке,
 Когда жуков зеленые надкрылки
 Не выпустят прозрачного крыла,
 Когда остреют зубы у волчат,
 Когда малинник все темней
 и краше,

И сыроежки радостно горчат,
 И птицы беззастенчиво кричат,
 И так малы дела и скорби наши, —
 Тогда, приобретя житейский лоск,
 Но чуточку пугаясь близкой кары,
 Мы смотрим в небеса и топим воск,
 Жжем свечки и раскидываем карты...

Не бойся снов, дитя, они мудры:
 Зеленый жук во сне расправит крылья,
 Прикладывая капельку усилья
 И презирая правила игры,
 Во сне волчонок разгрызет капкан,
 И в теплых гнездах народятся птахи...
 Не бойся злых, дитя, — все дело
 в страхе, —

Не зря лежит поверженный во прахе
 Испуганный пигмеем великан...

Во сне сундук копилку разобьет,
 И все монеты обратятся в камень,
 И чье-то детство с мокрыми щеками
 Мой сон до самой капельки допьет.
 И детский страх, и взрослую тоску,
 И жалкие гаданья о планиде —
 Все возродит вот в этом самом виде
 Тот, кто допишет красную строку.

Не бойся слов, дитя, не бойся строк.
 Учись читать — и по слогам, и между,
 Чтобы хотя бы сохранить надежду,
 Которой до сих пор не вышел срок...

ГОРОДУ НА ИРТЫШЕ

Я этот город обрету,
 Когда покину. И другие
 Заботы подведут черту
 Моей прощальной ностальгии.

Пройду по набережной вслед
 Своей сложившейся привычке,
 Туда, где на речном стекле
 Как будто вспыхивают спички.

И отраженья в темноте
 Похожи на сигналы свыше,
 И если звать, то люди те, —
 На небе, — видимо, услышат...

И так кузнечики поют,
 Как будто понимают что-то.
 И снова предо мной встают
 В ночи тобольские ворота.

Но не окликнет часовой —
 У полосатой будки пусто,
 И пахнет солнцем и травой
 Давно умолкнувшая пушка...

Но тронет челку сквознячком,
 И чей-то взгляд вонзится в спину,
 И чья-то тень пройдет молчком,
 Чуть слышно кандалами двинув...

Уеду! Но за суетой,
 За временем и за рутинной
 Достанет выстрел пушки той —
 Неслышный. И неотвратимый.

г. Барнаул

Анатолий КАЗАКОВЦЕВ

В ПЫЛАЮЩЕМ НЕБОСКРЕБЕ

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

ДОЧЕРИ НАТАШЕ

Трудно загадывать вперед... Путь Вам, может быть, предстоит некороткий и, чтобы не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ...

А. Блок. Из письма С. Есенину

Барнауле на старом кладбище недалеко от братской могилы умерших от ран солдат Великой Отечественной войны под сосной стоит памятник, вытесанный из лабрадора — черного камня с синими блестками. На нем факсимильная надпись: «Поэт Вадим Шершеневич 1893—1942 гг.».

Сегодняшнему читателю мало что говорит это имя. Еще в 1911 году в типографии торгового дома «М. В. Болдин и К°» — Москва, Арбат, д. 1 — была отпечатана тоненькая, всего 32 странички, его первая поэтическая книжка «Весенние проталинки».

Весна поэта была бурной. Уже в 1913 году выходит сразу несколько сборников.

Футиризм. Имя В. Шершеневича рядом с именами В. Хлебникова, В. Маяковского. Он выступает как теоретик этого нового течения. В тринадцатом же году Вадим Габриэлевич выпускает книгу «Футиризм без маски. Теория футуризма». А уже в 1916 году в сборнике «Зеленая улица» пишет: «Моя теория и теория футуризма соединены не знаком равенства, не знаком подобия...» И далее: «Я по преимуществу имажинист. Т. е. образы прежде всего...» Имажинизм. И он соседствует с С. Есениным, А. Мариенгофом, Рюриком Ивневым.

Шумные декларации, парадоксальные выводы, публичные выступления, скандалы — все это делало фигуру В. Шершеневича достаточно популярной в то время. «С началом революции был членом ЦЕКУБУ (комиссия содействия ученым). С 1919 года — членом президиума Союза поэтов». Вот и все, что сумел Вадим Габриэлевич написать в своей автобиографии о тех годах. Маяковский написал еще меньше, вспомните: «Моя революция. Пошел в Смольный. Работал». Комментарии не нужны. Потом были годы становления советской литературы, поиски путей к организационному единству всех писательских сил Страны Советов.

Были на этом пути и перегибы. Так, даже глашатая революции

В. Маяковского объявляли «попутчиком». Что же говорить о Шершеневиче и его богемных друзьях. Вот как в апреле 1924 года В. Э. Мейерхольд на диспуте о спектакле, поставленном им по пьесе Островского «Лес» отзывался о поэте: «Тов. Шершеневич — продукт «стойла Пега-са». Эти Шершеневичи... представители упадничества, они представители гнилого болота нашей литературы, они те остатки контрреволюции, которые не успели покинуть нашу революционную землю». Если даже сделать поправку на состояние Всеволода Эмильевича в это время — ему крепко досталось за свою интерпретацию классической пьесы, то все равно слишком резко. Нет, не был Вадим Габриэлевич контрреволюционером, равно как и революционером тоже. Он никогда не был борцом даже в литературных битвах.

В 1926 году В. Г. Шершеневич выпустил сборник стихов «Итак итог», и больше с оригинальными стихами в печати не выступал. Поэт всецело отдается театральной деятельности и переводам. Пишет пьесы, много работает над переводами французских пьес, либретто оперетт, подступает к Шекспиру. За перевод его драмы «Цембелин» Вадим Габриэлевич в 1941 году удостоивается чести быть избранным членом ученого совета Шекспировского кабинета. Об этом Шершеневич пишет в своей последней автобиографии, датированной 15 февраля 1942 года. Через три месяца он скончается от туберкулеза в Барнауле, куда его, закоренелого домоседа (с 1906 по 1941 год он безвыездно жил в Москве), забросила Великая Отечественная война.

Итак, шел 1942 год...

1

Забывать... Не надо... Ничего не надо... Близкие — далеко, далекие — близко.

10. VIII. 1913 г. В. Шершеневич

Барнаул... Первая военная весна.

Почки деревьев набрякли соками: почували приближение тепла. Кажется, еще два—три дня и раскроют деревья свои веки и глянет на вас сама весна зелеными глазами. Но нет, зима не сдастся. Знайте, не Крым это — Сибирь. Мороз по утрам вымораживает влагу, туман, как театральная кисея, размывает пейзаж.

Только что приехавший в Барнаул Камерный театр обживал помещение. Артисты примерялись к сценической площадке, после всех эвакуационных мытарств она казалась просто великолепной, пробовали акустику зала, вместе с рабочими, которых в эту военную пору отчаянно не хватало, мастерили декорации. Это был уже третий за несколько военных месяцев переезд театра. День летнего солнцестояния сорок первого года, когда московское радио объявило о нападении на наши границы, застал их в Ленинграде, где театр был на гастролях.

Тридцать часов, как бы изнывая под тяжестью переполненных вагонов, тянулся поезд из города на Неве в Москву. Костюмы и декорации тогда вывезти не удалось. Потом был Балхаш, а теперь ни сном ни духом незнакомый Барнаул.

Маленькие монгольские лошадки тащили розвальни, нагруженные ящиками, рулонами заляпанного краской холста. На возах громоздились непонятного назначения деревянные конструкции и снова ящики, на которых кое-где еще сохранились наклейки от папирос «Красная звезда».

Мальчишки, шмыгая носами, скользя и падая, бежали за розвальнями, норовя прокатиться на запятках, и ловко увертывались от вожжей, которыми размахивали возчики, ругаясь на сорванцов. Те тоже

не молчали. И эта беззлобная перепалка до краев заполнила улицу, звонким ручьем, опережая обоз, стекала под гору.

Глебка Қиселев в стеганой телогрейке стоял на дощатом тротуаре и с завистью смотрел на мальчишек. Ему тоже хотелось, догнав какие-нибудь сани, прокатиться, встав на полозья, но он уже не мог вот так запросто, как еще недавно, прыгать по улице и корчить рожи старикам возницам. «Ты мужик теперь. Остаешься за главного», — сказал отец, когда целовал его, прощаясь на сборном пункте. И Глеб все время помнил отцовский наказ.

Мужик-то мужик, но, увидев ходко шедшего коня, запряженного в кошеву, где сидел дядька, закутанный в тулуп, все же не удержался и резко свистнул. Конь прынул в сторону и прибавил шаг, воробьи, копошившиеся на дороге, разом чирикнув, стайкой вспорхнули на дерево. От резкого свиста Таиров вздрогнул. Он сидел в кошеве, набросив на плечи тулуп и надвинув шапку на глаза. Мальчишка своей выходкой вспугнул тяжелые мысли, которые одолевали его. Виною тому был чумазый смазчик. Проходя мимо вагона, из которого выносили ящики с костюмами, он сказал своему напарнику, но так громко, чтобы слышали все:

— Видал, Вася, люди жизни кладут на фронте, а они барахлишко свое спасают.

Знал бы этот человек, что только маленький чемоданчик с самым необходимым и портфель, набитый документами, рукописями, пьесами составлял багаж Таирова и его жены актрисы Камерного театра Алисы Георгиевны Коонен, когда они покидали Москву.

Оправдываться Александр Яковлевич не хотел, да и не имело смысла. И тяжелей осадок остался на душе. Спасибо мальчишке, который, не подозревая того, помог ему стряхнуть оцепенение, сковавшее его от обиды.

«Театр живет — вот самое главное». Таиров сбил шапку на затылок и оглядел караван, мимо которого он проезжал. И вот уже остались позади головные сани. Главный режиссер спешил. У него не было свободной минуты. Сегодня нужно разместить приехавших актеров по квартирам, завтра достать стройматериалы для ремонта общежития, распределить помещения для театральных служб, утрясти десятки хозяйственных мелочей. И на завтра он уже метался по театру, по городу. За короткое время, бывая на различных совещаниях, установил множество знакомств с нужными людьми в краевых организациях и при этом успевал репетировать с труппой.

Все проблемы в конце концов решались, и только одна оставалась не решенной — это топливо. Его катастрофически не хватало. Толстые стены старинного театрального здания, как аккумуляторы, были заряжены холодом настолько, что излучали его во много раз больше, чем отдавали тепла все отопительные приборы, установленные внутри.

Вот и сегодня топлива оставалось на два дня. Пока разгружали вагон с имуществом, он успел встретиться с железнодорожным начальством и договориться, что в порядке исключения театру отпустят немного «черного золота». Да, теперь именно так называл уголь Таиров...

Из зала доносился стук молотка, крики рабочих. Даже в фойе был ощутим запах смолистых досок. Вадим Габриэлевич Шершеневич не любил этот запах с юности. Он напоминал ему похороны отца, профессора Московского университета, умершего в 1912 году.

Сутулясь, втянув голову в плечи, одетый в длинное черное пальто, вышагивал поэт вдоль окон. Мимо него с озабоченными лицами сновали артисты, гримеры, костюмеры. А он ходил с заложенными за спину руками, как связанный, и всем своим видом как бы говорил: «Все эти хлопоты — мышьяная возня, абсолютно никому не нужная».

Дойдя в очередной раз до крайнего окна, он остановился и стал протраивать толстый иней на стекле. Делал это Вадим Габриэлевич сосредоточенно, комично вытянув губы, дуя на белый снежный нарост, и потом припечатывал это место большим пальцем. Подержав его, пока он не замерзнет, прятал руку в карман пальто и снова дул. Плавясь, иней превращался в лед и становился прозрачным. Шершеневич любился изломанной, нечеткой картиной парка. И снова отогретым в кармане пальцем припечатывал ледяной пяточок.

Поэту в последнее время не здоровилось, и побродить по улицам незнакомого города ему все не удавалось. Но и то, что он успел увидеть, не радовало его. «Это не Рио-де-Жанейро», — вспомнилась ему фраза Остапа Бендера, ставшая после выхода «Золотого тельца» расхожим выражением.

Шершеневич смотрел через оттаянный им глазок в стекле на укутанный туманом парк.

Туман —
в стакане
одеколона
немного воды.

Пришли на ум давние его строки. И хотя он еще в двадцать шестом подвел итог своим поэтическим изысканиям, полностью переключившись на переводы, образы, рожденные его фантазией в молодые годы, часто не давали ему покоя. Он всегда помнил и любил свои стихи, как отец любит своих детей.

Словно парализованный скепсисом, стоял Вадим Габриэлевич, уткнувшись лицом в лицо сибирского тумана, слушая шелест шагов за своей спиной. Никто из проходивших мимо не обращал на него внимания. Все уже привыкли, что он большей частью молчит. Многим думалось, что поэт и должен быть таким: сосредоточенным, ушедшим в глубь себя. Лишь немногие помнили его другим: веселым, неунывающим, острым на язык, когда ироничность не переходила в сарказм, когда он, немного кокетничая, называл себя «поэтом гениальным». Тогда он в литературных спорах отличался резкостью суждений, крайностью взглядов и за это от оппонентов получал в ответ такие же резкие оценки своего творчества и даже личности. Но все это не мешало ему оставаться для друзей, единомышленников милым. Но немногие из тех, которые сновали мимо, знали и помнили его таким.

Двигаться не хотелось. Сковывающая слабость отяжелела Шершеневичу ноги, и он стоял, боясь обернуться и ненароком встретиться со взглядами занятых людей. Как-то потерялся он в эвакуационной жизни. Ему казалось, что сидит он в каком-то шарлатанском шарабане, а мимо него мелькают люди и он не успевает взглянуться в их лица, не может понять их чувств. Одно только владело всеми его помыслами: не вывалиться бы. И пытается он подобрать вожжи своих растрепанных мыслей, но ничего не получается.

Грязный фашист топчет его землю, а он сидит в глуши и пописывает агитки для сберегательных касс, куплеты на злобу дня для конференсье. Как он ненавидит это никчемное занятие. Как он ненавидит обывателей сытых и всем довольных. Иммуниет против них врожденный, от матери актрисы. Этот иммунитет, наверное, и помог ему в юности распознать сущность итальянского футуриста Маринетти, который позднее стал фашистом. И что российский футуризм не пошел путями итальянского, есть и его, Шершеневича, заслуга. А когда забурлила революция, он, глядя на нее из окна профессорской квартиры, как тысячи московских обывателей, не сразу понял, что это и его судьба решается в битвах рабочих с юнкерами у Кремля. Позже из подвалов поэтических кафе, расписанных фиолетовыми кубами, не увидел он уверенной поступи молодой Страны Советов. А потом были обиды на несправедливые, как ему казалось, оценки его «гениального творчества». И он

ушел с головой в мир Корнеля, Бодлера, отгородился от всех и вся. Сейчас, в тяжелую для Родины пору, и рад бы вернуться к людям, но слишком высокий забор сколотил он вокруг себя.

«Я похож на заклепку, которая крепит табличку с указанием типа машины. Умри я сейчас, и ни одно колесико не остановится, все будет работать без малейшего сбоя». Едва ли не впервые в своей жизни поэт подумал о смерти как о суровой реальности, касающейся лично его. Ведь нельзя же всерьез принимать детские стихи о близкой смерти. Это была, по замечанию В. Брюсова, литературная интересность, поза, пошлость.

«Что это я? — вдруг попытался урезонить себя Шершеневич.

О как я влюблен в комфорт,
С каким устроена моя карусель.
Моя судьба приводит меня в восторг
Тем, что я не равен всем.

Ведь я всю жизнь гордился тем, что не похож на всех и каждого, я все время боялся быть винтиком в недрах огромного механизма, боялся затеряться в массе себе подобных. Если стать частью машины, то можно ощущать работу только своего агрегата, а целостная картина будет недоступна для понимания. Я — художник и должен видеть явление целиком, чтобы отразить его во всей сложности взаимосвязей. А для этого достаточно быть наблюдательным и добросовестным очевидцем».

И тут же какой-то другой голос стал возражать ему: «Но сумеешь ли ты со стороны, издали отличить характерное от случайного, великое от низменного? Сможешь ли ты выполнить свое предназначение художника? Будь честен до конца, хоть себя-то не обманывай.

Враг! Пропади, погибни, сгинь,
Вались в старинные болота.
На крепких подступах твердынь
Под реквием орудий флота.

Ведь ты же профессионал, неужели не понимаешь, что это не шедевр, да что там — просто мазня, сухофрукты со слезами. Да и пьеса твоя о войне не вытанцовывается. Нет, наверное, не отличить только по виду, где соль, где сахар. Не отличить, не попробовав на вкус».

Поэт вздрогнул, кто-то дергал его за рукав. Он обернулся. Перед ним стояла маленькая старушка — новый билетер и курьер.

— Я вас окликала, окликала, а вы все не оборачиваетесь. Александр Яковлевич приехал. Он хотел послать за вами, да я сказала, что вы здесь.

Шершеневич смотрел на морщинистое, но удивительно ясное, как бы присыпанное мукой румяное лицо старушки и никак не мог понять, чего она от него хочет. Посыльной пришлось повторить свои слова еще раз.

Извинившись перед ней, поэт шаркающей походкой пошел к Таирову.

2

*Копаясь в памяти, как в песке после отлива,
В ушах дыбится городской храп,
Воспоминание хватает палец ревниво,
Как выкопанный нечаянно краб.*

*В. Шершеневич. Из сборника
«Автомобильная поступь»*

Таиров в последнее время разучился ходить. Он бегал. Вот и сейчас, вбежав в комнату, которая на долгие месяцы должна стать его кабинетом, бросил шапку на стул и плюхнулся в жесткое

кресло, стоящее у стола, заваленного бумагами, на краешке которого притулился макет сцены для спектакля «Батальон идет на Запад». Этим спектаклем решили открыть сезон в Барнауле.

И хотя еще не был до конца налажен быт, актеры уже репетировали. Взамен выбывших вводились новые исполнители, менялись мизансцены, так как здесь возможности сцены были немного больше, чем в Балхаше, мастерили новые декорации.

Таиров придвинул к себе папку с почтой и принялся разбирать письма. Тут и вошел Шершеневич, отметив про себя, переступая порог: «Осунулся, постарел, нелегко ему тащить воз».

Александр Яковлевич поднялся навстречу ему.

— Здравствуй, Дима! Как я рад, что ты пришел.

— Когда режиссер радуется приходу драматурга, это вселяет надежду в сердце автора, но порадовать мне тебя нечем, — пожимая руку Таирову, ответил Шершеневич.

— Ну что ты, Дима, я всегда рад тебя видеть, безотносительно к твоей или своей работе. А сегодня особенно ты нужен нам всем.

— Александр Яковлевич, я, пожалуй, впервые в последние месяцы услышал такие слова. Неужели я кому-то могу еще понадобиться? — отвечал поэт, усаживаясь на стул, стоящий у стены.

Таиров присел рядом и, не выпуская руки Вадима Габриэлевича, заглянул ему в лицо.

— Негоже хандрить, дружок, ты на себя не наговаривай. Впрочем, я расцениваю твои слова как ненужную в данном случае скромность.

Шершеневич, слушая необязательные слова Таирова, оглядел кабинет и, остановив взгляд на макете декорации, перебил режиссера:

— На твои комплименты не могу ответить тем же. Ты все-таки решил возобновить «Батальон»?

— Не нужно, Дима, мы уже говорили с тобой по этому поводу и много раз.

— Нет, нужно, — Вадима Габриэлевича захлестнуло какое-то раздражение, с которым он не в силах был справиться. — Неужели ты не понимаешь, что это конъюнктура. У тебя же великолепное чутье на настоящую вещь.

Таиров резко встал и забегал по кабинету.

— Ты можешь предложить что-то другое? Может быть, у тебя есть современная пьеса с публицистическим накалом?

— Ну, это, Александр Яковлевич, запрещенный прием. — Поэт тоже встал. — Ты ведь знаешь, что я не публицист и считаю, что искусство и публицистика несовместимы. — И, как-то весь сникнув, добавил: — Да, если правду сказать, я что-то себя плохо чувствую, не работается в последнее время.

Таирову стало жаль старого товарища, и, сожалея о своей резкости, он подошел к Вадиму Габриэлевичу и, дотянувшись до его плеча, усадил. Хозяин кабинета стоял напротив него, и их лица были почти вровень. Александр Яковлевич мягко, как только мог, но вместе с тем убедительно заговорил:

— Искусству наших дней не надо бояться так называемой публицистичности, но, конечно, она должна быть правильно понята и воплощена. Надо заботиться, чтобы не оказаться в долгу перед настоящим и перед грядущим, а оно идет быстрыми, неудержимыми шагами и уже надо за него драться всерьез, с такой же горячностью, ожесточением и верой, как деремся мы на фронте.

Шершеневич опустил плечи. Раздражение улеглось, уступив место страшной усталости. И уже без прежнего напора бесцветным голосом он сказал:

— Не нужно так-то, мы ведь не на митинге.

— Ну, не нужно так не нужно, — несколько обиженно откликнулся Таиров и добавил: — Одно только могу сказать, что на митингах

и в частных беседах я всегда говорю то, что думаю, по-другому не умею. — И замолчал.

Пауза затянулась. Молчание нарушил Александр Яковлевич:
— Дима, у меня к тебе огромная просьба...

Леночка Киселева, повязанная маминой шалью, еле переставляла большие валенки с калошами. А нужно было спешить: сегодня у них субботник по разгрузке вагонов. Еще совсем детские ножки болтались в широких голенищах, которые грозили перетереть тонкие косточки. Маленький узелок с едой, приготовленный мамой для Леночки, казался тяжелым, наверное, от того, что мерзла рука.

Туман, похожий на вату (вот уже полгода она работала на меланжевом комбинате, и ей везде мерещилась вата), прижатый к земле сиротским солнцем, еле переползал через осевшие, покрытые наледью сугробы. Подошвы стареньких галош со временем стали совершенно гладкими, и девушка, в очередной раз поскользнувшись, громко ойкала и балансировала беленьким узелком, боясь разлить из бутылочки, заткнутой бумажной затычкой, молоко — бог весть где его достала мама.

Шершеневич, закутав горло шарфом, вышел на улицу. И хотя ему нездоровилось, не мог он отказать прочитать лекцию в депо. Он понимал, как это важно для театра: обещали немного угля.

Туман редел. Вот уже прохожие просматриваются сквозь него. В тишине плыли не люди, а тени, и только по силуэтам можно было догадаться: мужчины это или женщины. Впрочем, мужчин почти не было видно, но зато какие колоритные типы встречаются. Он здесь недавно, а уже несколько раз видел высокого старика, который на маленьких санях, запряженных собакой, здоровой лохматой дворнягой, возил посылки на почту. Он даже разговаривал с ним однажды. Когда увидел почтаря с собакой впервые, то невольно подумал, что, наверное, таким мог быть в старости Маяковский. Только сухие ноги выдавали в нем старика, а осанка, посадка крупной головы не были тронуты временем.

Шершеневичу вспомнился случай, когда Маяковский, Мариенгоф и он сидели на сцене во время какого-то диспута. Их было так много в те бурные двадцатые годы, что из памяти выскочили и дата, и место проведения. Но не в них дело. Выступал толстый коротышка. И, как часто бывает с неопытными ораторами, он, не находя других выражений и доводов, часто повторял: «Эти вырожденцы...» Зал бурлил и трудно было понять: одобряет он позицию коротышки или нет. А тот распаялся все больше и больше.

Владимир Владимирович наклонился к одному, к другому поэту, перекинулся парой слов. И вот три двухметровые фигуры, казавшиеся еще выше рядом с разгорячившимся толстячком, скрестив руки на груди, расставив ноги, встали как изваяния за его спиной. Зал, еще не понимая, что будет дальше, затих. Из-за тишины, установившейся в зале, выступающий на минуту смешался и как-то беспомощно оглянулся. Взгляд его уперся едва ли не в грудь Маяковского. А тот, не меняя позы, притворно-участливо и елейно-доброжелательно пророкотал:

— Продолжайте, продолжайте, **ВЫРОЖДЕНЦЫ** вас слушают.

Показалось, от хохота потолок зала взметнулся испуганной птицей. Мариенгоф сотрясался всем телом, Вадим Габриэлевич еле сдерживался чтобы тоже не захохотать, Маяковский же был невозмутим.

«Уж Володя не сидел бы в этом дурацком Барнауле. Он был бы там...» — подумал Шершеневич.

Поэт стоял и смотрел сквозь редяющий туман на приближающуюся девушку в ватной фуфайке, скользившую по тротуару. Она поминутно вскрикивала и старалась устоять на ногах.

«Почти ребенок, ей бы в куклы играть, а она спешит на работу: вон узелок с бутылочкой несет на обед. Судя по одежде, не в контору спе-

шит. А я, взрослый мужчина, стою и жду, когда театральный конюх отвезет меня на лекцию. Смог бы я сейчас работать на заводе у станка или, учитывая, что никаким ремеслом не владею, хотя бы грузчиком? Нет, наверное. Сразу бы устал».

Леночка увидела у входа в театр закутанного в шарф высокого мужчину, длинное пальто делало его еще выше. Засмотревшись, она сделала неверный шаг и тут же, не успев даже вскрикнуть и поднять повыше узелок, упала. Глухо стукнулась через тряпочку донышко бутылки о лед, и потек по нему белый ручеек.

Вот тебе и мамкин обед...

Поэт, увидав такое несчастье, поспешил на помощь. Но пока добежал, девушка уже встала.

«Черт долговязый, и откуда он только взялся», — подумала она и, не обращая внимания на протянутую мужчиной руку, заскользила дальше.

Шершеневич стоял, нелепо протянув руку в пустоту. Ему сделалось тоскливо-тоскливо.

«Стар стал, уже девушки не принимают от тебя помощи», — мелькнуло в голове. Короткая перебежка отняла все силы. На лбу выступила испарина.

«Устал я что-то. Человек живет, пока не устанет жить, — вдруг родилась мысль. — Я устал, значит, пора умирать».

Логический вывод из посылок, построенных им, испугал.

«Ведь я совсем не жил еще. Всегда казалось, что лучшее впереди и до него идти и идти. А тут вдруг... Нет! Ведь совсем недавно я был юн».

И ему вспомнился так ясно, как будто это было вчера, тот морозный день, когда он, четырнадцатилетний, шел по Воздвиженке и впервые встретил Валерия Брюсова. Он тогда не поверил своим глазам и догонял его, чтобы еще раз посмотреть в удивительное, ассиметричное лицо с замороженными усами, удостовериться, что это самый что ни на есть настоящий поэт Брюсов.

Вадим Габриэлевич теперь уже с высоты прожитых лет мысленно окинул фигуру удаляющегося своего поэтического крестного и подивился детской хрупкости его и беззащитности.

«Валерий Яковлевич так и остался на всю жизнь мальчиком и, вероятно, ребенком умер, — подумал он. — Уж если смерть не обошла Брюсова, то уж я-то...»

Стало неудобно и холодно...

3

Я не знаю. Не верю. Не смею.

Я устал от борьбы и тоски.

Поджидаю осеннюю фею

У истоков могучей реки.

1911 г. В. Шершеневич

Напротив театра располагалось артистическое общежитие, заселенное сотрудниками и актерами Днепропетровского театра. С приездом Камерного им пришлось потесниться. Александру Яковлевичу выделили квартиру на втором этаже двухэтажного дома, стоящего в одном дворе с общежитием. Из старожилов в доме остались только сверчки.

В большой кухне, где впоследствии Таиров часто проводил репетиции с актерами, топилась печь. Алиса Георгиевна Коонен, примадонна Камерного и жена Александра Яковлевича, сидела, набросив на ноги плед, и приводила в порядок веер, который она сама смастерила еще

в Балхаше для роли Адриенны Лекуврер. Пышное белое страусовое перо, служившее ей многие годы, осталось в Ленинграде в одном из ящиков с реквизитом. Петли из распушенной на несколько частей белой толстой веревки, нашитые на картонный каркас, со сцены выглядели легкими перышками, и вот, пережив переезд, веер требовал ремонта.

Алиса Георгиевна, неумело орудуя иголкой, подшивала оборванные петли. Она так была увлечена работой, что не заметила, как в кухню вошел Александр Яковлевич. Поцеловав жену, он сел напротив нее и опустил руки в колени. Вся его фигура выражала предельную степень усталости. На людях Таиров не позволял себе расслабляться, а придя домой, не сдержался.

Коонен с тревогой смотрела на мужа и не решалась нарушить молчание. Александр Яковлевич, не поднимая головы, почти шепотом заговорил:

— Я сейчас шел домой, а во дворе наш конюх бранил мальчишек, которые залезли в закром и утащили несколько кусочков жмыха. А ребяташки, прозрачные и такие худенькие, что смогли пролезть сквозь решетки в оконце кладовой, разбегались от конюшни, засовывая в ротки грязно-коричневые кусочки, как будто это невероятное лакомство. — Подняв глаза, он в упор посмотрел в лицо жены. — Представляешь, Алиса, для них жмых — лакомство. Нужно что-то делать. Актеры и их семьи голодают.

Александр Яковлевич встряхнул головой, отчего аккуратно уложенные волосы сбились в сторону, обнажив лысину. Он порывисто встал и как будто только сейчас заметил, что в кухне вокруг жены лежат шляпки, тесьма, обрывки бечевки, ленты, банты.

— Что это? Ты занялась рукоделием? — удивленно обратился он к жене, зная, что она не умеет и не любит это занятие.

— Решила привести в порядок для Адриенны Лекуврер все это хозяйство. — Она обвела рукой беспорядок в кухне. Все годы совместной жизни и работы Таиров не переставал восхищаться женой: как она умела вот так просто, но вместе с тем величаво и царственно сделать единственно правильный жест! Как умела повернуть голову! У него от умиления защипало в носу, и он с большой нежностью поцеловал руку Алисы Георгиевны.

— Труженица ты моя.

— Знаешь, Саша, я очень волнуюсь. Будет ли принята зрителями моя Лекуврер? Поймут ли они, что мы хотели сказать, взволнует ли их ее трагедия?

Таиров удивленно посмотрел на Коонен.

— И это говоришь ты, художник? Я удивляюсь твоим настроением. Да, искусство должно быть понятным. Но будучи понятным, оно не должно равняться на наиболее отсталых зрителей. Нельзя, конечно, закрывать глаза на то, что есть еще много мещанского у людей, в их взглядах, в их вкусах. И наша задача заключается не в том, чтобы потрафлять им. Наша задача заключается в том, чтобы равняться на лучшее и поднимать уровень остальных. — Таиров говорил жарко, темпераментно, бегая по кухне, стараясь не наступить на разложенные шляпки и бантики. Алиса Георгиевна смотрела на него с чуть заметной улыбкой: пусть выговорится, ведь он уговаривает не ее, а себя. — Понятность не должна переходить в упрощение, в приспособленчество, потому что это сделает наше искусство менее ценным, — закончил он решительно.

— Сейчас, Саша, у каждого своя трагедия. Люди, придя в театр, хотят забыться...

— У каждого своя трагедия... — раздумчиво повторил за ней Таиров и остановился. — Человек, сам переживший трагедию, острее чувствует чужое горе. Вспомни, как принимали «Лекуврер» в годы гражданской войны, да что говорить о далеком. Вспомни Балхаш...

Коонен молчала, опустив глаза в шитье. И тут Таирову стало стыдно, что он, всегда гордившийся тем, что понимает душу актера, не сумел различить естественное волнение перед встречей с незнакомым зрителем не просто актрисы, но своей жены, что говорил ей прописные истины вместо простых участливых слов.

— Все будет хорошо, дорогая. — Он склонился и поцеловал жену в макушку. — Ты же великолепная актриса. Ты же у меня умница. — Он опять прикоснулся губами к ее волосам, от которых струился тонкий аромат ландыша, и добавил: — Алиса, ты сегодня очаровательна.

...Это самое приятное дежурство: ходить за булочками в столовую. Глебка Киселев тянул за веревку сани с коробом, из которого доносился запах свежего хлеба. За пазухой, завернутая в газету, приятно грела грудь булочка, которая полагалась ему за работу. И в школе выдадут еще одну. Эту он съест, как только приедут, а вторую отнесет домой: пусть мамка с сестренкой полакомятся. Мать стала прихварывать с тех самых пор, как получили в прошлом месяце про отца известие: пропал без вести. Она не плакала тогда, только сказала им с Ленкой: «Брехня это. Не сгинул папка наш. Живой он. Вернется». И засунула бумажку в комод под белье. И Глеб, и Лена поверили ей, так хотелось поверить.

Сзади короб подталкивал маленького росточка мальчишка, одноклассник Киселева, по прозвищу Самалер. Его звали так потому, что в детстве на вопрос: «Кем ты, Саша, будешь когда вырастешь?» — он, не выговаривая трудное для него слово «милиционер», отвечал: «Самалером».

Пот струился ручьями из-под заячьей шапки Самалера, он немного завидовал выносливости Глеба и не хотел перед ним показаться слабым, но все же не выдержал и взмолился:

— Давай отдохнем, Братишка.

Глебу нравилось его уличное прозвище, было в нем что-то морское, хотя называли его так из-за сестры: она всегда называла брата так. Киселев остановился. Дружки сели на обитый белой жестью ящик.

— Слышь-ка, — толкнул дружка Самалер. — Пахан сказал: если Братишка страх потерял, то пусть хоть мать свою пожалеет.

— Нашли Пахана. — Глеб презрительно сплюнул сквозь зубы. — Крыса он был, крысой и останется. Все равно я не покорюсь ему, так можешь и передать Крысятине.

С Крысой, парнем лет пятнадцати, у Глеба были сложные отношения. Года три назад они жестоко подрались, и хотя тот был старше Киселева, ему здорово досталось. За свой вздорный характер и то, что Крыса воровал даже у своих, его на улице не любили. И он старался изо всех сил показать, что не нуждается в этом. Он свел знакомство со взрослыми парнями, похвалялся перед пацанами, что не раз ходил с ними «на дело». С началом войны их «кодла» распалась: кого посадили, кого забрали в армию. И вот сейчас Крыса сколачивал шайку из соседских мальцов, что поподатливее и послабее, называл себя «Пахан» и тем, кто напоминал ему старую уличную кличку, разбивал носы. Что-то, а драться за эти годы он научился. Пахану нужен был Киселев. Мальчишки на улице его любили и пошли бы за ним, но Глебка не поддавался ни на лесть, ни на уговоры. Самалер со смешанным чувством страха и восхищения смотрел на друга. А тот сидел серьезный и задумчивый.

— Знаешь, Сашка, я, пожалуй, на фронт подамся, — вдруг сказал Глеб. — Вот солнышко пригреет — и айда. Найду там папку и будем мы с ним громить гадов.

— И я с тобой, — загоревшись, вскричал дружок. И они, соскочив с ящика, принялись шутливо волтузить друг друга.

Увидав, как чуть наискосок от театра из ворот хозяйственного двора, где стояла конюшня, повинувшись чмоканью конюха, вышел старый, но еще бодрый серый конь, запряженный в сани, Шершеневич перешел дорогу. Вадима Габриэлевича знобило. Ему казалось, что октябрьские ранние московские холода прошлого сорок первого года вползли в него, и вот уже полгода он никак не мог согреться. Тронув за плечо извозчика, он глубоко упрятал лицо в поднятый воротник пальто. Звонко цокали подковы в упругом морозном воздухе. Туман почти рассеялся.

«Расшедрился Александр Яковлевич, отдал свой выезд, — подумал Шершеневич. — Видно, очень нужно, чтобы я выступил в депо. Да ведь и то — уголь! Где ж его еще взять?!»

Он с любопытством смотрел вокруг. Маленькие деревянные дома теснились за разнокалиберными заборами. Людей почти не было видно. Только мальчишка с холщовой сумкой, к которой был привязан заляпаный чернилами маленький мешочек с непроливайшкой, торопился перебежать им дорогу.

«Наверное, сбежал с уроков», — машинально отметил поэт.

Вот навстречу попалась толстая баба, повязанная большим клетчатый платком. Она тащила корзину с белыми кружками замороженного молока. Вадим Габриэлевич только здесь в Сибири увидел такой оригинальный способ его хранения. Однажды он не удержался и купил у торговки снежно-белый кругляк. Он нес его за лучинку, вмороженную в молоко, и радовался этой покупке, при этом удивляясь, что еще способен чему-то радоваться.

Мимо, обогнав кошеву, фыркнув вонючим дымом, протарахтел маленький автобус. «Вокзал—базар—вокзал» — так неуклюже рифмовали горожане его маршрут. «Для них автобус — верх цивилизации. Докатится ли когда-нибудь сюда настоящая цивилизация? Этот городишко нельзя назвать даже провинциальным. Глухомань — ему имя, — думал Шершеневич. — И на этом фоне Камерный театр. Как бриллиантовая брошь на рубище. Нонсенс. И Таиров мечтает всколыхнуть это болото».

Ему это казалось таким же абсурдом, как селедка и шампанское. До сих пор стояла перед глазами картина, виденная им в станционном буфете. Могучий, с бычьей шеей мужик в брезентовом плаще, надетом поверх старого неопределенного цвета пальто, желтыми прокуренными зубами вгрызался в залежавшую ржавую селедку и запивал ее шампанским прямо из горлышка. Селедка и шампанское — это все, что продавалось в буфете за деньги. Хлеба на столе не было, он был по карточкам. Газ шибал в нос, мужчина икал, но с неубывным аппетитом продолжал свою трапезу.

— Давай знакомиться, мил человек, — услышал Шершеневич дребезжащий голосок. Это возница влез в мысли поэта. — Как кличут-то тебя?

— Вадим Габриэлевич, — без охоты откликнулся Шершеневич.

— Ну вот и ладушки. А его, — извозчик показал на коня, — Серко.

Он не считал нужным представляться сам, а может, думал, что в родных Палестинах его должен знать каждый.

И так-то ипохондрия одолевала поэта, а после того, как его познакомили с конем, на душе сделалось просто мерзко...

4

*И ребячески верить в расплату
за сладкие язвы грехов,
И не слышать пророчества в грохоте
рвущейся крыши,
И от чистого сердца на зов
чьих-то чужих стихов
Закричать, словно Бульба: «Остан мой!
Я слышу!*

Январь 1918 г. В. Шершеневич

Весеннее солнце блистало на снегу радужными искорками, и от этого он, почерневший от паровозной копоти, был похож на старую расшитую не блекнувшими блестками накидку балаганного актера. И тут Шершеневич вспомнил, откуда пришла эта ассоциация. Как-то в детстве, когда они еще жили в Казани, видел он «всемирно известную татуированную женщину» Матильду Федоровну, так представлял ее публике рыжий хозяин аттракциона, этакий жизнерадостный толстяк. Скинув выцветшую накидку, Матильда Федоровна демонстрировала свои разрисованные прелести. Он помнил исполненного во всю спину Петра Великого и на животе Бонапарта с пухлыми щеками. Зрелище не для детей, и отец долго бранил няньку за этот, как бы теперь сказали, культпоход. Вид жирного, обнаженного, какого-то синюшного цвета тела долго преследовал его во сне. Страхи давно прошли, они стали частью детства. И вот сейчас, вспомнив о курьезном представлении, он ясно увидел и отца, и маму, и их профессорскую квартиру. И даже вроде стало легче на сердце.

Вадим Габриэлевич остановился перед полукруглым зданием с большими воротами, из которых выходили лучами рельсы и упирались в поворотный круг. Старинная кирпичная кладка была покрыта копотью, что делало ее благородной, равняло с патиной на старых бронзовых канделябрах. Пахло углем, мазутом, железом. И вдруг в эту урбанистическую гамму запахов откуда-то из-за спины с порывами ветра влетели идиллистические запахи жареных подсолнечных семечек. Поэт оглянулся. От деревянных складов, откуда доносился аппетитный запах, по разветвляющимся путям бежали мальчишки с торбочками. За ними, без всякой надежды догнать их, трусил старик с берданной. Сорванцы смеялись, перекидывались малопонятными словами и на ходу что-то жевали. Старичок остановился, зачем-то топнул ногой и поплелся обратно на свой пост к маслозаводским складам.

Вадим Габриэлевич перевел взгляд. На путях неброско рыжел эшелон с новобранцами. Он стал всматриваться в лица молодых ребят, высовывавшихся из дверей теплушек. Поэт старался увидеть на них какие-то знаки судьбы, понять, что чувствуют эти парни, уезжая, быть может, на смерть, но ничего не смог прочесть на их лицах. Солдаты смеялись, шутили, как будто ехали вовсе не на войну, а в деревню на сенокос или на лесозаготовки.

Вдруг из-за составов показалась странная фигура. Одета в лохмотья старуха с безобразно перекошенным лицом, опираясь на палку, тяжело волола левую ногу, ковыляла к первому вагону. Вот она остановилась и, прижав костыль левой рукой к туловищу, правой принялась осенять крестным знамением проем двери, в котором толпились солдаты. Троекратно перекрестив их, она с трудом поклонилась и потащилась дальше. Перед следующим вагоном она опять отвесила земной поклон. Шутки солдатские смолкли. Сделалось тихо, как может быть тихо на железнодорожной станции.

Старуха уходила все дальше, а ребята, высунувшись из вагонов, смотрели ей вслед. Вдруг из первого вагона на землю соскочил паре-

нек с булкой хлеба и побежал вслед за убогой. Догнать ее не составляло труда. Торопливо сунув ей буханку, он наклонился и поцеловал старую женщину, и тут же затопал своими сапогами обратно.

— Каждый день приходит сюда провожать эшелоны. — Шершеневич вздрогнул от этих, тихо произнесенных кем-то слов. Он обернулся. Рядом с ним стоял еще молодой человек в замасленном железнодорожном бушлате. — На двоих сыновей враз похоронки получила. Парализовало ее с горя. А чуть оправилась и сразу сюда — и так каждый день.

Шершеневич снова посмотрел в ту сторону, куда ушла эта несчастная мать. Ее фигура еще маячила на путях.

— Простите, — это железнодорожник опять обращался к нему, — я, наверное, вас встречаю? Вы — лектор?

Вадим Габриэлевич кивнул, и они пошли к тому полукруглому зданию, которым он недавно любовался. Пройдя через маленькую дверку в воротах, в которые заезжают паровозы, они оказались в просторном помещении.

— Осторожней, не упадите в яму. — Провожатый заботливо подержал поскользнувшегося поэта за локоть. Паровоз, казавшийся под крышей еще огромней, стоял и пофыркивал паром. Над ним зонтиком раскинулась вытяжная вентиляция. Между колес проглядывало черно-красное пламя факела. Из-за скопившегося пара дышать было трудно. Желтый свет электрических лампочек под железными зелеными колпаками еле пробивался сквозь полумрак. У стены стоял стол, за которым сидело человек семь и, развернув кулечки, молча закусывали. Время было обеденное.

Шершеневич подошел к столу и поздоровался. Ему ответили, не отрываясь от еды.

— Другого времени для лекций нет. Война. — Извинился провожатый. Как потом понял Шершеневич, он был здесь главным.

Вадим Габриэлевич оглядел своих будущих слушателей. За столом сидели старики и совсем еще мальчишки. Первые не обращали на него никакого внимания, вторые с любопытством посматривали. Один паренек, тот, что сидел с краю, вдруг поднял руку, видно, совсем недавно учился в школе, и звонко спросил:

— Можно я Борьку с практикантом позову. Они не знают, что вы пришли.

И не дожидаясь ответа, да, видно, и не очень нуждаясь в нем, выскочил из-за стола и кинулся к стоящему паровозу.

— Борька, вылазь! Лектор пришел, — послышался вскоре его пронзительный голос.

Лектор! Не поэт, не драматург, не писатель!

Лектор!

Шершеневич размотал шарф и, оглядевшись по сторонам, поискал глазами, куда бы его положить. Вокруг все было черно от копоти и мазута. Он сунул шарф в карман. Сняв шапку, мял ее в руках. Один из рабочих, тот что постарше, подвинул газету, показав жестом, чтобы он положил ее сюда. Тем временем прибежали и те, из-под паровоза. Все были в сборе, можно начинать.

Вадиму Габриэлевичу всегда было трудно начать. А уж потом его речь лилась складно. Он умел и любил выступать. Свое ораторское мастерство он оттачивал на литературных диспутах в Политехническом музее еще в двадцатые годы, где его оппонентами были и Маяковский, и Мейерхольд, и Луначарский. Он всегда чувствовал нерв аудитории, умел неожиданной, остроумной фразой расположить ее к себе, установить контакт. Но одно дело говорить перед сотнями, тысячами слушателей, другое — вот так, столкнувшись лицом в лицо, глаза в глаза с десятком без малого человек.

Пауза затянулась. Пора.

— Товарищи! Коварный и кровожадный враг напал на нас...

Слова были какие-то казенные, бесцветные. Рабочие, было оторвавшиеся от своей снеди, снова принялась за еду. Поэт говорил о том, что фашисты — злые враги культуры, но не заглушить им громом пушек ни музыки, ни поэзии. Он называл фамилии поэтов, композиторов, художников, артистов, которые своим творчеством помогают выстоять советским людям. Голос его звучал глухо. Ему казалось, что люди поглядывают на него с укоризной: почему он здесь, а не там, на фронте. Он говорил о Камерном театре, о Таирове, о Коонен. И чувствовал, что все это не то. Он читал это на лицах сидящих за столом людей. Кое-как закончив мысль, он стал читать стихи:

Я думаю о тех, кому пришлось проститься
С тем, что им не вернуть. Кто наглотался слез
И кто сосет тоску, как старую волчицу,
О бедных сиротах, что сохнут легче роз.

Стихи Бодлера в его переводе тоже не всколыхнули слушателей. Люди ждали от него простых слов, которые бы сами ложились в душу, а он щеголяет изысканностью образов.

Не нашим именем волнуются народы.
Не наши песни улица поет.

На ум пришли строки, написанные когда-то его другом А. Мариенгофом. «А по-другому мы писать не умеем, да и не научиться теперь», — подумал он и начал закругляться, видя, что бригадир вытащил большие карманные часы и поглядывает на них.

— Может быть, есть вопросы ко мне, товарищи? — Для проформы, предчувствуя, что вопросов не будет, спросил Шершеневич. Но он ошибся. Паренек, что бегал за своими товарищами, тянул вверх свою чумазую ладонь.

— А правда, что вы друг Сергея Есенина?

Что ответить этому мальчику? Вспомнилась открытая улыбка и вальковские глаза Сергея, которые его поразили при первом знакомстве в восемнадцатом году. И тут же он представил Есенина в последнюю их встречу перед его отъездом в Ленинград. Улыбка была кривой и глаза повыцвели. Был ли он ему другом? Всю жизнь Шершеневич считал, что да. Но в последние годы понял, что дружбы-то как таковой не было. Но не объяснишь ведь всего в двух словах, да и стоит ли.

Вадим Габриэлевич устало кивнул головой и выдавил из себя:

— Мы дружили с Сергеем Александровичем.

Невольно назвал он Есенина по имени-отчеству, да еще таким тоном, что это низвело «российского поэта» с поэтического пьедестала до разряда соседа по коммунальной квартире. Слушатели скорее всего не заметили этого, но Шершеневичу сделалось неудобно, как будто он сказал гадость про человека в его отсутствие.

А парнишка все не унимается:

— А почему его стихов не печатают? Расскажите что-нибудь про Есенина.

Поэт разомкнул почему-то пересохшие губы и, чтобы загладить неловкость своей предыдущей фразы, не сказал, а изрек, опять переборщив:

— Придет время, и стихи Есенина зазвучат широко и привольно по всей Руси великой.

А про себя подумал: «Несмотря ни на что, поэзия живет. Ее не замолчать, не запретить декретами. Вот паренек родился, наверное, в год смерти Сережи, а знает его, старики неграмотные чтят». Ему вспомнилось, как, увидав у почтаря, который возил посылки на дворянге, в кармашках торбочки за спиной маленьких щенят, не удержался и спросил, зачем он их таскает с собой. И тот ответил: «Кормить сукиных детей

надо, а то сдохнут с голоду дома, мамка ихняя, вишь, работает». И, видно, наскучавшись один за целый день, остановился и рассказал Шершеневичу, что раньше он топил щенят в ведре с водой. Сынишка, когда маленький был, плакал, а подрос, прочитал ему из какой-то затрепанной книжки стишок про собаку, у которой хозяин утопил в проруби щенят. «Веришь, до сих пор по коже мороз, как вспомню:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

С тех пор не могу порешить животину». Мигом все это всплыло в памяти, вслух же Шершеневич сказал:

— О поэтах говорят лучше всего их стихи. Я прочитаю, если позволите, «Русь Советскую».

Закрыв глаза, немного нараспев, он начал:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На переключке дружбы многих нет.

Почему-то перехватило дыхание. Справившись с собой, он продолжал несколько крикливо, невольно подражая Есенину:

Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Есенинские строчки бились испуганной птицей о черный сводчатый потолок. Шершеневич все читал и читал:

Ах, Родина! Какой я стал смешной,
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Последние слова он прочитал так искренне, что стало страшно: вдруг рабочие поймут, что это про него, сегодняшнего. Но, посмотрев на притихших слушателей, успокоился. Голос окреп:

Приемлю все.
Как есть, все принимаю.

И хотя у Есенина в конце этой строфы стоит точка, он прочитал это под восклицательный знак, на высокой ноте:

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Рабочие молчали.

Распрямившийся во время чтения, поэт вдруг сгорбился и уронил на стол руки. И тут раздались аплодисменты.

Вадим Габриэлевич поднял глаза и увидел улыбки на прокопченных, как на старых иконах, ликах...

5

*Моросят болезни, неврастения и лживый ветер...**Ах, есть мгновенья —**они длинней, чем**столетья!*

10. VI. 1913 г. В. Шершеневич

— Ну, Гаврилыч, тронемся, помолясь. — Такими словами встретил конюх Шершеневича, когда тот подошел к ждавшей его кошке. — Почитал стишки? Заработал на кусочек хлеба? — С отеческой снисходительностью продолжал возница, пока поэт устраивался на сиденье. Серко тронулся, повинувшись шлепку вожжей.

— Но... о... хвороба! — крикнул и зачмокал губами конюх, конь же продолжал трусить неторопким аллюром. Старик, видно, был настроен поговорить и, обернувшись к седоку, спросил:

— А знаешь ли, Гаврилыч, что за кошевка, в которой ты едешь? Знаменита она, как сказал Александр Яковлевич, историческая.

— Чем же она знаменита?

Вообще-то можно было и промолчать, но поэт был воспитанным человеком и не мог вот так не разомкнуть рта или сказать словоохотливому старику: не до тебя. Было время, многие считали Шершеневича напористым, если не сказать наглым, но мало кто знал, что это давалось ему с большим трудом и чем дальше, тем труднее. А в эту зиму он как-то сразу увял, и от былой напористости не осталось и следа. Гордый профиль Шерлока Холмса, который с годами делался все менее отчетливым, избородили морщины, глубокие, как канавы. Голова уходила в плечи, он начал сутулиться, будто стесняясь своего высокого роста. Вообще он к сорока девяти годам уже не был похож на «денди Советского Союза», как звали его и Мариенгофа их общие знакомые в свое время.

В последние дни он часто вспоминал далекие годы юности. Стали сниться друзья. Во сне он разговаривал с ними, а иногда просыпался от громового голоса Маяковского: «А Шершеневич у меня штаны украл!» И как тогда становилось горько и обидно. Горько от того, что литературные дороги развели его с этим большим, неумным человеком. Обидно, что при начитанности, которой и удивлялся и немного даже завидовал Маяковский, он, Шершеневич, пропустив в свое время написанные Владимиром Владимировичем строчки: «Я сошью себе штаны из бархата голоса моего». Из своего не менее бархатного голоса Вадим Габриэлевич тоже скроил себе штаны, но полосатые.

«Ох, не к добру я завспоминал юность, не к добру», — подумал поэт.

— Да, ты всерьез антирисуешься? — Это кучер все не унимался. — Ну тогда слушай... Году, запоматовал, э-э-э... может, двадцать восьмом приезжал к нам в Барнаул товарищ Сталин. Я тогда в энкаведе работал. Были когда-то и мы рысаками. Эй, Серко, вспомним молодость! — Старик свистнул, коняга ходко пошел под горку. Ветер туго хлестнул по лицу, и опять стало зябко. Шершеневич натянул на себя старый тулуп, брошенный в кошеву вместо полости.

— Так вот, — продолжал рассказчик, — приходит на конюшню Ленька. Был у нас такой, он и сейчас в энкаведе работает. Приходит и говорит: «Алексейч!» Меня, слышь, чуть не сызмалу так кличут. «Заложу, — говорит, — Алексейч, самолучшую кошеву, я Сталина возить буду». А я ему: «У нас плохих нет, развалюх не держим». А он на меня как цыкнет: «Сполняя приказ!» Ишь ты, язвы тебя, подумал, важная птица стал, но не перечу ему, пуцай покуражится. Да и то сказать, перечить ему страшновато: Ленька детина здоровенный, зашибет ненароком. Сказывали...

Шершеневич давно понял, в какой кошеве едет и, не слушая старого говоруна, опять погрузился в свои мысли.

Он думал об изменчивости судьбы. Вот он жив, а Есенина уже давно нет, но его, Шершеневича, стихов никто не знает, а есенинские все еще будоражат людей, пробиваются к читателям, несмотря ни на запреты, ни на замалчивания.

Как много значит мнение одного человека. Году в двадцать девятом Сталин назвал Камерный театр «действительно буржуазным». Только назвал, а сколько пришлось пережить Таирову, всему коллективу. Но еще хорошо, что театр остался, наверное, руки не дошли кое у кого в свое время. А вот до В. Э. Мейерхольда руки дошли. И не стало театра, исчез интересный режиссер. Шершеневич, вспомнив о Всеволоде Эмильевиче, вдруг ясно понял, что их вражда в двадцатые годы была мелкой и ничего не значащей по сравнению со смертью.

«На что мы тратили свои силы, укорачивали жизнь себе и другим». Шершеневича знобило.

А Алексеич все ведет свой рассказ, складно перемежая слова прибаутками и ядреными замечаниями. Серко, никем не понукаемый, опять понурил голову и тянет еле-еле. Старик же вздохнул смеется, рассказывая, как он, уже работая в театре, принимая в конюшне НКВД купленного Серка, запряг его в сталинскую кошеву и айда в ворота, а никому и дела нет, что «реликвию уперли».

— Да и то сказать, старенькая она была. Директор тогда сильно ругался. Пришлось мне ее ремонтировать. — В голосе старика слышалось то обожание, то умиление. История кошевы переполняла его гордостью: вот мы какие.

— Останови, милейший, — Шершеневич тронул Алексеича за плечо. — Я, пожалуй, пройду. Мне еще нужно зайти кое-куда.

Идти Вадиму Габриэлевичу в этом городе было некуда, но и слушать рассказы кучера ему было уже невыносимо.

Глебка Киселев спешил. Заскочив после школы домой и наскоро перекусив (похлебка, которую мама поставила в русскую печь, еще была теплая), он помчался в больницу к матери, где она работала санитаркой — отметить, так уж было у них заведено. А потом они с Самалером отправятся на кладбище за вербой. Она уже распустила свои цыплячьи почки. Можно немного подзаработать, продавая пушистые прутики старухам, скоро у них какой-то праздник.

Настроение было отличное. Эвакуированная учительница математики похвалила его и обещала поставить ему за четверть «хорошо». «Ты только старайся», — сказала она. А ему что, он старается, только не любит он эти премудрости. То ли дело история. Там интересно. Про войны разные, про полководцев.

Глеб бежал вприпрыжку по улице, каждый дом которой ему был знаком. Да что дом, любой сучок в заборе он знал как свои пять пальцев. Хотя, как это однажды выяснил отец, пять своих пальцев он знал не так уж хорошо. Забыл тогда, как назвать палец около мизинца. «Что за странность такая, — подумал мальчик, — не хочешь, а все равно отца вспоминаешь?»

Свернув за угол, Глеб почти столкнулся с Крысой, который стоял на дощатом тротуаре, одет он был в хорошее демисезонное пальто с белым шелковым шарфиком. Лихо надраенные хромовые сапоги были собраны в гармошку, кепка-восьмиклинка сдвинута на затылок. Увидев Киселева, он осклабился. На солнце блеснула желтая фикса.

— Здорово, Братишка, куда спешишь? Я-то жду тебя на толковище только вечером.

У Глеба внутри сделалось пусто, как будто он летел вниз с высокой крыши. Так у него было всегда перед дракой. Но сейчас драться

не хотелось, да и побьет его Крыса: ишь, вытянулся как за год. Но и отступить было стыдно, да и некуда.

— Здорово, Крыса, — стараясь казаться спокойным, ответил Глеб.

Услыхав свою уличную кличку, самозванный пахан и в самом деле окрысился.

— Ну ты, Кисель, — Крыса сделал шаг вперед и опустил правую руку в карман, — если еще раз назовешь меня так, то никакой участковый тебя не спасет. Усек? — Левая рука его захватила полы Глебкиной фуфайки под самым подбородком. — Вечером мы еще потолкуем с тобой.

Ворот фуфайчки, как хомут на всем скаку остановившейся лошади, налезал на лицо. Костяшки Крысиных пальцев, от которых противно пахло табаком, больно давили губы. Глеб попытался вывернуться, но ничего не получалось. От унижающего бессилия слезы навертывались на глаза.

Старые доски тротуара, уютно поскрипывая, пружинили под ногами, и от этого в походке появлялась упругость. Шершеневич вдруг почувствовал себя молодым. Давно забытая легкость отвлекла от тяжелых дум, и Вадим Габриэлевич упивался этим чувством.

«Хорошо, что я решил пройтись немного пешком», — подумал он.

От утреннего тумана не осталось и следа, солнце по-весеннему пригревало, и поэт немного согрелся. Шершеневич жадно смотрел по сторонам. То ли яркий солнечный свет, то ли пришедшее хорошее настроение сделали эту улицу, по которой он проезжал утром, и шире, и какой-то даже родной, напоминающей старые московские улочки. И автобус, который, нутужно ревя, упрямо лез в гору, показался симпатичным. Курсанты, пехотинцы, топали ботинками по хрусткой с ледяной корочкой дороге и добавляли бодрости песней:

Маруся раз, два, три, калина,
Чернявая дивчина...

Нехитрые слова сопровождали залихватским свистом два свистуна, закладывающие немислимые коленца.

И вдруг Вадим Габриэлевич натолкнулся глазами на фигуру парня, держащего за грудки мальчишку. Это выпадало из общей картины, как неудачное слово в строфе, как фальшивая нота в мелодии. В другое время поэт скорее всего не обратил бы внимания на происходящее, подумает, событие — мальчишеская драка, но сегодня что-то поменялось в нем, и пройти мимо он просто не мог. Тем временем парень резко толкнул мальчишку, и тот шлепнулся на тротуар.

— Что вы делаете, молодой человек? Разве можно так? — Шершеневич в два прыжка оказался возле упавшего, но тот уже вскочил и ринулся на обидчика. Вадим Габриэлевич придержал его. — Вам, должно быть, стыдно обижать маленьких, — опять обратился он к парню в сапогах.

А тот, сделав шутовски страшное лицо, какое бывает у взрослых, показывающих маленьким «козу», просюсюкал:

— У-тю-тюшеньки, тю-тю, канай, дядя, отсюда, а то ваву тебе сделаю.

— Как вы смеете так со мной разговаривать? Вот я позову милиционера! — взвился поэт.

— Позови, дядя, позови. — Шутовской тон сменился нарочито спокойным. — Только ты будешь не очевидцем. — Парень резко вытащил правую руку из кармана, в ней блеснул нож. — Вставлю перо в бочину, и будешь ты потерпевшим. — И раздельно добавил: — Покойным.

Увидя нож в руке Крысы, Глеб шагнул вперед и встал между ним и Шершеневичем.

— Тварь ты, Крыса, — сжимая кулаки, осипшим от волнения голо-
сом сказал Глеб. — Мразь конченная и трус. Без финки-то слабо?

Крыса улыбнулся и сунул нож в карман.

— С тобой, Кисель, мы еще встретимся на узенькой дорожке. И ты,
дядя, ходи да оглядывайся.

Сказал так и пошел, поскрипывая хромовыми сапогами.

Только однажды видел Вадим Габриэлевич настоящего грабителя. Это было в 1922 году, когда он, будучи при деньгах, сидел с друзьями в ресторане на Арбате и в зал вошли трое с пистолетами. Страх не было. Он с любопытством смотрел на револьвер и понимал, что жизни ничего не угрожало, а с деньгами он всегда расставался легко...

Но здесь, сейчас... Шершеневич до того растерялся, увидя в метре от себя нож, направленный ему в живот, что, когда мальчишка встал между этой блестящей полоской стали и его телом, он не нашел в себе сил противиться этому. Он испугался, и сейчас, когда угрожающий ему уходил, Вадиму Габриэлевичу стало стыдно за эту свою слабость.

6

Задыхаюсь, плача, задыхаюсь...

В. Шершеневич

Шли дни. Весна взяла свое. Снег сошел полностью. Теплый ветер подсушил землю и теперь гонял по городу пыль и разный мусор, заметая его, как ленивая хозяйка, по укромным углам. Зеленой дымкой окутались деревья. У облупленного фонтана на бывшей соборной площади сидели выздоравливающие из ближайшего госпиталя. Их серые, сожженные карболкой халаты по цвету не отличались от булыжника, которым была вымощена площадь. И только белые нательные рубахи да выглядывающие из-под халатов кальсоны с завязками оживляли картину.

Они тихо переговаривались, щелкали каленые семечки и провожали глазами проходящих женщин.

Александр Яковлевич ехал в пролетке и не обращал внимания на все происходящее. Ему уже примелькались и сама площадь, и раненые у фонтана. Он успел хорошо изучить город, мотаясь из конца в конец по делам театра.

Премьера прошла неплохо. И хотя «Батальон идет на запад» это не то, что он бы хотел ставить, зрители приняли спектакль. Ему вспомнились споры с Шершеневичем. И тут же обещание Паустовского навесить театр в Барнауле. «Вот, может быть, Константин сделает пьесу. Он писал в одном из писем, что задумка такая есть. Нужно будет обязательно засадить его за работу. Без новой, хорошей пьесы театр задохнется».

Потом мысли перепрыгнули на Шершеневича: «Плохо Диме. Совсем разболелся. И медицинские светила не помогли. Какая-то чертовщина. Сначала думали тиф, потом воспаление легких и вдруг туберкулез миллиарный. Фантазмагория какая-то: Дима и туберкулез — это противоестественно. Он ведь великий жизнелюб. Нужно бы заехать к нему, попроведывать, да где взять время. Дела...»

Пролетка выехала на проспект, Таиров направлялся на меланжевый комбинат. Наряд на сто метров материала для новой одежды сцены Александр Яковлевич выбивал две недели. Все понимали его, кивали головами, благодарили за контрамарки, которыми он щедро одаривал тех, у кого бывал, но никто не решался поставить свою подпись под разрешающей резолюцией. И только председатель горисполкома, когда Александр Яковлевич, взбешенный волокитой, буквально ворвался в его кабинет, без слов дал разрешение. И вот наконец-то он едет на комбинат оформлять бумаги.

В отделе сбыта полная женщина, взяв наряд и прочитав, что там написано, удивленно вскинула брови:

— Они что там, с ума посходили? — Неожиданно красивым драматическим сопрано произнесла она: — Где я возьму сто метров. Нет, дорогой товарищ, я сегодня отказала детскому дому, а вам выписать? Увольте. — Она придвинула наряд на край стола и, не поднимая головы, опять зарылась в бумаги.

Александр Яковлевич подвинул бумажку под глаза и тихо вымолвил:

— Но ведь есть распоряжение горисполкома. Вы посмотрите внимательно.

Женщина подняла глаза и опять отодвинула наряд:

— А хотя бы и так, нет мануфактуры.

Таиров без приглашения сел на венский стул с гнутой спинкой и твердо сказал:

— Как хотите, но я отсюда не уйду, пока вы не подпишете наряд.

Толстуха молча углубилась в работу. Таиров сидел. В кабинете летала ранняя муха и со звоном билась в пыльное стекло окна. Александр Яковлевич опустил руку в карман пиджака и вдруг нащупал там шоколадную конфету. Недавню в театральном буфете продавали, видно, из довоенных еще запасов. Держа за кончик фантика, он протянул хозяйке кабинета аппетитного «Мишку на Севере».

— Это вам.

Волооко глянув на Таирова, женщина жеманно улыбнулась, произнесла: «Мерси» и, отставив в сторону наманикюренный мизинец, взяла подарок. «Жива еще Эльзевира Ренесанс», — подумал Таиров, вспомнив персонаж из пьесы В. Маяковского «Клоп».

Контрамарка в директорскую ложу довершила дело. Таиров уходил из отдела с несколько брезгливым чувством, но уносил подписанные документы, и это немного грело.

Леночка Киселева уже неделю после работы бежала в больницу помочь маме: совсем расхворалась она, но работу не бросала. От отца по-прежнему не было весточки, и в доме было тихо и неуютно. Мама по ночам плакала, Глебка ходил угрюмый. У Лены разрывалось сердце, глядя на них. Она почему-то была уверена, что отец жив, и терпеливо ждала, когда он объявится. А ждать она умела. Леночка была из тех людей, которые, один раз убедив себя в чем-либо, уже не металась мыслями, не мучились сомнениями. Вся в отца, говорила мать, и Лена гордилась этим.

В больнице санитарки мыли полы тряпками, надетыми через дырочки на палки с перекладиной. Лена не могла привыкнуть к этому орудю труда. Ей казалось, что только руками можно промыть шершавые, давно не крашенные половицы. Она без труда залазила под кровати и, стараясь не греметь тяжелыми белыми «утками», стоявшими там, изгоняла из самых потаенных мест махровую пыль, невесть откуда собиравшуюся там.

В одной из палат, еще в первый свой приход, ее поразил один старый мужчина. Впрочем, ей тогда казалось, что любой человек, которому за сорок, уже старик. Лицо его худое и бледное, показалось ей знакомым, но где она видела его? Она мучилась всю неделю. И только сегодня, проходя мимо театра, Лена ненароком вспомнила, как упала здесь и разлила молоко. И мужчину вспомнила отчетливо. «Долговязый» — так она окрестила тогда его.

На ходу завязывая тесемки белого халата, она спешила увериться в своей догадке. Открыв двери и заглянув в палату, она встретила глазами со своим старым знакомым (то, что это он, не было никаких сомнений). Лена смутилась, а он мягко улыбнулся ей и закрыл глаза.

Девушка поразилась тому, как он изменился. Подойдя на цыпочках к кровати, Леночка поправила одеяло у него на груди.

— Вам плохо?

Проникновенный голос молодой девушки, казалось, сдвинул камень с груди Шершеневича. Он открыл глаза. Две карие звездочки уставились прямо в юную душу. Ему подумалось, что давно уже он не чувствовал такого искреннего участия, и ему захотелось рассказать ей все, о чем думал в последнее время, что мучило его, что он старательно скрывал ото всех.

— Сядь, сестричка, — донесся до Леночки слабый голос. Она присела на краешек кровати и снова спросила:

— Вам плохо?

— Да, сестричка. — И, увидя испуганные глаза девушки, поэт поспешил ее успокоить: — На душе гадко. — И, помолчав, вдруг спросил: — Скажи, ты боишься чего-нибудь.

Девушка на минуту задумалась и, зардевшись, ответила:

— Мышей.

Шершеневич улыбнулся, подумал: «Счастливая. В молодости всегда бояться не того, чего следует». И вдруг все то, что последнее время занимало его почти всерьез, сложилось в ясные, четкие формулировки. Не смерти следовало бояться, а несостоявшейся жизни. И самое страшное то, что это начинаешь понимать на пороге небытия, когда что-либо изменить уже нельзя. Чужой опыт нас не убеждает, а собственный слишком дорого дается.

Леночка смотрела на больного, и ей было его жаль. Он казался таким одиноким и несчастным, и она мучилась от того, что не могла ему ничем помочь.

— Дай, пожалуйста, попить. — Больной приподнялся на локтях. Леночка, поддерживая его, поднесла к губам стакан с водой. Вадим Габриэлевич отпил несколько маленьких глотков и в изнеможении откинулся на твердую ватную подушку.

— Спасибо, сестричка. Ты иди. Скоро придет жена. Я дождусь ее. Мне больше ничего не нужно. — Он помолчал и, видя, что девушка не уходит, взял ее пальчики в свою горячую ладонь, слабо сжал их. — Не тревожься, мне уже лучше. — Потом добавил, глядя в глаза Леночки: — И не жалея меня. Не одинок я. У меня масса друзей.

Леночка встала, попятилась к двери и только у порога выдавила из себя:

— Не скучайте, я еще наведаюсь к вам.

Дверь за девушкой тихо закрылась, и Шершеневич остался один на один с собой. Хотя он и просил эту девушку не жалеть его, но эта жалость оказалась приятна ему. Маша, жена, была всегда бодрой и хотела, чтоб эта бодрость успокоила его, но он-то понимал, что это игра. И вот сейчас участие этой незнакомой девушки всколыхнуло его душу. Ему вдруг вспомнилась дочь. Восемнадцать лет он не видел ее, да и вспоминал редко. А сейчас закрыл глаза и представил ее десятилетней, смешной в своей наивной радости перед дальней поездкой в Палестину, куда увозила ее мать, его первая жена. Как она там теперь?

А потом ему вдруг вспомнился недавний случай на улице, когда он вступился за мальчишку и бандит грозил ему ножом. Он опять испытал мучительный стыд за свой испуг и представил решительную фигуру мальчика, который прикрыв его от острия.

«Из этого мальчишка вырастет настоящий мужчина», — подумал он.

Шершеневич считал раньше, что и он способен на решительный шаг. Он кичился тем, что не поступался своими идеалами, а оказалось, что всю жизнь гонялся за миражами, которые сам же создавал. Он был похож на глупое животное, которое бежало за пучком сена, привязанного к палке, которую держал в руках хитрый седок. На ухабистом пути он растерял все, пробежал мимо того, что мог бы иметь. И всю

жизнь радовался и бодрился, не сознавая, что ни один миг из прожитого не вернуть и ничего уже не удастся поправить из содеянного.

«Правильно сказал тогда парень с ножом, — горько подумал Шершеневич, — не великолепным очевидцем я оказался, а банальным потерпевшим».

Ему вспомнилось давнее его высказывание:

«Поэт — это тот безумец, который сидит в пылающем небоскребе и спокойно чинит карандаши для того, чтобы зарисовать пожар. Помогая тушить пожар, он становится гражданином и перестает быть поэтом».

«Стал ли я поэтом, сидя в пылающем небоскребе, неизвестно. А вот гражданином не стал, это точно. Вот в чем трагедия...»

В это время Глеб Киселев шагал по пустынным улицам с котомкой за плечами к вокзалу. Самалера или не выпустили из дома, или он просто струсил, как тогда на толковище, куда их затащили дружки Крысы. Он, Глеб, дрался один против всех, дрался яростно, как никогда в своей жизни уже не дрался. Крыса отступился от него.

Непобежденный, независимый, Глеб широко, по-мужски шагал на гудки паровозов...

7

*Ужас зажигает спичкой
Мое отчаянье предсмертное.*

18. IX. 1913 г. В. Шершеневич

Длинные и блестящие, во фраках, с гвоздиками в петлицах, лощеными франтами ползли черви со всей земли, окружая его. Ему хотелось закричать: «Что вы делаете? Я еще живой». Но губы слиплись от нестерпимого жара, который, тлея многие дни внутри, ночью вырвался из-под пепла и сейчас сжигал его грудь. А твари во фраках, приветствуя друг друга снятием цилиндров, заползали на него, впиваясь в кожу, сосали его кровь, которая текла из ранок, студеной и липкая.

Вадим Габриэлевич проснулся. Холодный пот тонкими струйками бежал по вискам. Вот уже несколько ночей этот сон навязчиво снился ему.

Замри, моя душа, в тяжелый этот час!
Весь этот дикий бред пусть не дойдет до нас!

Шершеневич знал огромное количество стихов, вот и сейчас на ум пришли строки из любимого им Бодлера в переводе Валерия Брюсова. Раньше он без усилий мог прочитать любое знакомое стихотворение, а тут вдруг забыл, как у Брюсова дальше. Он уставился в потолок, на котором метался отблеск от уличного фонаря за окном. Ветер свистел в ветках старого тополя.

Замри, моя душа, в тяжелый этот час!
Весь этот дикий бред пусть не дойдет до нас!

Не хватало воздуха, но он все повторял и повторял эти две строчки, надеясь вспомнить остальные. Это как-то отвлекало от тяжести, навевной сном. И чем дальше он пытался вспомнить забытые строки, тем легче становилось, и когда он вздохнул полной грудью, на потолке вдруг явственно проступили строки, которые он легко, как с книжного листа, читал:

Замри, моя душа, в тяжелый этот час!
Весь этот дикий бред пусть не дойдет до нас!

То час, когда больных томительные муки
 Берет за горло их глухая ночь. Разлуки
 Со всем, что в мире есть, приходит череда.
 Больницы наполняются их стонами. О, да!

«А дальше не надо!» — В ужасе закрыл глаза, чтобы не видеть последние две строчки, но проснувшаяся память нашептывала ему:

Не всем им суждено...

Шершеневич судорожно сглотнул тяжелую, как ртуть, слюну и все шептал:

— Нет, нет, не хочу. Будь проклята эта услужливая память. — И тут же ругал себя за это проклятие, попытался вспомнить что-нибудь другое. Он гладил взъерошенную непрошеным воспоминанием душу, успокаивая ее, пытаясь настроиться на другой лад.

Ты здесь начнешь. Ты здесь родишься снова,
 Упорный, чистый, знающий себя,
 И в поисках единственного слова
 Не будешь спать, полночи загубя.

Как спасательный круг, сжавшись, память бросила ему четверостишие Павла Антокольского.

Есть в жизни человеческой минуты,
 Когда и жизнь как бы не начата:
 Все музыка, все молодая смута,
 Все прошлому не друг и не чета.

Вдруг черный круглый динамик, стоявший в изголовье и до этого молчавший, чуть с хрипотцой, жалобными, женскими изломанными голосами, запел: «И зачем мы, горемычные, родились на белый свет...»

Снова испарина выступила на лбу, и воздух стал плотнее, не продохнешь. «Аскольдова могила», — вспыхнуло в мозгу, и поэт, вывернув руку, пытался найти регулятор громкости, но не мог нашарить ребристый металлический болт. Динамик упал с тумбочки, и враз стало тихо. Вадим Габриэлевич попытался опять вернуть душевную устойчивость, вызывая в памяти продолжение стихотворения.

Есть, наконец, такой предел, по счастью,
 Когда твоя неправильная жизнь
 Становится рабочей, нужной частью.
 Держись за часть. За молодость держись.

«Держись... держись... держись...» — бухало в ушах, как эхо в глухом колодеце. «Держись... держись... за молодость держись...» с каждой минутой гудело все тише и тише, и вот только маленький колокольчик вызванивает, и уже не слова, а только ритм стиха. Вадим Габриэлевич уже не слышал ничего, и только этот маленький колокольчик звонил и звонил, пока белое холодное безмолвие не поглотило и этот звон.

Дан занавес, окончен балаган.
 Наш Шершеневич бездыхан...

Яркой вспышкой лопнули в мозгу его давние стихи, и все...

Леночка Киселева стояла в коридоре и плакала. Она не успела навестить своего старого знакомого.

Алиса Георгиевна Коонен ходила из угла в угол кабинета Александра Яковлевича. Сцепив в замок руки, она кусала костяшки паль-

цев. Таиров, уставившись в одну точку, сидел за столом неподвижно.

— Саша, какой ужас. Ах, Дима, Дима, как он любил жизнь... Нет, я не могу поверить... Саша, ну не молчи, скажи что-нибудь.

Александр Яковлевич поднял глаза на жену и, ничего не сказав, опять опустил их долу.

— Саша, ты помнишь, как в семнадцатом мы собирались после спектакля у меня на Спиридоновке. Как мил был тогда Дима! Неужели ты забыл эти вечера? Ну почему ты молчишь? Саша!

Коонен, до этого бегавшая по кабинету, резко остановилась перед столом, за которым сидел Таиров. Он, не поднимая головы, сказал:

— Нужно написать некролог и связаться с газетой, чтобы завтра напечатали.

А жена его опять металась из стороны в сторону и по-актерски с придыханием говорила:

— Неужели мы когда-то были молодыми? Неужели мы настолько состарились, что теряем друзей? Как это ужасно.

Два шага влево, два — вправо. Как маятник.

— Саша, ты помнишь, как ты тогда топил «пчелку» и почему-то, подкладывая дрова, надевал кожаные перчатки, а я всегда ужасно смеялась над этим. А Дима в своем перелицованном белом костюме все время двигался по комнате, как бы танцуя, разбрасывал налево и направо стихи, свои и чужие. А его знаменитый коктейль с каплями лаванды? Ты помнишь, Саша? Знаешь, я с тех пор люблю этот запах... А теперь Димы нет... Нелепость... Вот кончится эта ужасная война, мы уедем отсюда, а он останется здесь... Один. Как это страшно. — Коонен опять резко остановилась против стола и, наклонившись к мужу, зашептала почти в самое его ухо: — Саша, дай слово, что, если я умру, ты не оставишь меня здесь одну.

И, обессиленная, она упала в кресло и заплакала, как маленькая девочка, размазывая слезы кулачком. Александр Яковлевич встал из-за стола и почему-то на цыпочках подкрался к жене и стал гладить ее по голове.

— Успокойся, Алиса, ты не умрешь. Ты будешь жить долго. Смерти для актрис нет. — Успокаивая ее, приговаривал он как заклинание: — Смерти для актрис нет.

На следующий день газета поместила некролог и объявление: «Государственный Камерный театр. Сегодня — «Батальон идет на запад». Билеты, купленные на 19 мая на спектакль «Адриенна Лекуврер», переносятся на 27 мая».

Играть Алиса Георгиевна в этот день не смогла...

...Серко неторопко тянул телегу, покрытую старой, некогда красной персидской дорожкой, на которой стоял гроб. Алексеич не понужал старого коня и шел обочь с вожжами в руках. Телега гремела кованными колесами по булыжной мостовой, дробя на части мелодию оркестра, и только большой барабан, заглушая все, царил над весенней улицей.

— Эх, жисть, не дождался Гаврилыч тепла, настоящего тепла, — бормотал конюх себе под нос. — Жить бы да жить еще. Молодой ведь, и полсотни не протянул.

Колеса телеги уже не гремели, мостовая давно кончилась и теперь Серко с трудом тянул телегу со скорбным грузом по песку. Умолк оркестр. Кладбище встретило процессию тишиной...

Вскоре на могиле выложили из кирпича плиту и в свежий, не застывший цементный раствор деревянные буквы:

О тайна
преобразования!
Все чувства,
как одно, звучат.

Есть музыка в ее
дыхании,
А в голосе есть
аромат.

Вадим Шершеневич. Поэт.
1893—1942

8

Ах, мимолетно все в веках...

6. VII. 1931 г. В. Шершеневич

«Уважаемая Ольга Николаевна! — На белом листе из-под пера появлялись строчки. Таиров, сидя в своем кабинете, пишет письмо в комитет по делам искусств. В Москву. — Мне очень понравился Ваш анализ пьесы Паустовского. Мне тоже кажется, что пьеса эта во многих отношениях выгодно отличается от целого ряда пьес об Отечественной войне и теми качествами, на которые указали Вы, и тем, что происходящие события показаны не в лоб, а через те внутренние сдвиги, которые производят они в психике наших людей».

Александр Яковлевич отложил перо и задумался. Ему вспомнилось, как в этом кабинете весной прошлого сорок второго года Шершеневич возмущался, что он решил открыть гастролы в Барнауле пьесой «Батальон идет на запад». Он не хуже поэта видел все недостатки этой вещи, но другого-то под руками ничего не было. А вот сейчас готовится премьера «Пока не остановится сердце» К. Г. Паустовского. Таиров был увлечен постановкой. Он решал спектакль в эпическом плане. Актриса, главная героиня, в заключительной сцене с развевающимся красным шарфом должна была олицетворять борьбу народа против фашистов. Алиса Георгиевна отдавала все силы репетициям. Главная роль была написана специально для нее, и это облегчало работу над ролью, но и делало ее чрезвычайно сложной: нужно было с максимальной силой выразить то, что заложено в ней автором.

«Все-таки у Шершеневича был отменный вкус», — подумал Таиров.

Он снова склонился над письмом, но мысли об умершем поэте не давали покоя.

«Не повезло здесь Диме. Нелегко пришлось и всем нам — и Алисе, и актерам, и мне, и театру в целом. А Диме просто не повезло». И об этом он напишет в своем письме. В Москву.

«Вы знаете уже, как не повезло мне с моими болезнями. В общей сложности вот уже скоро два месяца, как я хвораю, и за все это время мог работать с большими перебоями...»

...В силу ряда бытовых и климатических условий заболеваемость в среде нашей труппы принимает угрожающие размеры. Нет почти ни одного полностью здорового человека. Я уже не говорю о том, что все не вылезает из гриппов, бронхитов и прочей прелести».

Разве напишешь в письме, что Коонен была вынуждена иногда выходить на сцену с болеутоляющими уколами, что из-за болезней актеров приходилось отменять объявленные спектакли и заменять их другими, а значит, на тех, кто еще держался на ногах, ложилась двойная нагрузка. Разве напишешь, что опять наступает зима и снова холод, который в театральном помещении стал просто невыносимым, что за каждый килограмм угля приходилось буквально драться. Пять метров мануфактуры становились неразрешимой проблемой. Как напишешь о том, что, прежде чем решить какой-либо вопрос, приходилось любому начальнику сначала прочитать лекцию о значении театрального искусства в жизни общества и особенно в условиях войны. Не напишешь и о том, что семьи актеров были рады манной каше, сваренной на воде без всяких жиров. А чего стоило ему добиться, чтобы разрешили продавать ее в театральном буфете без карточек.

«Вообще, эвакуационных щей мы хлебнули вдосталь и, право, пора перевести нас на другой режим...

Ей-богу, хватит, пора в Москву!»

Александр Яковлевич опять задумался. Наверное, и в Москве будет не легче. Хорошо, хоть ленинградцы сохранили имущество театра: В. Вишневский написал об этом. Костюмы и декорации пережили блокаду. В каком они состоянии? Видимо, и в здании театра придется делать капитальный ремонт. Нужно будет пополнять труппу, налаживать быт. Трудностей хватит, но там дом. Скорее бы уж в столицу. Домой.

Но пройдет еще девять месяцев, пока они увидят из окна вагона знакомые московские пейзажи.

Поход в театр для Леночки был всегда праздником. И хотя не часто случались такие праздники, тем они дороже были для нее. До войны Лена знала всех артистов в лицо. Но началась война, и барнаульская труппа уехала из города, а здание занял Днепропетровский театр. Девушке по-детски было обидно за своих, и она не жаловала гостей. Но вскоре и им пришлось переезжать, уступая место более именитым коллегам. Плохо разбираясь в тонкостях театральной иерархии, в глубине души Леночка была рада, что обидчикам родного театра самим пришлось убираться, и прониклась симпатиями к новоселам. Но бывать на их спектаклях ей приходилось редко: пошла работать на комбинат, потом заболела мама, Глебка сбежал из дома и месяц болтался, пока не выловили его где-то под Омском и не вернули домой, грязного и оборванного. А осенью пошла еще учиться на курсы медсестер с тайной надеждой уйти на фронт. И артистов она уже не узнавала, как прежде. Но, по старой привычке, проходя мимо театра, всегда пыталась угадать в прохожих — актер он или нет.

Однажды, еще весной прошлого года, она увидела на улице одетую не как все их городские женщину. Она шла, высоко подняв голову. Свободное пальто делало ее и без того легкую походку летящей. Ватные плечики, вшитые под подкладку, делали ее фигуру монументальной, и от этого красавица казалась недоступной, как скульптура на высоком постаменте. Вот это сочетание монументальности и легкости больше всего и поразили Леночку. И она вдруг почувствовала себя такой маленькой, а пимы с калошами несуразно большими. Так, наверное, чувствовал себя гадкий утенок перед лебедями...

...Леночка сидела в предпоследнем ряду с краешку у стены в своем самом нарядном платье в синий горошек по белому полю и поджимала под сиденье ноги, обутые в парусиновые туфельки, начищенные зубным порошком. Она вся подалась вперед, глядя на освещенную сцену, совсем забыв, что в рисованных декорациях лицедействуют артисты.

Леночка плакала над судьбой французской актрисы Адриенны Лекуврер. Как она похожа на женщину, которую Леночка однажды видела переходящей улицу нансокосок к театру. Похожа своей легкостью и монументальностью.

Шел последний акт. Прижав к губам отравленные цветы, Лекуврер стихами говорила возлюбленному о своей любви. И вот она уже в агонии. Ей кажется, что Морис ее не любит.

Ступай и повторяй другой все клятвы страсти,
Ты мне их расточал, когда меня любил.
Перед лицом богов ты бедной изменил.
Ты не услышишь здесь ни жалобы, ни стона.

Актриса на сцене умирала, а девочка в зале в предпоследнем ряду плакала и ничего не замечала вокруг.

Алиса Коонен сегодня превзошла самую себя.

Алиса Георгиевна сидела после спектакля в своей гримборной. Нет, это была не она, а еще не воскресшая Адриенна Лекуврер. В дверь тихонько постучали. Коонен встрепелась. На пороге стояла билетер и в руках держала маленький букетик герани.

— Алиса Георгиевна, простите великодушно. Вам тут просил передать молоденький командир, — и она протянула актрисе веточки герани.

Хотя принимали их в Барнауле хорошо, но не часто зрители подносили цветы. Наверное, не было в привычке, да и трудно достать их здесь — в Сибири. И эти несколько веточек, выращенных в горшочке на окне, были особенно трогательны в своей наивной естественной простоте. Коонен взяла в руки цветы и так же, как только что на сцене, поднесла их к лицу. В глаза сразу бросилась маленькая записка. Она торопливо развернула листочек, вырванный из блокнота.

«Спасибо Вам за все! — было написано торопливым, но по-детски разборчивым почерком. — Раны мои затянулись, и я завтра уезжаю на фронт. Сегодня я понял, что не только ярость, хотя и благородная, должна быть в сердце у солдата. Но и ЛЮБОВЬ! Старший лейтенант Седых».

...Серко цокал новенькими подковами и ходко бежал по улице. «Наверное, и лошади не безразлично, кого везет», — думал Алексей, удивляясь легкому аллюру своего старого друга.

Алиса Коонен сидела в коляске и смотрела в спину конюха. В руках она держала маленький букетик белых астр. Это все, что удалось достать в эти дни поздней осени.

Театр собирался в дорогу. Александр Яковлевич добился наконец разрешения вернуться труппе в Москву, и все были охвачены нетерпением увидеть родной город. Коонен тоже была рада уехать отсюда. Ей казалось, что тогда она навсегда забудет унижающее ее чувство холода, когда дрожь не дает двигаться по сцене так, как того требует роль и все ее существо. Ее выводил из себя парок, вившийся изо рта, когда она произносила монологи. Только одно приятное воспоминание увезет она из Сибири в Москву: о Белокурихе, где летом сорок второго отдыхали они вместе с Таировым и Паустовским. Тогда-то Константин Георгиевич и написал для нее пьесу «Пока бьется сердце». Вчера этим спектаклем они завершили свои затянувшиеся гастроли в Барнауле. Да еще она долго будет вспоминать барнаульских зрителей, неискушенных, но искренних в своих симпатиях, приветливых и доброжелательных. И пока не наступили суматошные предотъездовские дни, она решила поехать на кладбище к Диме, так Коонен продолжала называть Шершеневича.

Все думали, что молодая сосенка, рядом с которой вырыли могилу, засохнет, но нет, она стояла рядом с надгробием, распушив иголки, не страшась наступающей зимы. Алиса Георгиевна кивнула деревцу, и на душе потеплело.

— Ну вот, Дима, я и пришла попроведывать тебя, — актриса проговорила это вслух, как будто Шершеневич ее мог услышать.

Она наклонилась и положила на могилу свой маленький букетик. Цветы показались еще более яркими от соседства с серой цементной плитой, уже кое-где облупившейся.

«А Саша говорил, что нашли настоящих мастеров, которые хвалились: и молотком не отобьешь, — подумала она. — Да и то сказать, где они, настоящие мастера? Лежат, поди, под Могилевом или Ржевом, и над ними даже таких памятников нет».

Она стояла, опустив черную вуаль, и сдерживалась, чтобы не заплакать. Ей было жалко Диму, жалко солдат павших и не павших, которым, быть может, предстоит еще пасть. Но плакать она не хотела,

наверное, потому, что на сцене она плакала настоящими слезами, а в жизни — как актриса, и даже сама иногда не могла отличить, где кончается игра и начинается жизнь.

— Не буду обманывать тебя, Дима, я уже никогда не смогу прийти к тебе. Мы уезжаем. Все уезжаем. И навряд ли приедем еще когда-нибудь. Ты остаешься один. Прости, Дима. Прощай. — Коонен поклонилась могиле и, не оборачиваясь, пошла к воротам кладбища, где ее ждал Алексеч.

Раньше каждую осень Леночка с мамой приходили на кладбище к бабушке, подправляли могилку, вырывали траву, выросшую за лето. По крестьянской привычке как бы готовили теперешнее бабушкино жилище к зиме. Но нынче мама занедужила, и Лена пришла одна. Она любила бывать здесь осенью. Прохладный воздух становился хрустким и удивительно прозрачным, и сквозь эту прозрачность вместе с последними солнечными лучами светилась тишина. Взойдешь на горку, и перед тобой бор за речкой стоит. Надоела ему слякоть, и ждет он первого снега как избавления. И это ожидание настолько осязаемо, что передается тебе и с этим чувством наступающая зима не страшна. Вот и сейчас Леночка стояла на горке, замороженная молчаливым лесом. Что заставило ее оглянуться, она не смогла бы объяснить, а оглянувшись, увидела: стоит поникшая над чьей-то могилой ее красавица, похожая на Лекуврер.

Защипало в глазах от умиления, махнула Леночка длинными ресницами, а черная фигура своей летящей походкой уже медленно удалялась к воротам...

Если придется вам быть в Барнауле, придите на старое кладбище у речки Барнаулки. Взойдите на горку, посмотрите на бор, а потом заверните налево и внутри квартала среди старых могил под сосной без ограждения увидите черный камень с синими блестками, на котором скромная надпись: «Поэт Вад. Шершеневич».

Постойте минуту в молчании.

Ведь кладбища устраивают не для мертвых (мысль не нова), а для живых. У них, у мертвых, есть огромное преимущество перед нами: они уже не совершат ни одной ошибки. А нам нужно уметь учиться на их опыте и, зная итоги их жизни, уметь быть благодарными за науку.

Виктор ХАРЧЕНКО

ДАЛЕКО В СТЕПИ

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

Глава 1

Ровно в полночь Баба Па седлала старую, недавно выкрашенную охрой метлу и начинала привычный облет своих нелегальных владений. Сначала она просто шныряла по небу, наслаждаясь свободой и высотой, а потом, прищуря единственный глаз, намечала себе первую цель и устремлялась к ней с весьма современной скоростью, производящей всякий раз огромное впечатление на недотепу Танюшку. О ее появлении в воздухе, как это ни странно, свидетельствовало электричество. Около полуночи во всех домах на несколько секунд потухал свет. Никто в деревне не знал, как Баба Па этого добивается, но все знали, что это — она.

Баба Па не любила людей. Она строила им всякие козни, пытаясь отомстить, наверно, за свое несусветное одиночество. Ее развалюха стояла на третьей, самой дальней улице, никто не ходил к ней в гости, родственники не объявлялись, и неизвестно было, откуда она сама взялась. Раз в несколько лет по инициативе какой-нибудь соседки в ее пропыленный домишко робко протискивались пионеры и с гримасами на лицах делали генеральную уборку. На это время она запиралась где-нибудь в кладовке. Как сообщила любопытная Оксанка, она ела там рыбные консервы. А по истечении некоторого времени в редакцию районной газеты приходили странные письма, в которых разобрать можно было только одно написанное каким-то древним колдовским шрифтом слово «спасибо». Редакция писем не печатала.

Почти никому не удавалось увидеть ведьму в полночь. Только одному человеку в деревне Баба Па доверяла и не скрывалась от него: этим человеком была местная дурочка Танюшка, не умевшая выговаривать слова. Танюшка и дала Бабе Па, как, впрочем, и почти всем в деревне, ее прозвище, заменившее трудную фамилию Пакина. Поговаривали, что двадцать с лишним лет назад, когда Танюшке было около годика, Баба Па поймала ее где-то за пригоном и заговорила ей язык, которым люди творят так много бед.

Ненависть к людям и еще страх перед ними, что всегда присутствует среди прочих чувств всякого властителя, толкали ее на самые безрассудные поступки. В приступе бешенства она не могла дотла высушить поля, только что давшие всходы, но зато она могла в самый разгар сева заполнить пересохший котлован пивом, а в лужи на улицах нацедить марочного вина мадера. Ее колдовская диктатура не распространялась только на приезжих. Но до времени. Может, нездоровый Танюшкин интерес к молодым приезжим учителям передался и ведьме. Типовой кирпичный дом у школы, где, как в общечитии, жили учителя, стал излюбленным местом ведьминых козней.

Учителей было трое: две крепкие розовощекие воспитательницы Ия и Сета, окончившие педучилище, и дипломированный специалист-

словесник, только что выбравшийся из пеленок студенчества, серьезный, с длинным носом и печальным прищуром глаз, которого Танюшка прозвала Майчиком.

Глава 2

Сначала Баба Па сделала все, чтобы отбить у педагогов всякое желание работать: ленивые люди всегда более беззащитны, с ними легко сладить. Поздней осенью, когда уже выпал снег и ветер сорвал последние листья с деревьев, Баба Па притащила с собой на метле к дому учителей маленький аккуратный пульверизатор. Она знала: Майчик уже спит, а девушки только что погасили свет и еще болтают о чем-то в темноте. Предвкушая высочайшее наслаждение от их испуга, Баба Па не стала ждать, пока они заснут. Она нарочно стукнула форточкой, открывая ее. Сразу же там, внутри, воцарилась гробовая тишина. Спустя мгновение раздался отчаянный стук двух человеческих сердец. Баба Па ухмыльнулась.

— Котик, — дрогнувшим голосом позвала Сета.

— Что это? — спросила Ия.

— Котик, — еще тоньше пропела Сета.

Они напряженно помолчали. Через минуту беспорядочный бой сердец начал затихать. Но полное успокоение пришло только после того, как обе засмеялись в голос, в котором еще роились молекулы страха.

Баба Па выждала, пока они заснут — для развлечений уже не оставалось времени, — и тихонько просунула в форточку пульверизатор. Нажав рычажок, она стала наполнять комнату бледно-желтым туманом. Туман медленно растекался по углам и постепенно заполнил всю комнату. Когда пыльными змейками он пополз из спальни в зал, Баба Па почувствовала опасность. По школьной улице в эту сторону шел человек. Он шел неуверенно, спотыкаясь на каждом шагу, а в руках у него знакомым голосом Боярского хрипло пел магнитофон. По магнитофону можно было сразу определить: идет Саса. Баба Па до смерти боялась его добродушной нецензурщины и, позабыв даже отпустить рычажок, бесшумно, но как-то суетливо полетела прочь. Следом за ней тянулся густой бледно-желтый дымчатый хвост.

А к утру над деревней повисло тяжелое сонное облако бледно-желтого цвета. Оно опускалось все ниже, увеличивалось в размерах, заползало во все щели и дыры, двери и окна, окутывало спящих людей и заражало их ленью. Облако лени висело над крышами до восхода солнца. Солнечные лучи рассеяли его, но в этот день полдеревни проспало на работу. Даже те, кто работал, чувствовали неодолимую тяжесть во всем теле и готовы были заснуть хоть стоя. Эпидемия повальной лени продолжалась несколько недель. Ученики спали на уроках, учителя не могли ворочать языком, доярки просыпали дойку, скотники не находили в себе сил накормить оголодавших телят, а управляющий несколько дней подряд не появлялся в конторе. Даже сменить фамилии передовых рабочих на листке соцсоревнования стало некому. Кроме того, был понесен и некоторый материальный ущерб. Бригадир Бурко, заснув прямо за рулем, на белом «шиньоне» врезался в столб и разбил левую фару.

Ия и Сета перестали писать планы уроков. Кое-как дождавшись последнего звонка, они волочили ноги домой и, позабыв про обед, бросались в объятия подушек и одеял. Подъем начинался уже затемно и продолжался около часа. Несмотря на все это, иногда они, накинув пальто прямо на домашние халаты и сунув босые ноги в валенки, успевали сходить в клуб, где дядя Митя показывал индийский фильм.

А Баба Па, запершись на несколько дней в своей трухлявой избе, жестоко переживала, что так глупо истратила весь драгоценный запас

ленивого дымка. Ее слезы стекали в щели между половиц и до краев заполнили полуразрушенный погребок, в котором догнивали остатки прошлогодней картошки.

Глава 3

Майчику в ту ночь повезло больше других. Его комната была отделена от комнаты Ии и Сеты большим полупустым залом и коридором, так что дымок проник к нему в значительно рассеянном виде уже к утру. Проснувшись в этот день раньше времени, Майчик сразу заметил желтый туман под потолком. Хотя никакого запаха не было, он открыл окно и входную дверь, потом почти голый пошел на кухню и проверил газовый баллон. Баллон был закрыт. Майчик обрадовался: сегодня на целый день ему было о чем поразмыслить. Вглядываясь близорукими глазами в тающий под напором света туман, он глотнул несколько доз и уже не нашел в себе сил напустить его в стеклянную банку, чтобы сохранить для будущих исследований. Не одеваясь, Майчик сел за стол, сделал слабое умственное усилие. Мысли бестолково кувыркались в голове и вязли в тягучем и липком желании поспать. Это было удивительно и безнадежно непонятно.

Майчик любил умственный труд. Еще в детстве, гуляя в диком саду за деревней, он нашел под кустом смородины необыкновенную зеленую ягоду. Ягода была червивая, но очень большая. Бесстрашно затолкав ее в рот, Майчик почувствовал в себе неистребимую страсть разлагать мир на кусочки. Со временем страсть притупилась, но осталась то ли привычка, то ли тихая любовь к анализу.

Майчику захотелось понять желтый туман. Он долго боролся с ленью и дремотой, ходил по комнате, делал зарядку — все без толку. В это время встала Ия.

— Проклятая Баба Па, — сказала Ия, разглядывая себя в зеркале.

Майчик поздоровался устало и без воодушевления:

— Привет, Котик.

Ему даже не пришло в голову, что Баба Па и желтый туман как-то связаны между собой. Мучила необходимость одеваться и идти в школу.

Почему-то вдруг отчетливо вспомнился резиновый запах коридора и кокетливая фраза директрисы, когда она в первый раз познакомила его со школой: «Дореволюционная, но работать можно». Тогда ему даже понравились низкие дощатые потолки, неширокие окна без штор, пол покато, облупленные и горбатые стены, но сейчас эти образы обретали для Майчика свой первоначальный смысл.

— Не пойду в школу, — сказал Майчик.

Ия удивилась:

— Почему?

— У меня аллергия к скрипу дверей.

Ия засмеялась.

— А кто же будет делать поэтов из твоих пятиклассников?

— Только не я. Пусть ветер, роса, природа... бляенье овец, что ли, только не я.

Стаскивая Сету с постели, Ия объявила ей жизнерадостно:

— Сета! Вставай! Наш Шаталов сломался!

Школа стояла в самом центре села, но со школьного двора были видны крайние хаты всех трех улиц. Если подставить к бревенчатому боку школы лестницу без одной ступеньки и влезть на крышу, как это часто делали двоечники-восьмиклассники, то кажется, что деревня — это остров, а степь вокруг нее — это река с цепочками лесополос по берегам.

В то утро Майчик все-таки нашел в себе силы переступить раскисший от тающего снега порог школы. Выписывая на классной доске «Двадцать шестое октября», он думал о своей маленькой казенной подушке. Он думал о ней неустанно, и все уроки провалились, превратившись в сонную череду вопросов, ответов и препираний с «Михелем». На переменах донимала совесть. Когда из класса вылетал последний ученик, в приоткрытую дверь бесшумно прошмыгивала маленькая аккуратная старушка в белом чепце. Назидательно хмурая и без того сморщенный лобик, она выставляла вперед указательный палец и грозила им покрасневшему от страха и стыда учителю, пока не всхлипывал первый звонок. На последнем уроке трое из четырех возможных пятиклассников, спекулируя на доброте и мягкотелости учителя, встали на уши. Уставившись на поднятые кверху ноги в потрепанных детских ботинках, Майчик разозлился не на шутку, но сдержал себя из педагогического принципа. По дороге домой он встретил Тещу с бутылкой за пазухой.

К вечеру в доме учителей собрались все деревенские забулдыги. Они шумно пили, хохотали без причины, обнимались в табачном дыму, роняли на пол окурки и пробки. Саса Дзю привел с собой родича из Москвы, одетого в белый спортивный костюм и очень сдержанного. Родич пил много, но молча, и часто с ненавязчивым любопытством поглядывал на Майчика. Немного опьянев, он облокотился на стол и риторически возмутился:

— Как вы тут живете?!

Подсоленные крепкими словами протесты и возражения его не убедили. Он подумал и повторил, качая головой:

— Как вы тут живете?

Ия и Сета, запершись в своей комнате, злились на Майчика. К ним несколько раз пытались войти, но они умели разговаривать с пьяными через дверь.

Около полуночи все уснули в зале на полу. Сета вышла на кухню попить воды. Майчик, видимо, услышал, как она прошла, и, полураздетый, вошел следом. Он поживался от холода, но глаза его радостно блестели. Скромно остановившись рядом, виновато улыбаясь, он сказал:

— Котик, я понял, это Баба Па напустила желтый дым.

Первый раз Сета видела Майчика таким жалким и смешным. Снисходительно усмехнувшись, она вылила воду из стакана ему на голову. Майчик почувствовал себя прощенным и, думая продолжить игру, облил Сету из ведра. Сета громко вздохнула от неожиданности, вспыхнула и вылила на Майчика второе ведро. Стены па кухне потемнели от воды. Когда на шум прибежала Ия, Майчик, смеясь, взял холодный чайник и замахнулся.

— Лей! — сказала Ия. В ее голосе прозвенело железо.

Майчик поставил чайник на место и изобразил на лице пьяный испуг. Ия чеканила слова:

— Бери тряпку. Мой пол.

Майчик послушно выполнял приказания, но это не помогло. Они поссорились почти на целые сутки.

А утром Майчик во второй раз за эту осень ощутил внутри себя пустоту. Первые несколько дней жизни в незнакомой деревне он носил в себе этот безвоздушный шар, который лопнул, как только четыре пятиклассника застучали кулачками по партам от удовольствия на его уроке и затопали ногами. Теперь Майчику казалось, что пустоту ничем нельзя задуть. Он пробовал читать стихи, но слова замертво, как в могилу, проваливались в бездну и пропадали. С могилой в душе Майчик пошел на деревенское кладбище, думая оставить ее там, но, возвращаясь домой, не почувствовал облегчения.

Его спасла Баба Па. Она сидела возле магазина на ящике от пива, положив на колени тряпичную авоську. Одета она была обыкновенно:

серая шаль на голове, серая потрепанная фуфайка и большие черные валенки в калошах. Так одевались здесь даже дети.

Проходя мимо, Майчик продолжительно посмотрел в ее хитро прищуренный глаз и так напугал ее своим любопытством, что она даже не ответила на его робкое «Здрасьте». Такого любопытства к себе Баба Па никому не прощала. Наказание, которое она придумала в этот же вечер для Майчика, избавило его от пустоты в душе, но принесло с собой много новых страданий.

Глава 4

У Лялечки из Барнаула была розовая куртка с мягко потрескивающей молнией, и Майчик всегда вспоминал ее, когда видел розовый цвет. Среди своих современных друзей, называвших себя золотой молодежью, Лялечка выделялась только тем, что училась в университете. Но зато все ее друзья резко выделялись из серой толпы, носившей черные отечественные ботинки на каблуках и простенькие брюки с мятой стрелкой.

Лялечка жила в самом центре, в башне из слоновой кости с деревянным лифтом. Майчику нравилось провожать ее домой летней ночью, потому что от жидкого света реклам на Ленинском проспекте ее куртка становилась то фиолетовой, то синей, и сама она делалась загадочной и непонятной.

Майчик вспомнил про нее, когда в дом заволокло вбежала Танюшка и вместо обычного «Е!», тараща глаза, закричала на весь зал:

— Та се идё ровы! — При этом она махнула рукой на улицу и проглотила слюну.

Майчик, приподнявшись на диване, выглянул в окно. За окном шел розовый снег. Большие, пушистые хлопья медленно опускались на дорогу, быстро образуя рыхлые сугробы розового цвета. На носу соседской дворняжки Рекса розовый пушок таял, искрясь мелкими льдинками. Снег по цвету был точно таким, как куртка Лялечки.

Ия и Сета, ничему не удивившись спросонья, позвали Майчика на улицу побалдеть.

— Я не умею, — сказал Майчик, торопливо натягивая шубу.

На улице стояла жуткая тишина. От крика Танюшки и визга девушек, повалившихся в сугроб, с деревьев посыпался розовый пух. Майчик взял комок снега и попробовал его на вкус. Сета, глядя на него сквозь редкие снежинки, засмеялась хрустальным смехом, и тут Майчик почувствовал первый укол в сердце, от которого лопнул внутри безвоздушный шар. Они посмотрели друг на друга, как заворуженные, но одна только Ия поняла в тот вечер, что произошло. Майчик и Сета тогда еще не догадывались, что Баба Па приворожила их розовым снегом, что они влюблены. Как в красивом кино, они бегали друг за другом, кувыркались в снегу и вместе со снегом растирали на лицах друг друга розовые капли нежности. Майчик забыл про Лялечку, Бабу Па и про все остальное, но душа его была тяжелой и высокой, как этажерка с книгами, стоявшая в его комнате.

Глава 5

В день розового снегопада все село одолела любовная истома. В гости к учительницам ухажеры ломились толпами. Ия и Сета в общей тетради завели досье на каждого из них и каждый день заносили туда записи типа: «У длинного женские часики», «Рома все время хохочет без причины», «Куча косолапый и в грязных носках», «Соловей, не разуваясь, вошел в спальню и в мокрой куртке сел на пододельник», «Лешка Х. привез мешок арбузов».

Чаще всех приходил Теша. Около пяти часов вечера дверь с гро-

хотом открывалась, и в дом вливалось шумное течение. По течению, слабо сопротивляясь ему и с силой отшвыривая набухшие от воды щепки и водоросли, плыл Теша. Ему нравилось плыть по течению: он улыбался от удовольствия и матерился.

— Топ-топ-топ, Теша! — вскочив с дивана, зажигательным тоненьким голоском пела Сета.

— Ё!

— Ё, Тешинька, — они здоровались Танюшкиным словечком и жали друг другу руки.

Ия обычно встречала Тешу с более равнодушным видом, не двигаясь с места, но отвечала на приветствие тоже заодно.

Теша снимал тапочки в коридоре, выкарабкивался из воды и тогда коротко и серьезно здоровался за руку с Майчиком. Сета принималась язвить и приятно издеваться над бесцеремонно вытряхнутой из ребер Тешиней душой, садилась ему на колени, гладила по лицу, ворковала:

— Ну, как Марья? Ничего? Передал от нас привет? Тешинька, ну что же ты!..

— Мать твою так! — говорил Теша и применял силу.

Упоминание о толстухе Марье, с которой у Теши было нечисто, сердило его и чуть стыдило.

Майчик в три дня похудел от неожиданной ревности. Сета не хотела, чтобы узнали об их любви, и многое себе позволяла в обращении с гостями. Было много ссор. Иногда, усевшись напротив, Майчик и Сета подолгу черпали друг у друга серебряными черпалками душевные силы, которые восстанавливались только в минуты счастья. Потом, сложив черпалки на нижнюю полку этажерки, они расходились спать. Майчик выдерживал самое большее двенадцать часов одиночества, после чего около часу выпрашивал прощения.

Через много лет, поглаживая густые Сашкины волосы, Сета признается ему, что где-то в это время, когда вдрызг разругались с ухажерами (чем-то наконец обидели их), была та ночь, которую, несмотря ни на что, называют самой счастливой в жизни.

Вечером пили пиво, потом много дурачились, кувыркались в зале на диване. Вдвоем Ия и Сета легко справлялись с Майчиком, за малейшую провинность выкручивали пальцы, таскали за волосы, связывали, пока не обессилели совершенно. По телевизору шел какой-то эстрадный концерт; Майчик стащил Ию с дивана и демонстративно поклонившись, пригласил танцевать. Сета задремала в одиночестве. Сквозь сон она слышала, как кто-то прошептал: «Тсс», как потом выключили телевизор и все стихло. Через некоторое время кто-то легонько щелкнул ее по носу. Она проснулась сразу, потому что сразу все поняла.

— А я сейчас с тобой лягу, — не то угрожая, не то упрасывая, сказал Майчик.

Он стоял немного сконфуженный, но в движениях его была решимость и не было привычного чужого холодка. Сета молчала. Притаившаяся за спиной Майчика луна вдруг хлынула в глаза, когда он наклонился, и от этого ее лицо стало бледным и чуть светящимся. Диван безбожно заскрипел. Сета даже не спросила, спит ли Ия, — ей было все равно, и сама обняла Майчика за шею, прижалась к нему, чтобы он больше не ушел и не стал чужим и равнодушным, как обычно.

Когда они устали целоваться, Сета сказала:

— Пойдем пить пиво.

Майчик сделал движение, чтобы встать, но Сета еще крепче обняла его и прошептала, как ребенок выпятив губки:

— Я тебя не отпущу.

Глава 6

Любовь их поглотила целиком. Они любили друг друга и днем, и ночью, и даже во время занятий, как дети, писали друг другу записки. Майчик дошел до того, что послал к черту опрятную старушку в белом чепце, надоевшую до остервенения, и та, скорчив обиженную гримасу, ушла, быть может, навсегда.

Сета, то и дело вспоминая прежнее непрошибаемое равнодушие Майчика, никак не могла поверить в искренность его любви. Она обвиняла во всем пиво и говорила, чтобы завтра он к ней не подходил. Иногда ночью она плакала. Она не хотела, чтобы Майчик видел, как она плачет, и отворачивалась, но плечи ее сильно вздрагивали. Майчик прижимался щекой к ее волосам и молча целовал шею. Она плакала точно так, как его младший брат в детстве после драки, и слезы были на вкус точно такие.

И все-таки любовь поглотила их целиком. Все остальное стояло где-то в стороне и нагоняло смертную тоску. О том, что существует другая жизнь, напоминал только почтальон, хлопающий дверью на веранде. О все еще слегка задевающих за душу новых приемах и методах педагогики напоминала директор Власова, вывешивавшая в учительской на доске объявлений интересные номера «Учительской газеты».

Однажды действительно пришел интересный номер. На абсолютно белом развороте газеты в две полосы крупным шрифтом было напечатано: «Сотрудничать, а не муштровать!» Больше никаких материалов в газете не было. На директора этот номер произвел впечатление, и она, не раздумывая, прикрепила его на доску, так что разворот закрыл все остальные приказы. Выполнив эту работу, директор увидела просунувшееся в дверь учительской любопытное лицо пятиклассника Бондарева.

— Закрой дверь, Бондарев! — жестко сказала она и отошла подалее посмотреть, как выглядит материал со стороны.

Директор благоволила к молодым учителям, с которыми ей в этом году — она не раз это подчеркивала — повезло. Но сборник приказов и программа всякий раз становились похожими на Библию, когда она брала их в руки. Она была доброй формалисткой.

— Уедем мы отсюда, и ничего вы нам не сделаете, — наглова то откровенничали с ней Ия и Сета.

— А я ничего и не буду делать, — говорила директор, привыкшая к текучке. — Умные люди здесь не остаются. — И, помолчав, добавляла неуверенно: — Мне-то новых пришлют, а вы вот годик стажу набросите.

— Ой, да нужен нам этот год! Зато в городе будем жить!

Майчик чуть ли не в первый день после приезда полушутя заявил директору:

— Я здесь не женюсь!

И всю осень они жили, как цыгане на вокзале, в постоянном ожидании, что все это скоро кончится.

Глава 7

Агроном отделения Золотко первым раскрыл новое преступление Бабы Па. Постоянные заботы, постоянная надуманная ответственность перед всем вокруг выработали в нем острое чувство времени. Это было его шестое чувство, разбудившее его долгой ноябрьской ночью и вселившее тревогу. Золотко в любое время с точностью до пятнадцати минут мог определить, который час. Проснувшись той ночью, он почувствовал, что время остановилось.

Будильник показывал две минуты пятого, но уже не тикал. Золотко попробовал его завести.

— Сколько время? — спросила жена.

— Нисколько, — пробурчал агроном, сломав заводной ключ.

Потом он порылся в ящике для старой обуви, вытащил оттуда порыжевший от времени фонарь и торопливо вышел на улицу.

Баба Па колдовала у соседей через дом. Она почуяла шаги агронома, вылезая из окошка в чулане, и быстро нырнула в темноту. В руках у нее была канцелярская печать и чернильный тампон, который она сунула в карман, когда ухватилась за метлу.

Золотко услышал стук ставни и завернул к соседям.

— Кто? — ответили на его долгое тарыхтенье в окно из темной глубины комнаты.

— Игнат, сколько времени? — спросил Золотко.

Игнат долго возился в комнате, потом зажег свет и со стуком вышел во двор. Залаяли собаки. В руках у Игната громко тикал будильник.

— Четыре, а чо? — сказал Игнат, с опаской почему-то поглядывая на агронома.

Время пошло. Золотко вздохнул и объяснил:

— У тебя щас кто-то лазил под окнами.

— А-а! — Игнат сообразил, наконец, и подошел к окну, где было посветлее.

Они закурили. Золотко заметил на лбу Игната большую фиолетовую печать, похожую на пятно сажи.

— Что это у тебя? — удивился он.

— Где? А, наверно, мазут. Умываться некада было.

Утром все село отмывало от своих лбов густые чернильные пятна. Без мет остались только двое: агроном Золотко и старый фронтовик дед Комар, тревожно спавший в эту ночь.

Полоумная Танюшка две недели не смывала печать.

— Баба Па бы ночь! — восторженно кричала она всем подряд, тыча себя пальцем в лоб.

Баба Па специально остановила время, чтобы успеть за ночь пометить всех подвластных себе людей. Вооружившись печатью и чернильным тампоном (чернила были с какой-то примесью), она проникала в объятые сном дома и осторожным прикосновением помечала людей, в груди которых застыло время. Когда проснулся Золотко, дело было уже практически сделано.

Ия и Сета выводили свои пятна стиральным порошком, а Майчик тер лоб простым хозяйственным мылом. Печать исчезла, но у всех осталось на лбу что-то похожее на маленькую родинку.

Глава 8

На следующую ночь Ие и Сете приснились удивительные сны. Ия увидела во сне большой плот, плывущий по реке. На плоту было много знакомых людей, и все они спали. Ия стояла среди спящих людей, держа в руках тяжелое весло, и ей очень хотелось остановить плот. На берегу тоже было много людей. Они почти не обращали на Ию внимания, только иногда кто-нибудь, смеясь, выкрикивал в ее сторону циничные шутки. У нее не было сил ни кричать, ни ворочать веслом. Потом она уронила весло в воду и стала тормозить спящих. Никто не просыпался, только толстая учительница математики приоткрыла глаза и улыбнулась.

— Где наша школа? — спросила Ия, чуть не плача.

Учительница улыбнулась еще раз:

— При чем тут школа, ведь так хорошо плыть?!

А Сета видела во сне Майчика. Они шли вдвоем по какому-то красивому городу и держались за руки. В городе было всего три улицы, он весь был на виду, и Сете казалось, что когда-то раньше она здесь

жила. Майчик, размахивая руками, рассказывал историю больших домов и церквей, мимо которых они шли, и называл фамилии архитекторов. По городу вместо машин ездили комбайны и трактора МТЗ. Кругом было много садов и фонтанов — пожалуй, даже больше, чем в Барнауле. Люди встречались редко. Почти все здоровались с Майчиком и Сетой или махали им издали рукой. Почему-то они были в модных клетчатых штанах, но никто не обращал на это внимания.

Потом они пришли к своему кирпичному дому и открыли скрипучую зеленую дверь.

— У нас все по-прежнему! — с веселым вздохом сказала Сета.

— Ага, — лениво шепнул ей в ухо Майчик.

Глава 9

Образ Лялечки в розовой куртке постепенно смывался в памяти, как брусок пахучего мыла «Ландыш». Иногда он вдруг вставал перед глазами, фантастически преобразившись и приобретая цвета самые яркие, но это происходило только в минуты нечаянно попадавшей в гости к Майчику тоски. Тоска обычно садилась в углу, под репродукцией Айвазовского, и, положив ногу на ногу, хрипловато, с каким-то башкирским акцентом затягивала длинную песню о шумных городах, где много людей, несущих в ладонях солнце.

Сета неплохо рисовала и однажды сделала портрет Майчика: он выглядел на нем задумчивым и с отражением поющей тоски в глазах. В ответ Майчик написал на листочке в клетку шекспировский сонет № 130.

— Это тебе, — напыщенно сказал он и сам же, запинаясь, прочитал:

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь...

— Дурак, — сказала Сета, решив, что он сам сочинил всю эту белиберду.

Сете приходилось довольно часто, меняя только интонацию, повторять это выразительное слово. Возомнив себя Пигмалионом, Майчик по поводу и без повода читал для Сеты стихи.

В пятницу они поссорились. Это была не первая их ссора, но она оказалась последней.

Утром из-за горизонта на западе неожиданно выползло вчерашнее солнце. За день работы оно успело полностью сгореть и теперь было черным, как майский жук. Пошевеливая стройными ножками черных лучей, солнце медленно карабкалось по небу вверх. Все, кого коснулись в тот день его лучи, стали видеть все в черном свете.

Возвратившись из школы, Майчик застал Сету за работой: она что-то писала.

— Сколько можно говорить, не сутулься! — раздраженно сказал Майчик.

— Ладно! Садись лучше сюда, — отодвинувшись на краешек стула, она притянула его к себе и стала объяснять. — Завтра собрание, не забыл? Кровь из носу — надо доклад. А ты почему такой лохматый?

— Что ж, секретарь поручает это дело мне?

— Да, как самому сознательному комсомольцу, — и она улыбнулась.

Майчик поморщился:

— Котик, брось ты это, зачем нам доклад? Все свои люди, — посидим, поговорим.

Сету это не устраивало. Она в лицах изобразила, как будет идти такое собрание, как она сама будет краснеть, и не отставала.

Майчик никак не мог понять, зачем убивать часы драгоценного времени на какой-то липовый доклад. Тогда он сказал глупость. Он сказал:

— Что я, самый умный?

Сета заперлась в своей комнате и до вечера не разговаривала с Майчиком.

Раньше Майчик не так представлял себе разрыв. Он представлял жестокие слова, слезы, жалость к ней, а не к себе. Ничего этого не было. Она ушла сама, наверное, разгадав все его ничтожество.

На собрание он не пошел. Уткнувшись головой в подушку, он задавал себе вечный вопрос: «Зачем все это?» — и с каждой минутой все острее чувствовал, как разрастается в его груди пустота. Они ведь совсем разные люди, они совсем не понимают друг друга. Зачем тогда они любят? Он был один в этой глухой, холодной степи, его некому было пожалеть. Тогда он вспомнил про Бабу Па.

«Она меня спасет!» — подумал Майчик и ухватился за эту мысль, как за последнюю надежду спастись от боли одиночества.

Не дожидаясь возвращения Сеты, он вышел на улицу. Школа, мимо которой он шел, была такой же покинутой и одинокой, как и он сам. Вся она съежилась, насупилась, а с одного ее подоконника, как слеза, сползала к земле большая, грязная сосулька. Уже было темно, и в учительской горел свет. Стараясь не смотреть в светящиеся окна, Майчик широким шагом прошел мимо. Скрип снега под ногами гулким эхом метался в его пустой душе. Впереди дорогу перешел пьяный мужик. Где-то урчал трактор. Во многих домах — это было видно по свету из окон — смотрели телевизор.

Майчик редко бывал на третьей улице, где живет Баба Па, знал только понаслышке. Спрашивать было неудобно, но он все равно подошел к магазину — там обычно в это время был народ. На деревянной лавочке возле магазина, закрыв лицо руками, сидела девочка в модной адидасовской курточке. Девочка плакала. Майчик сел рядом и спросил:

— Почему ты плачешь?

Сначала она не хотела отвечать, а потом выдавила сквозь слезы:

— Они все смотрели, смотрели и... вот!

Весь рукав ее белоснежной, совершенно новенькой курточки был как будто истыкан раскаленными иглами. Маленькие, оплавленные по краям дырочки сильно портили вид обновы.

— Кто они? — не понял Майчик.

Девочка кивнула на дверь магазина, приглушавшую базарный гул покупателейских голосов.

Майчик предложил:

— Пойдем к Бабе Па, она все сделает как было.

— Я боюсь... — пролепетала девочка.

Найти дом Бабы Па оказалось нетрудно. Это был самый маленький, самый одинокий домишко на третьей улице. Два его низких окошка еще светились. Открыв дверь и стукнувшись головой о дверную перекладину, Майчик шагнул в темноту сеней. Следующая дверь оказалась на крючке. Баба Па долго неуверенным голосом допытывалась, кто пришел, и наконец, ударив чем-то тяжелым по крючку снизу вверх, открыла Майчику. В комнате горела электрическая лампочка. На деревянной полке в углу в несколько рядов стояли консервные банки «скупбрия». Все остальное было дореволюционным.

Баба Па быстро сообразила, зачем пришел Майчик. Не предложив ему присесть, она достала из тумбочки стакан и бутылку, в горлышке которой торчала самодельная бумажная пробка. Этикетка с бутылки была содрана.

— Выпей, полегчает, — сказала она уверенно и налила полстакана лекарства.

Майчик выпил.

Горечь и жжение во рту не прошли даже когда, поеживаясь от холода, он возвращался домой. Но зато во всем теле его была какая-то необыкновенная, непонятная легкость. Перепрыгивая сугроб возле киноафиши, он, как космонавт, повис на мгновение в воздухе и потом с большим трудом, рывками приземлился.

Как раз в это время произошло то, что давно должно было произойти. Майчик увидел еще издали, как задрожало и заскрипело неуклюжее здание школы, как потом тяжело, будто стельная корова, приподнялось одним боком и приоткрыло шевелящиеся снизу, под полом, большие куры ноги. Подойдя ближе, Майчик насчитал их шесть: они были очень грязные, залепленные плесенью и комьями сырой земли, а по величине напоминали лапы динозавра. Когда они осторожно переступили фундамент, грязь осыпалась, и на них вздулись мускулы, как у атлета, поднявшего штангу. Тяжело поскрипывая, пошевеливая, как гусеница, складками бревен, школа медленно сползала с насиженного места и загромождала собой дорогу. Потом она притихла на минуту, как бы раздумывая о чем-то, вздрогнула всем телом и двинулась куда-то в степь, унося с собой зеленый транспарант с надписью «Добро пожаловать» и красный пожарный щит с ведрами и лопатами.

Бешено лаяли собаки, проснувшиеся от скрипа и грохота. Жалобно завыл неподалеку Рекс, разбудив соседского Сережку. Выглянув в окно и мигом сообразив, в чем дело, Сережка засмеялся и потер ладони в предвкушении больших и, наверное, счастливых перемен.

На том месте, где стояла школа, среди хлама и полусгнивших досок Майчик нашел пожелтевший от времени сборник приказов № 33 за 1978 год. Было до тошноты скучно его читать. Листая страницу за страницей, Майчик долго стоял среди безмозглой, тоскливой тишины. Около девяти часов вечера его не стало. Пустота, постепенно заполнившая все поры его тела, лишила его собственного веса и вместе со сборником приказов с силой вытолкнула куда-то вверх, в пропасть, в объятия тупых, холодных звезд. Навсегда.

Никто в селе не удивился исчезновению молодого учителя — к подобным явлениям привыкли, — и только Сета однажды, оставшись в комнате одна, тихо заплакала. На том месте, куда стекали ее слезы, через много лет вырастут розовые цветы, которые сорвет пастух из соседнего села и подарит своей маленькой дочке Светке.

Антонина ЗЛОБИНА

НЕВЕЗУЧАЯ ЗОЙКА

Зойка, черноглазая, стройная, как молодая березка, с вьющимися рыжеватыми волосами, с лицом, усыпанным разного калибра веснушками, и в тридцать лет казалась озорной девчонкой. А в то время, когда она ходила в студентках, слыла красавицей. Деревенская добрая хохотушка с черными, как смородинки, глазами, она никогда не унывала. Училась легко. Жила только на «степешку», но умудрялась купить шелковые чулки и сама сшить модное ситцевое платье к каждому празднику. Занималась спортом — за одиннадцать и семь пробегала стометровку, прекрасно играла в волейбол, пела под гитару, сама же себе аккомпанируя. В нее были влюблены все механики из параллельной группы.

Но Зойка выбрала одного, и вовсе не студента. Это был Толька. Красивый, русский парень с голубыми большими глазами, с пшеничной гривой кудрявых волос. Внешностью да и удастью походил на Сергея Есенина, за что его и звали «Есенин». После десятилетки служил в Китае, а демобилизовавшись, пошел работать поммастера на пятьсот двадцать первый завод, который только что рождался — еще вовсю шел монтаж оборудования. Обучение за два месяца прошел на «малом капроне» и теперь трудился с монтажниками под присмотром иностранных специалистов.

Деньги получал приличные, оделся с двух-трех зарплат. Купил гитару и стал постоянным посетителем всех «пяточков», или еще их называли «тырлочки».

Склонив голову набок так, что чуб касался левого плеча, пел «Клен ты мой опавший», и никто не оставался равнодушным, слушая его. До слез, бывало, собака, доймает. Вот за это-то и полюбила Зойка Тольку.

Жили по квартирам, пока был один сын Женька, а как Игорек родился, гнать с квартиры стали — кому дети чужие нужны, они сроду всем мешают.

Богатство было небольшое: пять мешков книг да два парня, вот и таскались они с ними по квартирам. Но больше полугода их никто не держал.

Толька любил читать и большую часть денег тратил на книги. У него бы уж не пять, а двадцать пять мешков было, если б не бессовестные люди. Он был добрый, последнюю рубаху снимет и отдаст, вот и пользовались этим, растаскивали книги кому не лень. Особенно безбожно грабили хозяева. Зойка просила:

— Тольк, ты бы подождал скупать книги. Вот капитально устроимся, тогда бы и покупал, мне денег не жалко, а книги жаль, что берут и не возвращают.

— Зойк, когда это мы капитально заживем? Я сейчас хочу читать.

На работе Зойка прослышала, что где-то за заводами на берегу Оби «нахаловка» есть, там все бездомные строятся. Толька на второй же день пошел после работы. И правда — строились люди. Стукоток шел — в два, три молотка бузовали. За сутки жилье сколачивали и заселялись. Тольке досталось место прямо за забором завода, больше

нигде не было, уже все занято. Кто пометил столбиками, кто кучу земли нагреб, а вот лопатой вырезаны пласты так, что надпись на земле гласит: «место занято» и ниже — «Ваня». Рядом так же, но только коротко: «Заминировано». Были места, где уже завезен стройматериал, так что мужики указали на единственное место у забора.

Только попросил у «нахаловских» лопату, прокопал дорожкой очертание дома и поздно вечером примчался к Зойке. С порога заорал:

— Зойк, Пульхерьюшка ты моя ненаглядная, строиться будем! Хватит таскаться по квартирам, батрачить на хозяев. Свою хату сколотим. Я уже место занял. Ой, и заживем, Зойка!

Он схватил ее на руки и закружил по чужой хате.

— Тише, ненормальный, детей разбудишь! — зашипела на него не зло, а скорее по привычке раскрасневшаяся от радости Зойка.

Всю ночь они проговорили.

— А ты знаешь, Зойк, почему поселок «Нахаловкой» прозвали?

— Почему?

— Да потому, что строятся сами без плана и без разрешения. Зойка, а там ребяташек у всех навалом. Говорят, от того, что нет электричества, рано спать ложатся, ну вот и плодятся хорошие детишки.

— Дурак, — засмеялась Зойка, — болтаешь чо попало.

— Зойк, а мы тоже еще родим, в новой хате, в своей.

— Родим, Тольк, обязательно, девочку, дочу, Олюшку. Пеленки повешаю где хочу, да и орать ей можно будет сколько хочет. Ой и заживем!..

— Зойк, а я себе турник поставлю.

— Да спи ты, трепло. Скоро на работу.

— Ты меня завтра не теряй, буду после работы доски колотить, пока на хату не заготовлю, не приду домой, а в выходной начнем строиться.

— Тольк, с тобой, что ли, вдвоем?

— Почему вдвоем? Помощь соберем. Зойк, заготовь водки бутылок двадцать.

— Одурел? Куда столько?

— Ведь помощь бесплатная. Все так делают... Зойка!

— Спи уж, через два часа вставать.

— А поселок теперь называется имени Гагарина. Я сам у Шлыковых домовую книгу видел. Нинка сказала, что первый дом сколотили Неверовы в день полета Юрия Гагарина, и смотри-ка, за два года триста домов поставили, а мы, дураки, ютимся у этих шкуродеров. Там не ходи, туда не лей, здесь не смей. — Только смешно передразнивал злую хозяйку, которая загрызла Зойку за ребяташек, а те — одному три года, другому полтора — шлепали по хозяйскому огороду, круша все на пути. Особенно доставалось ленивому коту, который, обожравшись, всегда лежал на дорожке, выложенной кирпичом, к флигелю, где жили квартиранты.

— Бывало, лежит и смотрит, — рассказывала Зойка, — как бегут мои сорванцы, и ни с места, подлец, так и хочет навести на грех, а те хватя его за хвост. Он, скотина, как заорет, а старуха тут как тут. И на меня: «Что позволяешь своим выродам кота мучить, накроила их, так смотреть надо. Завтра же ищите фатеру, не нужны мне такие фатеранты».

Зойка рассказывала и хохотала до слез. Щеки покрыл румянец, а веснушки еще резче выступали вокруг ее носика, и такая она становилась смешная, что хохотали, кто слушал, не над рассказом, а над Зойкой.

А еще, как она говорила, ей всю жизнь не везло. Стоит за мясом в очереди, только ей брать — мясо кончилось. Пойдет в столовую, только подходит к тарелкам, раздатчицу раздерет — куда-нибудь умчится. Выберет на платье ткань в магазине, отобьет чек, а продавец

ей: «У нас кусочек в остатке». Хотела дочь первую родить и Женькой назвать, нет, парень получился, но все равно Женькой назвала.

— Ну, вторая-то обязательно будет девка, — все говорили, — рожай, видишь, у Женьки сзади волосы косичкой, это уж верная примета. Но опять сын.

И так Зойка к этому привыкла, что уж и не сопротивлялась в жизни. Знала, по ее все равно ничего не будет.

Только, пока не наготовил досок, домой не пришел. Три дня ночевал на заводе, похудел, оброс. Тогда оборудование получали импортное из Италии, Англии, ФРГ и разрешали вскрывать для монтажа. Доски все строганные, длинные, ровные. Только на три машины наготовил, заплатил, нанял машины, вывез. За литровку «нахаловский» мужик согласился постеречь доски, пока Только сбегает на Большую Рабочую, жене покажется и вернется с гвоздями и молотком, уж тут и заночует. А утром чуть свет должны прийти товарищи с работы.

Все так и было. Еще солнце не взошло, Только, замотавшись в стеганое одеяло, дрыхнул на куче досок, а уж Барковский во главе, так как он самый старший, да еще профорг смены, а с ним двенадцать молодых парней поммастеров. К вечеру сколотили насыпнушку, засыпали шлаком с опилками. Зойка тут же на двух кирпичах жарила, парила, угощала. Дом рос на глазах. Вот уже стропила поставили, заканчивают обрешечивать, приготовлен толь. Вдруг со стороны очистных сооружений показались две «Волги». «Нахаловка» забеспокоилась — не к добру, знают. Просто так сюда на «Волгах» не ездят. Подъехали к собравшейся толпе около Толькиной стройки. Вышли из одной четверо в милицейской форме, а из другой наполовину высунулся, приоткрыв дверцу, толстый тип. Кто-то сказал, что это секретарь райкома. Следом за ними захрюкали два трактора, как танки, развернулись носами друг к другу и замерли в ожидании команды.

Со всех улочек и переулочек бежала «Нахаловка» — босые женщины с детьми на руках, да по два, а у кого и по три рядом за материнскую юбку держатся, мужики с топорами и молотками, собаки с лаем — все устремились к Толькиной хате. Бабы завывали — они-то знали, что к чему, не в первый раз громили «Нахаловку».

— Кто хозяин этой стройки? — из машины поинтересовался толстый.

Только без майки, загорелый, по лицу бегут грязные ручейки пота, кудри превратились в грязную мочалу. Лишь глаза были такие же, правда, распахнуты больше, чем обычно, как ставни голубые. Подошел ближе к машине и, растерянно почему-то улыбаясь, признался:

— Ну, я хозяин.

— Кто тебе разрешил закон нарушать?

— Какой закон? Здесь же свалка, кому я помешаю?

— Ты мне еще поговори!

— А жить-то где? Квартиру дадите?

— На-ка, выкуси, — пузатый поднес к Толькиному носу кукиш. —

Квартиру захотел! Заработай!

— А я чо, по-твоему, — обиделся Только, — груши обколачиваю? Семь лет на пятьсот двадцать первым вкальваю.

Подошли два милиционера, закрутили Тольке руки за спину и велели идти к машине. Зойка кошкой прыгнула к ним и стала кусать милиционеров за руки, за бока, за ноги, царапать и неистово визжать. Орала все. Кое-как отбили Тольку.

Пока спасали хозяина хаты, в это время два других милиционера зацепили канатами стены, и тракторами растащили Толькину хату, как спичечную коробку.

Зойка подбежала к толстому.

— Что вы делаете?! Где жить нам, у нас двое детей маленьких! Тот захлопнул дверку и, выглядывая в окно, крикнул:

— Не будете плодиться!..

Вечером явились оба тракториста, что растаскивали хату.

— Простите, мужики, ить мы не сами это надумали. Власть заставляла. Мы вот пришли — возьмите наши руки. Я могу печь сложить, а он рамы застеклить.

— Вы, мужики, закона не знаете, если шторы на окнах да дым из трубы идет, не имеют право, — поучал тракторист, что постарше.

«Нахаловские» мужики вместе с Толькиными строителями до рассвета восстанавливали насыпуху и даже маломальскую печь сложили, главное — вывели трубу. Зойка шторы повесила — «нахаловские» бабы дали, и даже печь затопила.

Утром перевезли барахлишко, книги, ребятишек. Зойка нарадоваться не могла:

— Тольк, неужели мы в своей хате? — смеется, а сама плачет.

— Да, в своей, в своей, Пульхерьюшка ты моя!

— Тольк, а вдруг опять трактора...

— У нас же из трубы дым идет, да и шторы зря, что ли, ты повесила?

Толька шутил, но какой-то не тот он стал, посуровел, морщина лоб поперек перерезала, да и от носу к уголкам рта, как кто борозды пропахал. Губы сжаты плотно и взгляд глубокий, тяжелый.

— Тольк, ты чо?

— С чего ты взяла, что «чо»?

А потом Толька запил. По-черному запил. Он не бушевал, никого не трогал. Напьется, закроет лицо руками, поставит локти на колени и тихо плачет. Плачет до тех пор, пока не уснет. Что только Зойка ни делала: и уговаривала, и плакала, и страдала, что уйдет от него, и даже пьяного побила пимом, а потом сама долго плакала, прижав его голову к своей груди. Лет десять билась, а потом смирилась. Плюнула на все и жила безрадостно, не то что смеяться, даже улыбаться разучилась. Говорила: «Я ему все равно за все отомщу!»

— Как ты ему, Зоенька, отомстишь? — спрашивали.

— Изменяю, хоть раз, да изменяю. Сгубил он мою жизнь, что я, бабоньки, вижу-то? Рожу его пьяную? Мы уж десять лет вместе не спим. Что мне эта «Нахаловка» — счастье принесла? Да сгори она синим огнем, эта насыпуха!

— Зоя, да она не загорится, хоть зажги, — шутили. — Она же глиной забита, да на хвостках держится. Вот если хвостки расползутся, хата развалится.

Но она крепко стояла двадцать с лишним лет. Уже и парни выросли, тесно стало. Пристроились. Отслужили в армии, поженились. Еще пристроили, уже сыновья. И Толькина насыпуха расшеперилась, как курица-парунья, забрав под крылья третье поколение — внуков.

А Толька все пьет. А Зойка все отомстить грозится. Плохо Зойке жилось, но то ли ее веселый нрав, то ли веснушки и девичья фигура делали ее лет на десять моложе своих однолеток. Так и говорили:

— Зой, ты все в одной поре, старость тебя не берет, и не толстеешь.

Зойка добавляла, смеясь:

— Не вяну и не цвету, но уже пахну. Ой, бабоньки, я бы еще лучше была, да бог осчастливил меня — любимая свекровушка изволили приехать. Заела она меня за Тольку. Одно каждый день — ты виновата, из-за тебя пьет. До тебя не пил. Сгубила детенка моего. Говорила — бери учительницу, нет, дурак, не послушался. Взял тебя, дуру общежитскую. Такую красоту сгубила, ведь вылитый писатель. — Зойка хохотала от души, передразнивая свекровь. — Вы знаете, что она говорит? «Ты мне должна ноги мыть и воду пить за то, что такого красавца вырастила для тебя, рыжухи суходраной, да задаром отдала». Изменяю я им, ей-богу изменяю, — смеясь, говорила Зойка.

Зойка работала в отделе внешней кооперации на одном из заводов. Однажды, находясь в командировке в Оренбурге, поселилась в новой гостинице «Оренбург». Прекрасная гостиница, номера в основном на два человека, телефон, новая мебель, ковры. И почти вся гостиница занята торгашами-южанами. Вонюща — пройти по коридору невозможно. Из всех скважин замочных прет гнилыми фруктами. Торгаши самоуверенные, наглые от того, что денежные. От них не было покоя ни на улице, ни в гостинице. То и дело звонили, стучали, по всей ночи хлопали двери — от оренбургских красоток отбою не было. Зойка не могла отключить телефон — ждала звонка с завода.

Напротив Зойкиного номера был люкс. В нем поселились двое военных. Один из них генерал, с ним довольно молодой полковник из Баку.

Вечером постучал в дверь полковник и, войдя, попросил иголку с ниткой пришить пуговицу. Зойка сказала: «Несите китель, я вам сама пришью, наверное, у меня это лучше получится». И пришила. Поблагодарив, полковник пригласил Зойку посмотреть кино. Зойка не отказалась, ей хотелось посмотреть, что из себя представляет люкс. Зойка, увидев такое богатство, даже растерялась, но виду старалась не показывать. Три комнаты: спальня, зал, кабинет с рабочим столом, книгами, телефоном. В зале телевизор, еще телефон, библиотека и всюду дорогие ковры.

Полковник заказал ужин. Через полчаса две официантки из ресторана, что находится на первом этаже, доставили еду. Зойка отказывалась сесть за стол. К счастью, зазвонил телефон — вызывала междугородняя. Двери Зойкиной комнаты и люкса были открыты.

Поговорив с заводом, Зойка наскоро перекусила, приготовилась спать. Звонок. Подняла трубку. Звонил полковник, просил разрешения, извиняясь конечно, прийти в гости.

Зойка разволновалась, все поняла и тихо прошептала, что уже поздно, пора спать, но тот настойчиво просил, ссылаясь на скуку, бессонницу. Он вошел с бутылкой коньяка, коробкой «Птичьего молока».

Долго разговаривали. Но умная Зойка знала, зачем пожаловал полковник. Он как-то между прочим и паспорт свой показал. Холост. Господи, такой видный и без семьи живет. Да в чем же дело, почему холост? Но спрашивать об этом не стала. Да и какое мое дело, думала Зойка. Холост — еще лучше, меньше вины. Наверное, мое время пришло. Отомщу им с мамашей, изменю сегодня же, лихорадочно думала Зойка.

От волнения, от принятого решения, от стыда, который придется пережить, от неизвестности она не знала сама, что сейчас была так хороша, молода и непосредственна, что полковник съедал ее своими жгучими глазами. Вот он гладит ей пальчики, играет ее вьющимися локонами...

Зойка решила. Перешагнула через себя. Но... Ничего-таки у них не вышло.

Он скрипел зубами, плакал и целовал ее тело, просил прощения. Зойка не слушала полковника, не жалела его, а плакала навзрыд от стыда.

Потом быстро встала, оделась, вытерла слезы. Вымылась, села на стул и засмеялась с красными от слез глазами:

— А вы знаете, полковник, мне всегда в жизни не везет. Как моя очередь подходит, все кончается. Я чувствовала, что у нас ничего не получится. Ведь я хотела отомстить пьющему мужу — изменить всего один раз, и не вышло. Но кто мне поверит? Будем считать, что отомстила. — Она помолчала и тихо добавила: — Себе.

Зойка по натуре была очень честным человеком. Приехала домой, места, бедная, не находит. Мучилась, мучилась, уж утопиться хотела, да детей и Тольку стало жалко, пропадет он без нее. Все же не выдер-

жала и рассказала все мужу. Толька заскрипел зубами, обхватил себя за лохматую голову и запричитал, как баба на похоронах:

— Пульхерьюшка ты моя, прости дурака меня несусветного. Это я тебя толкнул, чуть не загубил, подлец несчастный. Прости. Век в рот больше капли не возьму.

И неожиданно для всех бросил пить. И живут теперь Зойка с Толькой припеваючи. Хату давно снесли. Сыновья по квартире получили, и им однокомнатную выделили. Завалил опять Толька и комнату, и лоджию, и кухню книгами. Все читает, наверстывает. Ведь двадцать лет газету в руки не брал, не то что книжку.

Свекровь давно умерла. Зойка два раза в год ходит на кладбище, поправляет могилку, ставит воду в стакане, кладет крашеное яйцо да булочку.

Станислав ВТОРУШИН

Обратный путь

В середине ночи Белов проснулся от холода. Сел на бревно, около которого лежал на мягких кедровых лапах, протер кулаками глаза, несколько раз отвел и снова свел на груди руки. Его трясло.

Он достал папиросу из смятой пачки, сунул ее мундштуком в рот, прикурил. Костер догорал. Из-под темно-багровых углей выбивались маленькие голубоватые огоньки. Ветер чуть слышно шумел, ощупывая невидимыми руками кроны могучих деревьев, но внизу, около земли, было тихо. В высоком черном небе холодными льдинками отсвечивали звезды. И казалось, что голубые огоньки потухающего костра — не что иное, как отражение этих звезд.

Белов затаился дымом папиросы и закашлялся. У костра зашевелился Ильин. Белов знал, что он скоро тоже проснется и встанет. Но сейчас очередь спать около бревна его, Ильина. Белов свое отоспал. Теперь с одной стороны его будет греть костер, с другой — Ильин. Что поделаешь, если спать можно только одному. В течение ночи они меняются местами несколько раз. А эта ночь у них шестая.

Четыре дня они уже не ели хлеба, питаюсь только рябчиками, обжаренными на костре, и брусникой. Но от горелого, к тому же не соленого мяса Белова тошнило. Он где-то читал, что дикари обмазывают птицу глиной и кладут в костер. Потом глина отстает вместе с пером. Но глины здесь не было. Всюду торф или песок. Воду и ту приходилось пить из болот. Она была черной, словно густо заваренный чай, но они к ней уже привыкли.

Семь дней назад прораб вышкомонтажного цеха нефтеразведочной экспедиции Николай Белов вместе с водителем вездехода Василием Ильиным поехали на строящуюся буровую. И вот теперь возвращаются назад, бросив поломанный вездеход посреди дороги. Когда отправлялись на буровую, взяли с собой булку хлеба да по куску колбасы. Четыре дня назад съели последний хлеб. Сейчас их кормило только ружье, которое Ильин всегда держал в вездеходе.

Белов поднялся и, обойдя Ильина, пошел к костру. Ему хотелось упасть на землю и мгновенно заснуть. Но он знал, что заснуть не даст холод. Он стал ломать тоненькие ветки, приготовленные еще с вечера. Положил их на угли, наклонился и раздул маленький огонек. Желтое пламя осветило осунувшееся, заросшее черной щетиной лицо Белова. Он протянул руки навстречу огню, потер ладонь о ладонь. Отогрев руки, взял топор и начал рубить дрова. Костер разгорелся, отодвинув темноту ночи на несколько метров от стоянки.

Ильину стало припекать бок. Он перевернулся, но вскоре и второму боку стало жарко. Ильин открыл глаза и сел.

— Ты зачем распалил такой костер? — недовольно спросил он Белова.

Ильин еще не совсем очнулся от сна, разговаривая, то и дело зевал, прикрывая рот ладонью. Похлопал себя по карманам, нашел папиросы, достал одну, на четвереньках подполз к костру и прикурил от

горящей ветки. Закашлялся до того, что из глаз потекли слезы. Вытер глаза рукавом грязной телогрейки, отошел, сел на бревно.

— В который раз уже думаю, — произнес он вслух, — зря мы ушли от вездехода. Если бы не ушли, давно были бы дома. Вертолет, который пролетал позавчера и вчера, наверняка искал нас.

— Ты же первый сказал, что надо возвращаться, — возразил Белов. — Погода была нелетной. Четыре дня подряд шел снег с дождем.

— Мало ли что я тебе говорил. Я работяга, а ты — начальство. Приказал — и все. Четыре дня могли бы и без хлеба в вездеходе прожить. Зато вертолет нашел бы нас обязательно.

— Мы же с тобой не собирались блудить. Если бы все шло нормально, давно были бы дома.

— Что ты заладил «бы да бы», — нервно выпалил Ильин, и Белов заметил, что в его глазах мелькнули злые огоньки.

— Седьмой день идем и конца не видно. Где экспедиция, в какой стороне, можешь ты мне сказать?

— Идем туда, куда надо, — тихо, но твердо ответил Белов. — И придем.

Приступы отчаяния и злости сменялись у Ильина меланхолией. Он докурил папиросу, бросил ее в костер и, не глядя на Белова, негромко произнес:

— Жрать охота. У тебя не появилось такого желания?

— Нет, — сказал Белов.

— А я до смерти хочу. Селедки. По шестьдесят копеек за килограмм. Помнишь, когда-то такую продавали? Выпил бы стакан водки и съел бы штуки три подряд. Да еще с картошечкой, от которой пар идет. В мундирах, а?

— О водке забудь.

— Слушай, может быть, выпьем по кружечке? Ну чего ты строишь из себя интеллигента? Я ведь не баба, тоже мне нашел перед кем строить.

Белов подбросил в костер несколько веток и сказал:

— Ну вот что, Ильин, давай спать. Это самое разумное, что можно сейчас сделать. Ложись к бревну, а я — к костру. Я еще не сомкнул глаз, хотя времени уже — четыре утра. До рассвета целых пять часов.

— Я водки хочу, — сказал Ильин.

— Никакой тебе водки. Ложись и спи.

— Хреновый ты человек, Белов. Никогда тебе не выбиться в люди, потому что не понимаешь себе подобных.

— Уж какой есть, — отрезал Белов и лег на кедровые ветки, подвинув ближе к боку рюкзак с водкой.

Ильин достал новую папиросу, опять прикурил от костра и сел на бревно. Обняв рюкзак, Белов лежал с закрытыми глазами. Ильин с ненавистью посмотрел на этого здорового, широкоплечего парня и до того ему стало жалко себя, что на глазах выступили слезы. Будь у него сила, он бы отобрал рюкзак у Белова и напился до бесчувствия. «Именно до бесчувствия, — подумал он, — чтобы забыть кошмары возвращения, эти ночевки у костра». Но в маленьком худеньком теле Ильина уже вообще не было никаких сил.

Водку с собой взял Ильин. Когда стало ясно, что у двигателя вездехода сломался коленчатый вал и нужно идти восемьдесят километров по тайге до нефтеразведочной экспедиции, Ильин решил сказать Белову про шесть бутылок водки, которые он вез с собой.

— Так вот кто спаивает бригаду? — произнес Белов и присвистнул. — Честно говорю, узнал бы раньше, уволил без выходного пособия. Брось ее здесь. Не хватало еще нам таскаться по тайге с лишним грузом.

— Это водку-то? — удивился Ильин. — Да тут ее бурундуки вылакают.

Он осторожно надел на плечи рюкзак с водкой, подпоясался патронташем, взял в руки ружье и, не оглянувшись на вездеход, пошел назад. Но вскоре стал отставать от Белова.

На высокой гриве, поросшей густым лесом, Белов дождался Ильина. Тот подошел, тяжело дыша, утирая рукавом пот.

— Ну что, устал? — спросил Белов, и по лицу его пробежала тень улыбки. — Давай водку. Да нет, не выброшу, честное слово.

Он помог Ильину снять рюкзак. Сели на поваленное дерево, выкурили по папиросе. Пока сидели, почувствовали, что холодно. Ветер был не сильный, но сырой и пробирал до костей. По небу ползли низкие тяжелые тучи.

— Вечером пойдет снег, — сказал Белов. — Надо держаться ближе к лесу. Но учти, я по лесу никогда не ходил.

— Я не заблужусь, — ответил Ильин, радуясь тому, что удалось сплавить рюкзак, — я тут дорогу знаю.

Снег пошел ночью, когда они сидели у костра и ели колбасу с хлебом. Белов решил, что после тяжелого дня можно немного выпить. Ильин сразу засуетился, достал пластмассовую кружку и завалившуюся в кармане грязную луковичу. После ста граммов Ильина развезло. Он начал говорить о тайге, об охоте, о том, что опытный человек никогда здесь не пропадет. Белов не слушал его. Он нарубил веток кедрового подроста, натаскал их к костру и лег спать.

Утром Ильин заявил, что не может идти, пока не опохмелится.

— Никаких похмелок, — отрезал Белов. — Нам еще идти семьдесят километров.

Он закинул на плечо рюкзак с водкой, взял ружье. Свой рюкзак с остатками провизии, топором и припасами оставил Ильину. Было холодно, падал мокрый снег. Белов потоптался около Ильина, который, не шевелясь, сидел на кедровых ветках, и направился в тайгу. Ильин с минуту сидел неподвижно, затем вскочил, догнал Белова, схватил его за рюкзак.

— Отдай водку, моя! — закричал он визгливо, но Белов оторвал его руки от рюкзака и пошел дальше.

— Ты не думай, что начальству все можно, не думай! — кричал Ильин. — Я найду на тебя управу!

Белов, не оглядываясь, шел размеренным шагом и чувствовал, что Ильин не отстал, а идет вслед за ним. Водку Белов решил ни за что не отдавать. Он понял, что Ильин — человек слабый, неорганизованный, значит пить ему нельзя. Во всяком случае, пока они в тайге.

На следующий день они обнаружили, что заблудились. Куда бы ни шли, везде островки тайги перемежались с болотами. Ни солнца, ни звезд не было. Затем четыре дня подряд шел мокрый снег. А когда он прекратился, сразу подморозило. Вода между кочек покрылась ледком и теперь, чтобы напиться, приходилось сначала разбивать его сапогом. Хлеб они съели и питались только рябчиками, которые встречались у ручьев по краям болот. Каждый день Ильин канючил водку. Белов знал, что если бы у Ильина хватило силы, он отобрал бы ее, но у него ее не было.

Сейчас Ильин сидел на бревне и прислушивался к тихому посапыванию Белова. Толстые сучья горели в костре ровным желтым пламенем, отбрасывая тусклый свет на прораба. Под мышкой у него был рюкзак. Ильин докурил папиросу, поплевал на ее огонек и лег рядом с Беловым. У широкой его спины было тепло, но от бревна веяло холодом, и Ильин знал, что долго он так не пролежит.

Встали в восемь утра, когда рассвет еще только высветлил черные, лохматые вершины кедров. Есть не хотелось. Белов достал папиросу, отмечая про себя, что последнее время стал слишком много курить, а это вредно, но все-таки сунул ее в рот. Костер окончательно догорел. Белов долго искал уголек, от которого можно было бы при-

курить, а найдя, раздул его добела и только потом поднес к папиросе.

Ильин тоже закурил и снова закашлялся до слез.

— Нельзя тебе курить, — сказал Белов, — здоровье у тебя хилое.

— Грудь что-то давит, — тихо ответил Ильин. — Вдыхаю нормально, а выдохнуть не могу, словно воздух зацепляется там за что-то.

Белов недовольно посмотрел на Ильина, маленького, щуплого, заросшего редкой рыжеватой щетиной. Не хватало еще, чтобы он заболел. Откуда он пришел в экспедицию, чем занимался раньше, Белов не знал.

— Слушай, Ильин, как ты оказался у нас? — спросил он.

— От бабы сбежал, — ответил Ильин сквозь кашель.

— А что так?

— Дура была. Я только замахнусь на нее, а она уже за братьями бежит. Били они меня шибко.

Небо над тайгой из темного превращалось в светло-серое, предвещая наступление близкого дня. Недалеко, громко и противно прокричала кедровка.

Прораб посмотрел на Ильина, спросил:

— Ну что, двигаемся?

— А ты знаешь, куда идти?

— Знаю.

— Куда?

— На восток. Там Обь. А на Оби жизнь. Пароходы, лодки, люди. Откуда всходит солнце, туда и пойдем.

Белов закинул на плечо рюкзак, взял ружье. Ильин покорно поднялся и пошел вслед за ним. Тайга была мрачной. Высокие деревья перемежались с гарями и таким валежником, через который невозможно было пробраться. Поваленные, полусгнившие стволы сосен и кедров густо поросли брусникой. Ее было столько, что пожелай Белов увидеть больше, желание осталось бы невыполненным. Он сорвал несколько горстей горько-сладкой, вишневого цвета ягоды.

— Ешь, — сказал он Ильину, — одни витамины.

Ильин не ответил. Белов слышал, как под его ногами хрустят ветки. И вдруг раздался стук падающего тела и легкий вскрик. Белов резко оглянулся. Перевалившись через поваленный ствол, головой вниз лежал Ильин, лицо его исказила боль. Ладонями он обхватил резиновый сапог.

— Что случилось? — спросил Белов.

— Ногу сломал, наверно, — жалобно проговорил Ильин.

— Ты эти шуточки брось, сейчас они неуместны.

— Я не шучу, — сказал Ильин, и Белов понял, что это серьезно.

— Встать можешь?

Ильин встал, сделал шаг, пытаясь опереться на левую ногу, и сразу же сел. Лицо его покрыла белизна, на лбу выступил пот.

— Снимай сапог, — сказал Белов и шагнул к нему. Ильин попробовал стянуть резиновый сапог, но не смог. Прораб решил это сделать сам. Он взялся правой рукой за каблук сапога, левой — за носок.

— Расслабься, — сказал он. — Будет больно, но ты расслабь ногу, иначе не снимем.

Через несколько минут Белов снял с Ильина сапог. Размотал портянку, осмотрел ногу. Она немного припухла во взъеме. Белов попробовал надавить на опухоль, но Ильин вскрикнул, отдернул ногу.

— Ты ее просто подвернул, — сказал Белов. — И все потому, что выгадываешь, носишь импортные сапоги. Наши хоть тяжелы, но зато нога в них, как в гипсе. Захочешь подвернуть — не сможешь. Держись, я сейчас дерну. Не поможет, придется тащить на себе. Прижми колено к груди. Держи обеими руками.

Белов взялся за ступню и с силой дернул. Ильин вскрикнул и побелел еще сильнее. Пот катился по его лицу, и он утирал его рукавом

телогрейки. Белов достал папиросу, сунул ему в рот, поднес зажженную спичку.

— Покури, — сказал он, — станет легче.

Ильин лег на брусничник и, выпуская дым, глядел в небо. Белов сидел рядом с ним и размышлял, что теперь делать. Ильин посмотрел на него, сказал:

— Послушай, а легче становится. Боль вроде утихать начала.

— Лежи, лежи, — ответил прораб. — Тебе сейчас нельзя шевелиться.

— А вдруг я не смогу идти? Что тогда?

— Сможешь. Нам уже недалеко осталось.

Ильин затаился, выпустил тугую струю дыма и пристально посмотрел на Белова.

Прораб нагнулся и похлопал его по плечу:

— Не того, брат, мы воспитания, чтобы бросать друг друга в беде. Да мне и по должности не положено. Я отвечаю за тебя головой.

Ильин провел ладонью по его руке и сказал:

— Я не об этом, совсем не об этом, начальник.

Взошло солнце. В тайге стало светлее и, как показалось Белову, даже теплее. Березы роняли последние желтые листья, открывая высокое чистое небо, зато темные кедры стояли молчаливо и торжественно. Природа готовилась встречать зиму.

— Послушай, Ильин, как тебя зовут? — неожиданно спросил Белов.

Ильин с недоумением посмотрел на него, потом перевел взгляд на ногу, потер ее пальцами и сказал:

— Василием, а что?

— Да ничего особенного. Просто подумал сейчас, что вот седьмой день вместе бродим, у одного костра спим, а как звать друг друга не знаем. По фамилии обращаются только чужие люди. А мы с тобой одного рябчика пополам едим, вместе бутылку водки выпили. Может, налить тебе полкружки?

— Нет, не надо. Ослаб я что-то. Чувствую, что идти нужно, а сил нет. А теперь еще нога мучить будет. Правду говорят: где тонко, там и рвется.

— Давай решим так. Ты пока здесь полежишь, а я пойду дорогу разведать. Может, река рядом. Ружье тебе оставлю. Если долго не буду возвращаться, стреляй, чтобы я знал, где ты находишься. Как, а?

— Иди, — бросая папиросу, ответил Ильин. — Вот только пигь хочется. Но я яголки пожую.

Белов, стараясь запомнить место, еще раз окинул взглядом деревья. Потом посмотрел на водителя вездехода. Привалившись к упавшей лесине, он сидел на земле. Рядом с ним лежали рюкзак, ружье и резиновый сапог. Пальцами левой руки он потирал ушибленную ногу. Тяжело вздохнув, Белов зашагал на восток.

Высокие кедры скрывали солнце. На открытом месте, наверно, было тепло, а здесь на траве еще кое-где лежал иней. На душе у Белова было тягостно. Уже то, что они блудили седьмой день, угнетало, давило на сознание. А тут еще Ильин подвернул ногу. Никто не знает, сколько дней идти отсюда до дому здоровому человеку. С Ильиным этот путь возрастет вдвое.

Белов вышел к болоту и двинулся его краем по косогору, все время уклоняясь вправо. Один раз он остановился, увидев глухарей. Они сидели на кочке, клевали клюкву. Он пожалел, что ружье осталось у Ильина, но все равно замедлил шаг и пошел, прячась за деревьями. Глухари увидели его и взлетели.

Вскоре болото сузилось, потом исчезло совсем, и Белову пришлось подняться на высокую гриву, поросшую кедрачом. Прошагав еще минут пятнадцать, он увидел вдали речку. Вернее не речку, а воду, огоро-

женную лесом, и остановился. Ему хотелось тут же бежать к Ильину и вместе с ним идти сюда, но он решил дойти до речки и выяснить, что она из себя представляет.

Быстрая вода, расталкивая берега, торопливо бежала за далекий поворот, оставляя посредине русла песчаные отмели. Белов перевел взгляд навстречу течению и вздрогнул. В двухстах метрах от него на глинистом берегу перевернутая вверх дном лежала долбленая лодка. Прораб побежал к ней, едва успевая руками отводить от лица ветки. Около лодки на сыром берегу виднелись следы двух пар резиновых сапог. Одни были большие, такие же, как у Белова, другие маленькие, похожие на детские. Люди приехали сюда не позже утра. Это было спасение. Белов даже обессилел от неожиданно свалившегося счастья, сел на лодку и глубоко вздохнул. Он вспомнил Ильина, представил его, заросшего, худого, босого на одну ногу, и пожалел, что водитель не может сейчас порадоваться вместе с ним близкому концу пути. Ведь люди с лодкой обязательно помогут. Если не сами, то кого-нибудь пришлют.

Белов стал ждать хозяев обласка, но они все не приходили и не приходили. Острое сосущее чувство голода уже давно перестало терзать его и теперь прораба слегка поташнивало. Он поднялся наверх и стал кричать. Кричал до тех пор, пока не закружилась голова, однако ему никто не ответил. Потянуло холодом, над рекой нависли низкие тучи. Вскоре пошел снег. Белов продрог настолько, что стучали зубы. К тому же начинало темнеть. Хозяева лодки могли остаться ночевать в лесу. Для очистки совести он крикнул еще несколько раз и пошел назад к Ильину. Мысль о нем все время не давала покоя прорабу.

К тому месту, где он оставил Ильина, подходил уже в темноте. Чтобы напрасно не плутать еще и здесь, крикнул. Почти тут же грохнул выстрел, срезав ветки над головой Белова. Хвоя посыпалась за шиворот, он громко выругался, и в это время раздался второй выстрел. Только тут Белов понял, что стрелял Ильин и стрелял не в кого-нибудь, а в него. Ильин был совсем рядом, в каких-нибудь тридцати метрах отсюда, и Белов огромными, кенгуровыми прыжками бросился к нему, успев подумать, что тот не сумеет за это время перезарядить ружье. Он ударил его ногой в лицо, Ильин упал на спину, на мгновение выпустив ружье, и Белов успел прижать его коленом к земле.

— Пусти, — закричал Ильин, и Белов сразу понял, в чем дело.

От Ильина исходил тяжелый, тошнотворный запах винного перегара. Белов отпустил его. Ильин повернулся к нему лицом и выплюнул выбитый зуб. Верхняя его губа была рассечена, из нее сочилась кровь. Осоловелые, неподвижные, словно у вареной рыбы, глаза водителя смотрели на Белова совершенно бессмысленно.

— Ты пришел? — спросил Ильин, трясая головой и выплевывая кровь. — Ты же просил стрелять.

Больше он ничего не мог произнести. Белов повесил ружье выше на дерево и осмотрел рюкзак с водкой. Ильин выпил одну бутылку, отсутствие закуски и общая слабость сделали его абсолютно невменяемым. Прораб взял его за грудки, попытался приподнять, но почувствовав, что на это нет сил, отпустил Ильина на землю и заплакал. Слезы катились по его лицу, попадали на усы, на побелевшие, обветренные губы. Он ощущал их соленый привкус, но даже не пытался утереть глаза. Если бы Ильин сегодня не напился, они бы ночевали на берегу реки рядом с лодкой. У него было желание ударить водителя кулаком по голове, и он едва сдержался.

— Ты чего, а? Чего? — спросил вдруг Ильин.

— Я-то ничего. А вот что ты, пропойца, наделал?

— Ты плачешь, да? — сказал Ильин. — У тебя слезы.

Белов начал замерзать. Он заставил себя подняться, наломать вепок и разжечь костер. С огнем стало веселее. Он подтащил к костру

Ильина, устроил его поближе к теплу, подложил под больную ногу сапог и портянку. Ильин уже храпел.

Ночь была тягостной. Белов почти не спал. Поддерживая огонь, следил, чтобы Ильин не обморозил больную ногу. Утром Ильин протер кулаком красные, воспаленные глаза и сразу спросил:

— Послушай, я тут ничего не наделал?

— Наделал, — со злостью ответил Белов, — еще как наделал.

— Голова что-то болит, — сказал Ильин и покосился на рюкзак.

— Я тебя опохмелю, — не проговорил, а прорычал Белов. — Опохмелю так, что в следующий раз не захочешь.

Ильин отпрянул от него, провел рукой по лицу. Потрогал пальцем ставшую твердой и толстой верхнюю губу и с удивлением обнаружил, что у него нет зуба. Он затолкал в образовавшееся отверстие палец и посмотрел на Белова круглыми, полными ужаса глазами. Белов понял, что он ничего не помнит, и это его развеселило. Он взял топор и пошел в молодой березовый подрост. Нашел тоненькую березку с раздвоенной вершиной, срубил, очистил от сучьев, принес к костру.

— Примерь-ка костыль, — сказал он Ильину. — Да не так. Подмышкой упираться в рогатину.

Ильин сделал несколько шагов и улыбнулся щербатым ртом:

— С такой ногой я хоть до Одессы.

— Ну тогда пошли, — проговорил прораб и закинул за спину рюкзак с водкой. Теперь он ни за что не оставил бы ее водителю.

До болота, где Белов видел вчера глухарей, шли больше трех часов. Часто останавливались отдыхать. С Ильина градом лил пот, он тяжело дышал. Оба непрерывно курили, но Белов даже не чувствовал вкуса табака. Он подобрал с земли кедровую шишку с подтеками смолы на кончиках чешуек, попробовал щелкать орехи, но они показались ему невкусными.

К реке вышли часа в три дня. На том месте, где вчера лежала лодка, еще дымился небольшой костер. Но ни самой лодки, ни людей не было.

— Вот здесь лежала лодка, — показывая рукой на угли костра, сказал Белов. — Если бы ты вчера не напился, мы бы сейчасплыли домой. Может быть, это был единственный шанс на спасение. Да разве тебе до этого есть дело!

Белов понимал, что водитель пропускает его слова мимо ушей и думает о другом, но ничего не мог поделать с самим собой. Он ненавидел Ильина до такой степени, что готов был избить его. Но стоило ему бросить взгляд на скрюченную фигуру водителя, почерневшее, заросшее щетиной его лицо, как у Белова просыпалось чувство жалости. «В общем-то он несчастный человек, ему больно, он страдает, — думал Белов. — Хотя вчера едва не застрелил меня». И это воспоминание снова пробудило в нем злость.

— Пьянчуга ты, больше никто, — сказал Белов, задыхаясь, и, сорвав с себя рюкзак, зашвырнул его далеко в воду.

У Ильина не было сил даже на то, чтобы хоть как-то отреагировать на это. С тяжелым вздохом он поднялся на ноги. Медленным шагом они пошли дальше, запинаясь о валежник, часто останавливаясь для отдыха. Остывающая к зиме река равнодушно и неторопливо проносила мимо их ног черную таежную воду.

Владимир ТИТОВ

Незаполненная анкета

Машину пришлось еще утром сдать в камеру хранения железнодорожного вокзала. Не таскать же ее по всему городу! За день мне удалось организовать десять скандалов из десяти возможных, так что на одиннадцатый я шел с хорошо отработанной тактикой. А как иначе? Ради него, одиннадцатого, главного, я и прибыл в этот город.

Воскресный апрельский день кончался. Оттаявшие было за день лужи вновь захрустели под ногами. Я подошел к большому бревенчатому дому, обнесенному плотным дощатым забором в полтора человеческого роста. На калитке красовалась табличка с надписью «Во дворе злая собака».

Мысленно благословив себя, я нажал на кнопку звонка, прибитую возле калитки. Самого звонка я не услышал, зато за забором глухо залаяла овчарка.

Постояв с минуту, я собрался было еще раз нажать на кнопку, но за забором раздались шаги, а потом испуганный женский голос спросил:

— И кто там?

— Извините, Борис Иванович Козлов здесь живет?

— Ну здесь, а кто его спрашивает?

— Я — анкетер. Мы проводим социологическое исследование. Борису Ивановичу предлагается заполнить анкету.

Лязгнул замок. Калитка чуть приоткрылась. На меня недоверчиво и боязливо посмотрела худенькая старушка, одетая в замызганную фуфайку и подвязанная выцветшим клетчатым платком.

Я улыбнулся приветливо и легким, отработанным движением руки извлек из нагрудного кармана удостоверение, якобы выданное на время анкетирования институтом социологических исследований.

Старушка отступила в глубь двора и пропустила меня.

— Иди у дом. Тама он, — сказала она, а сама направилась к свинарнику, построенному в дальнем конце двора, туда, где что-то делал пожилой крепкий мужчина.

Я покосился на овчарку. Та сидела на укороченной цепи и до крыльца не доставала. Сейчас она почему-то не проявляла ко мне никакого интереса. Я осмотрелся. В ограде, кроме надворных построек, были огород и сад изрядных размеров. Даже не верилось, что все это: деревянный дом, сарай, свиньи, сад, огород, овчарка почти в самом центре огромного многоэтажного города.

Я поднялся по ступенькам на веранду, пересек ее и остановился перед дверью. Постучался. Никто не ответил.

За дверь оказался большой коридор, к которому примыкали две кладовые. За большим коридором находился еще один — маленький, словно тамбур, и только за ним была просторная жилая комната с высокими и светлыми окнами.

На меня удивленно посмотрела молодая, чуть полная, румяная де-

вица, одетая в дорогой атласный халат. Если бы меня попросили подыскать актрису на роль купеческой дочки, я, не задумываясь, предложил бы эту молодуху.

— Вам кого? — спросила она лениво-томно, кокетливо улыбаясь.

Я даже растерялся, до того зовуще-многозначительно выглядели пышная «купеческая дочь» и ее улыбка.

— Здравствуйте, — проговорил я смущенно.

— Здравствуйте, — то ли проговорила, то ли пропела дева.

— Мне бы Бориса Ивановича увидеть.

Молодуха смешливо фыркнула:

— Как важно: Бориса Ивановича!

Лениво вздохнув, она крикнула:

— Боря! Тут к тебе...

Из кухни выглянул молодой, рослый, но нескладно тощий парень — типичный акселерат.

— Ко мне? — переспросил он, недоверчиво уставившись на меня.

— К вам, — подтвердил я.

— Да, но я вас...

Я улыбнулся и, представившись, сказал:

— Разумеется, вы меня не знаете. Я — анкетер. Проводится социологическое исследование образа жизни советских людей. Всесоюзное. Вам предлагается заполнить анкету.

— Нам? — кокетливо улыбаясь, спросила дева.

— Нет, только ему, — уточнил я, как можно вежливее, вымучивая из себя милую улыбку.

Улыбка далась мне с трудом. Я устал. Целый день «обкатывал» анкету в других семьях, вновь и вновь выверяя эффект от наиболее каверзных вопросов.

— Да вы проходите, садитесь, — засуетился Борис. Он на ходу снял фартук и вытер о него мокрые руки. — Наташа, освободи товарищу стул.

Наташа нехотя убрала с одного из стульев стопку свежевывглаженного белья, сняла со стола покрывало, на котором только что гладила, и отключила утюг.

— Пожалуйста, — вымолвила она чуть обиженно, указав на стул.

— Большое спасибо, — сказал я вежливо и корректно.

Борис притащил из кухни белую табуретку и присел напротив.

Я открыл свою папку, нашел чистый вопросник и протянул Борису.

— Борис Иванович, — начал я заученно, — научная ценность...

— Зовите меня просто Борисом, — перебил акселерат. — Я как-то не привык по-отчеству.

— Ну хорошо, — согласился я. — Борис, значит, Борис. Так о чем это я говорил?

— О научной ценности, — пропела Наташа. Она стояла за спиной Бориса, обняв его шею белыми гладкими руками. Когда Наташа наклонялась, чтобы лучше рассмотреть вопросник, в вырез халата видны становились ее молодые белые и пышные груди.

— Ну да, конечно, — проговорил я, смущенный красотами, достойными кисти Брюллова. — Вот я и говорю, — продолжил я, стараясь не смотреть на склоненную Наташу и ее груди, — научная ценность исследования зависит главным образом от того, насколько откровенно и обстоятельно опрашиваемый, то есть Борис, ответит на вопросы предложенной ему анкеты. К заполнению анкеты надо отнестись с должной серьезностью и вниманием.

— Это он может. Тот еще бука! — сообщила Наташа и тут же задала один из стандартных вопросов, обычно задаваемых самими опрашиваемыми:

— А почему именно Борис должен отвечать на анкету? Почему не я, к примеру?

— Видишь в чем дело, Наташа... Тебя можно так называть?

— Да, конечно.

— Видишь в чем дело, Наташа, исследование проводится по специальному научно разработанному методу. Необходимо опросить представителей самых различных групп населения. Различных по возрасту, образованию и тэ дэ и тэ пэ. Поэтому нельзя допустить, чтобы среди участников опроса преобладали члены какой-то одной группы. Например, симпатичные молодые жены, — попытался я украсить концовку заученного ответа некой потугой на комплимент.

Наташа хмыкнула и задала второй стандартный вопрос:

— А где вы получили данные о моем муже?

— Ну это проще. Адрес получен из избирательных списков, с помощью которых проводился отбор людей для опроса.

— Все понятно, — сказал Борис и близоруко склонился над вопросником.

— Ты согласен попотеть для науки? — спросил я Бориса.

— Само собой, — буркнул он, внимательно изучая правила заполнения анкеты. Прочитав их, он привычно похлопал ладонями по груди, явно ища авторучку. — Ах да... Она в костюме.

Я протянул свой «пишущий агрегат».

— Спасибо, — пробормотал Борис и прочитал первый вопрос: —

Пол?

Наташа фыркнула за его спиной и подсказала:

— Кажется, мужской.

— Точно, — согласился Борис. — Возраст?

Наташа игриво погладила Бориса по макушке и ласково сказала:

— Нашему мальчику уже двадцать два годика.

— Образование? — продолжал вслух читать Борис вопросы.

Наташа притворно вздохнула:

— Полуобразованный. Учится на четвертом курсе физфака универа.

— Шестой пункт, — подсказал я. — Незаконченное высшее.

— Семейное положение?

— Женатый холостяк, — проговорила печально Наташа.

— То есть? — насторожился я.

— Женат на мне, а дома почти не бывает: то у него заседание комитета комсомола, то стенгазета, то оперотряд, то третье, то десятое. И так уже целый год!

Она вздохнула.

— Ну, Наташа, — Борис оторвался от вопросника. — Давай хоть сегодня не будем об этом...

— Да чего уж там! Я привыкла к вдовьей жизни.

Борис довольно быстро обводил кружочками номера ответов. Наташа следила за его действиями через плечо и согласно кивала. По инструкции, прилагавшейся к вопроснику, она не должна была присутствовать при заполнении анкеты. Запрет был хитрый, рассчитанный на разжигание любопытства.

Первые разногласия возникли, когда Борис добрался до второго раздела, в котором предлагалось оценить некоторые обстоятельства жизни анкетированного по сравнению с тем, что было примерно пять лет назад.

— А почему ты написал, что материально живешь как и прежде? — спросила вдруг Наташа.

— А что я должен писать? — вопросом на вопрос ответил он.

Наташа фыркнула.

— Пиши, что хочешь!

— Вот я и пишу.

Она наконец-то отпустила шею Бориса и пошла в другую комнату. Но пробыла там недолго, от силы минуты две. Проходя мимо стола, она остановилась и заглянула в вопросник.

— Это надо же! — проговорила она с нескрываемой иронией. — И питаешься ты как и раньше?! И одеваешься?!

— По-моему, так же, — оторвался Борис от анкеты. — А что?

— Ну знаешь ли, а вот это уже ни в какие рамки не лезет! — проговорила Наташа зло, ткнув пальцем в вопросник. — У тебя что, жилищные условия хуже стали?!

— Разумеется. Ты же знаешь, у моей мамы квартира благоустроенная.

— Две паршивых комнатухи и кухонка по-твоему лучше нашего дома? — бросила Наташа презрительно.

— Наташа, — вмешался я. — Понимаешь, он должен сам заполнять анкету, без посторонней помощи и советов.

— Это кто здесь посторонняя? Я?! — спросила она с вызовом.

— Ты меня неверно поняла. По инструкции при заполнении анкеты не должны присутствовать другие члены семьи. Только в таком случае ответы на вопросы будут иметь хоть какую-то научную ценность.

— Да о какой научной ценности можно говорить, если он ерунду порет?!

— Что ты называешь ерундой? — осведомился Борис напряженно-вежливо.

— Да хотя бы вот это! — Наташа вырвала из рук Бориса вопросник и начала зачитывать вслух:

— Отдыхаете — хуже. Встречаетесь с друзьями — реже. Заняты домашними делами — больше. Беденький, переработался! Общественной работе уделяете времени — меньше. Это надо же! Сутками из университета не будешь выходить и то, наверное, мало будет?! Ну да, конечно, дурака валять на общественной работе приятнее, чем за свиньями ухаживать или в огороде работать! Белоручка! Решения партии и правительства знать, между прочим, надо. Ничего зазорного сейчас в развитии личных хозяйств нет. Наоборот, к нэпу топаем!

Наташа бросила на стол вопросник и ушла в соседнюю комнату, демонстративно захлопнув дверь.

С минуту мы сидели молча. События развивались быстрее, чем я рассчитывал.

— Пожалуй, я зайду в другой раз, — сказал я наигранно-неуверенно, протянув руку за вопросником. — Где тебя лучше найти завтра?

— Нет, что вы, — не согласился Борис. — Зачем вам искать меня еще и завтра? Я сейчас отвечу на все вопросы.

И он снова наклонился над анкетой. Дойдя до вопроса «Случаются ли у Вас в семье разногласия по поводу...», Борис горько усмехнулся.

— Здесь не хватает одного пункта.

— Разве? Какого?

— Разногласия по поводу заполнения анкет социологического исследования.

Я не успел ответить на его невеселую шутку. В комнату ворвалась Наташа.

— Ах, ты еще и издеваешься?!

— Ты о чем? — хмуро спросил Борис.

— Поводы разногласий он, видите ли, сочиняет. Да ты этих поводов столько уже сотворил, что жить с тобой тошно стало! Дома тебя работать не заставишь. Как же, великий общественный деятель! На базар сходить не уговоришь. Привык на всем готовеньком! Лодырь чертов!

— Зачем ты так, Наташа? — проговорил Борис с болью. — Ты же знаешь, почти все свое свободное время я угробляю на ваше хозяйство. А на базар я никогда и ни за что не пойду. И хватит об этом, — закончил он тихо, но решительно.

— Ах, так?! — вскричала Наташа. — Хватит, говоришь, об этом?!

Я тоже считаю: хватит! — Она яростно вылетела в соседнюю комнату, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

— Ну вот, — сказал Борис безразлично-устало, подперев голову руками.

— Пожалуй, я пойду, — вздохнул я тяжело и положил вопросник в папку, а про себя подумал: «Надо же: сработало почти в самом начале анкеты. Похоже, эта аномалия рассосалась бы и без моей помощи».

— Подождите, вместе уйдем, — попросил Борис.

— Да, но...

— Сейчас мне принесут чемодан.

— Какой чемодан? — вздрогнул я, вспомнив о своем чемодане с машиной, оставленном в камере хранения.

— Мой, конечно. Сейчас увидите...

Дверь в соседнюю комнату распахнулась. Порыв воздуха колыхнул шторы на окнах.

— Можешь проваливать на все четыре стороны, трутень! — заносчиво-гордо выкрикнула Наташа и бросила на пол чемодан. Из-под крышки его торчал рукав голубой мужской сорочки и конец синего с серебристой искрой галстука.

— Спасибо, — поблагодарил Борис излишне вежливо, поставил чемодан на стол, открыл его, аккуратно уложил торчавшие вещи и снова замкнул. — Вы в сторону трамвайной остановки? Или на автобусе приехали?

— На трамвае, — ответил я немного хрипло.

— Значит, нам по пути.

Одевшись, Борис сказал Наташе, стоявшей рядом, подперев бока:

— До свидания. — Подумав секунду-другую, добавил: — Впрочем, прощай...

— Проваливай-проваливай, умник! На коленях просить будешь — назад не пушу! — догнали нас уже в коридоре слова Наташи, брошенные сквозь слезы.

На крыльце нам встретился тот самый крепкий, коренастый мужчина в фуфайке, которого я увидел, входя во двор. Он выразительно посмотрел на чемодан Бориса, презрительно-сочувственно улыбнулся и, процедив сквозь зубы: «Ну-ну!», пошел в дом. Меня он словно и не заметил.

— Господи, да куда-то ты эт на ночь глядя? — всполошилась старушка, открывшая полчасика назад мне калитку.

— Как обычно, — буркнул Борис. — В общагу.

Овчарка, когда мы проходили мимо, зарычала, но вставать не желала.

Вечерний мрак сутуло разлегся на улицах. До остановки мы шли молча, хрустя льдом застывших луж. Трамвай ушел буквально из-под носа.

— И часто вы так? — спросил я, чтобы хоть как-то разогнать угрюмое молчание.

— Бывает, — нехотя ответил Борис. — Точнее, было. Больше не будет.

— Решил развестись?

— Да.

«Правильно, — чуть не ляпнул я. — Как тебя вообще угораздило жениться на ней?»

Вслух же я пробубнил:

— Ерунда. Помириться, верно?

Борис тоскливо усмехнулся, но ничего не ответил.

В мутном городском небе появились первые звезды — самые яркие. Звездная мелочь сквозь смог прорваться не могла. Подул холодный ветер, и я поежился.

— Слушай, Борис, а ты не допускал мысли о том, что в чем-то сегодня был не прав?

— В чем именно? — посмотрел он на меня удивленно. В резком свете уличных фонарей черты лица его обострились, он словно постарел лет на десять.

— Ну, например, с базаром. Неужели трудно сходить?

Лицо Бориса передернула недобрая усмешка.

— А вы знаете, зачем я туда должен ходить? — спросил он с расстановкой.

Я знал, но сделал вид, что не знаю.

— Наверное... за покупками.

— Если бы! Меня пытаются заставить продавать свинину, сало, овощи, фрукты, ягоды, компоты и прочую «продукцию» кулацкого подворья. А я — не батрак!

— Да, но...

— Догадываюсь, что вы мне скажете, — перебил он меня. — Личные хозяйства — весомый вклад в реализацию Продовольственной программы. Так?

Я улыбнулся.

— Примерно так.

— Ничего не имею против подворья, если оно не становится самоцелью, манией, калечащей души, если оно не служит ненасытной наживе.

— Ты излишне резок в оценках, — сказал я, — с возрастом максимализм пройдет.

— Это я-то — максималист?! — Борис натянуто рассмеялся. — Как по-вашему, сколько свиней одновременно держать этично?

— При чем здесь этика?

— А все же?

— Ну, думаю, две-три...

— А если двадцать три?

— Не понял.

— А что тут понимать? Мой тесть откармливает двадцать три свиньи. Весомый вклад в «реализацию»? И все это — через базар продает. Все это — ради денег, будь они прокляты!..

— Да, но где он содержит столько свиней?

— Часть здесь, в городе, остальных — в деревне, у родственников.

— А корма? Где напасешься на такую прорву?

— Тесть на комбикормовом заводе в охране работает. «Достает»!

За поворотом звякнул трамвай, шустро подбежал к остановке и с шипением и тоскливым скрежетом открыл складные двери. Вагон оказался полупустым, но было холодно и сидеть не хотелось. Мы встали у заднего окна. Вагон хлопнул дверями, дернулся. Темная улица, проткнутая фонарями, метнулась прочь.

— Слушай, Борис, — спросил я, — до женитьбы на Наташе ты знал о «подсобном» хозяйстве будущего тестя?

— Знал.

— И все же женился?

— Я любил ее. Мечтал вырвать Наташку из кулацкого заточения, увезти на волю. А ей, оказывается, моя «воля» не нужна.

Мы помолчали.

— Куда ты сейчас? К матери?

— Нет. Мать в другом городе живет. Я — к ребятам, в общежитие. Там привыкли к моим «набегам».

Трамвай остановился.

— Вот я и приехал, — усмехнулся Борис и протянул мне руку. — Извините за анкету. Не удалось заполнить.

— Черт с ней, с анкетой, — деланно вздохнул я. — Не к стати я с ней...

— Очень даже кстати. Рано или поздно это должно было случиться. Я давно думал о разводе. Вас сам бог послал...

Борис спрыгнул в ночь.

«Ошибаешься, парень, — устало вздохнул я, — не бог меня прислал, а Чрезвычайная Комиссия по Исправлению Исторических Аномалий направила. Корректировщик я. Специально прилетел из будущего, чтобы исправить неправильность, вкравшуюся в твою великую биографию. Не был ты в объективной истории женат на Наташе, а в реальной — женился. Вот я и прилетел рассорить вас. Кажется, удалось. Впрочем, неудивительно. Целый институт провокационную анкету разрабатывал. Да и я перед тем, как к тебе явиться, на свой страх и риск проверил действие анкеты в десяти семьях. Для верности. И все ради чего? Чтобы ты, парень, в положенное время свою машину изобрел. Машину времени.

Ох, и мороки с ней вышло! Поначалу, после изобретения машины, никто даже и не догадывался, что каждый испытательный полет ее вызывает искажения объективной истории. А когда спохватились, создали Чрезвычайную Комиссию. Теперь вот мы, корректировщики, правим историю, да что толку? Исправишь одну аномалию, породишь десяток других. Это как цепная реакция, вышедшая из-под контроля. Бюджет и штаты Чрезвычайной Комиссии растут из года в год, а работе конца и края не видно.

Больше всего печется Чрезвычайная Комиссия об истории самой машины времени. Оно и понятно. Не дай бог, проснется однажды человечество и выяснит, что никто ее еще не изобрел. Что делать тогда? Как исправлять аномалии? А самое главное, как нас, корректировщиков, из прошлого извлекать? Нас ведь здесь тысячи...»

Трамвай безысходно и уныло тарыхтел в ночи, везя меня к вокзалу. Там, в камере хранения, ждала меня портативная машина времени, встроена в обыкновенный потрепанный чемоданчик.

Оплошность резидента

1

— Что за чертовщина! — бубнил голос за дверью. — Этого же быть не может!

Заведующий отделом науки молодежного журнала Константин Иванович Митин, проходивший мимо, слегка озадаченный, остановился у двери, за которой кто-то чертыхался. Чертей поминали в отделе науки. В его, Митина, отделе.

Несколько секунд Константин Иванович постоял в нерешительности, потом распахнул дверь.

За столом, уткнувшись в какую-то толстую рукопись и сжав виски ладонями, сидел редактор его отдела Сергей Морозов. Он был явно чем-то ошарашен.

— Что случилось? — спросил Митин.

Морозов вздрогнул, растерянно посмотрел на своего шефа, потом тоскливо хмыкнул.

— Да вот... Статья товарища Погорельского.

— Это который Погорельский? Из института эволюционной морфологии и экологии животных, что ли?

— Он самый, — подтвердил Сергей. — Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук. Я его полгода уговаривал выступить в нашем журнале.

— Как же, как же... Помню. Его статью, если не ошибаюсь, ред-

коллегия рекомендовала к публикации месяца четыре назад. В рамках дискуссии. В противовес «горячим головам». Разве статья еще не в наборе?

— Та статья — в наборе. А это — совсем другая.

— Вот как? — удивился Митин. — И чем же смог так взволновать тебя товарищ Погорельский? Уж не переметнулся ли он в стан своих научных противников? Может, и у него голова раскалилась?

Заведующий отделом засмеялся. Собственная шутка ему понравилась.

Сергей Морозов как-то странно посмотрел на шефа и проговорил с расстановкой:

— Вы правы, Константин Иванович. Погорельский стал «горячей головой». Очень горячей!

Митин поперхнулся смехом и оторопело уставился на Сергея.

— Это... в каком смысле?

— В самом прямом. В новой статье начисто отвергается все, что доказывалось в предыдущей.

— Ты серьезно, что ли? — Голос заведующего разом охрип.

— Куда уж серьезнее! Возьмите, почитайте.

Митин молча взял рукопись и отправился в свой кабинет.

Морозова Митин вызвал примерно через час.

Сергей сел в кресло для посетителей, положив потертую картонную папку с бумагами на колени.

— Подложил свинью нам твой автор, — проворчал зло заведующий отделом. — Первая статья его уже набрана. Запланирована в очередной номер. Что делать прикажешь?

— Я звонил в институт, пытался найти Погорельского, — сообщил Сергей. — Он — в экспедиции. Где-то на юге Таджикистана. В горах.

— Давно?

— Уже два месяца.

Митин удивленно вскинул брови.

— А когда пришла его вторая статья?

— Вчера вечером.

— По почте, что ли?

— Нет. Какой-то мужчина принес в отдел писем. Я только что оттуда. Попросил девочек, регистрировавших рукопись, припомнить, как выглядел посетитель. Похоже, приходил сам автор.

— Вот даже как?! Почему же он к тебе не зашел?

— Понятия не имею. Ко мне он относится очень даже неплохо.

Митин и Морозов замолчали, обдумывая ситуацию.

— А может быть, нас разыгрывают? — предположил заведующий отделом. — Что, если вторую статью написал не Погорельский? Мало ли «юмористов»...

— Вряд ли, — покачал головой Сергей. — Я сличил сопроводительные записки к рукописям. Написаны одной рукой. И подпись та же. Вот, полюбуйтесь.

Сергей достал из папки два листка и положил их перед шефом.

— А домой Погорельскому ты не звонил? — спросил Митин.

— Домой? Но ведь он же — в экспедиции...

— А ты позвони. — Митин подвинул свой телефон.

К аппарату долго никто не подходил. Наконец длинные гудки в трубке прервались и мужской голос раздраженно сказал:

— Погорельский слушает.

— Э... Николай Федорович? — промямлил растерянно Сергей.

— Да.

— Доброе утро, Николай Федорович. Вас Морозов беспокоит.

Погорельский немного помолчал, потом спросил:

- Чем могу служить?
- Николай Федорович, вы вчера принесли нам рукопись...
- Ну и?..
- Мне хотелось бы обсудить с вами кое-какие моменты.
- Понятно. Когда вас ждать?
- Если не возражаете, через час.
- Договорились.

В трубке раздался щелчок и зазвучали короткие гудки. Сергей осторожно, словно мину, положил трубку на аппарат и протяжно вздохнул. На лбу у него выступили капельки пота.

Помолчали.

- Кажется, он меня не узнал, — констатировал Сергей.
- Похоже на то, — согласился Митин.
- Может, сообщить куда следует? — предложил неуверенно Морозов.
- Куда? — хмыкнул заведующий отделом. — В милицию, что ли?
- Думаю, лучше в КГБ.
- Ну и что ты туда сообщишь? Обвинишь ученого в измене собственных взглядов? Или пожалуешься, что Погорельский не желает считать тебя своим приятелем? Не смехи людей!
- Но ведь он дома, а должен еще целый месяц находиться в Таджикистане, — не сдавался Сергей. — Разве не подозрительно?
- Ну... может быть, он заболел и потому вернулся раньше времени.
- И даже не сообщил об этом в институт?
- Вот что, — решительно сказал Митин. — Не будем фантазировать. Отправляйся к Погорельскому и допроси его. Можешь с пристрастием, я разрешаю. Прихвати гранки его первой статьи. Может быть, он пощадит труд типографии.

2

Квартиру Погорельского Сергей Морозов нашел без особого труда, хотя прежде бывать здесь ему не доводилось. Уже минут пять, наверное, Сергей стоял у двери и никак не мог решиться позвонить. Руки вспотели и не желали подчиняться, ноги противно дрожали, сердце ломилось прочь из грудной клетки, кровь отчаянно шумела в ушах.

«Ну, успокойся, — уговаривал он сам себя. — Чего вдруг так разволновался? Спокойно, спокойно. Ученые обычно не кусаются».

Неожиданно дверной замок громко щелкнул, и дверь распахнулась перед носом Сергея. Он не нажимал на кнопку звонка, а потому вздрогнул и невольно попятился.

В дверях стоял Погорельский и пристально смотрел в глаза Сергею. От его нестерпимо обжигающего, всепроникающего взгляда в груди у Сергея словно что-то оборвалось. Необъяснимый, дикий страх парализовал его. Ноги предательски подкосились, и, потерявший сознание, Сергей начал падать.

Погорельский не дал упасть своему гостю. Легко подхватив на руки обмякшего Сергея и его портфель, он постоял несколько секунд, прислушиваясь. Никого поблизости не было. Ученый удовлетворенно хмыкнул и, захлопнув дверь ногой, понес редактора в гостиную. Там он аккуратно уложил Сергея в кресло, обыскал его, изучил найденное в нагрудном кармане пиджака служебное удостоверение. Не обнаружив в карманах Морозова больше ничего достойного внимания, Погорельский взялся за портфель гостя. Рукопись своей последней статьи он читать не стал, а вот гранки просмотрел внимательно.

«Понятно, — усмехнулся про себя Погорельский, закончив читать гранки. — Мой прототип соизволил написать статью для того же жур-

нала и по той же теме! На него что-то не похоже. Не любитель он пописывать статейки в научно-популярные и молодежные журнальчики».

Сергей Морозов зашевелился в кресле, открыл глаза.

— Где я? — спросил он хриловато. — Что со мной?

Погорельский отложил гранки статьи, придвинул поближе к креслу Сергея свое кресло и уселся так, чтобы хорошо видеть глаза гостя.

— Очнулся? — спросил он мягко, почти ласково.

— Что это было, Николай Федорович?

— Ты, по-моему, просто переутомился, вот и стало плохо.

— Мне, право, неудобно...

— Ничего страшного, Сережа. С кем не бывает?

Голос Погорельского, его взгляд успокаивали, убаюкивали, гасили дрожь в руках и груди. Приятное тепло волнами расходилось по всему телу. Очень хотелось спать.

— Тебе лучше? — тихо спросил Погорельский.

— Да, — еле слышно прошептал почти заснувший Сергей.

— Ну вот и прекрасно. Ты спи, но отвечай на все мои вопросы.

— Я готов ответить на любой ваш вопрос, — проговорил медленно Сергей. Он уже спал, но продолжал слышать голос Погорельского. А еще в своем странном сне Сергей твердо знал, что говорить ученому надо только правду.

— Где ты работаешь? — спросил Погорельский. — В комитете госбезопасности?

— Нет. В редакции молодежного журнала. В отделе науки.

— Кто прислал тебя ко мне?

— Заведующий отделом.

— Он знает о двух статьях?

— Да.

— Кто еще знает?

— Думаю, никто.

— Твой заведующий отделом в твоё отсутствие может сообщить о случившемся в КГБ или милицию?

— Нет.

— Почему?

— Больше всего на свете он боится стать посмешищем.

— Фамилия, имя, отчество твоего заведующего, домашний адрес, номера его служебного и квартирного телефонов.

Сергей назвал.

Погорельский сложил рукопись и гранки в портфель Морозова, откинулся на спинку кресла и сказал:

— Забудь все, о чем я тебя здесь спрашивал, и просыпайся.

Сергей зашевелился в кресле и открыл глаза.

— Где я? Что со мной?

— Ну вот и очнулся, — усмехнулся Погорельский.

— Что это было, Николай Федорович?

— Мне кажется, ты просто переутомился, потому и потерял сознание.

— Мне, право, неудобно...

— Какие пустяки, Сережа. С кем не случается?

Погорельский добродушно улыбался, а в глазах его прыгали веселые бесенята.

Сергей ошарашенно помотал головой.

— Что за чертовщина! Николай Федорович, у вас бывает такое ощущение, что все происходящее однажды уже было с вами?

Погорельский слегка нахмурился.

— Вообще-то бывает, правда, редко. Ученые объясняют это явление разной скоростью прохождения сигнала от правого и левого глаза или от правого и левого уха к соответствующим центрам мозга.

— Ерунда! — уверенно заявил Сергей.

— Но почему же?

— Один мой друг с детства слеп на правый глаз, а однако и ему порой кажется, что он уже когда-то видел происходящее.

— Любопытно. Очень любопытно, — проговорил Погорельский задумчиво и вдруг без всякого перехода спросил: — Что привело тебя ко мне, Сережа?

Сергей осмотрелся, увидел свой портфель и взял его на колени.

— Меня очень удивила последняя ваша статья, Николай Федорович.

— Чем, если не секрет?

— Такая неожиданная смена убеждений...

— Убеждений? — переспросил Погорельский ухмыляясь.

— Ну, может, не убеждений, а позиции.

— Так убеждений или позиции? — Погорельский откровенно издевался.

Сергей разозлился.

— Называйте это, Николай Федорович, как угодно, но факт остается фактом: вы переметнулись из одного лагеря в другой. Вы перебежчик. Настоящие ученые так не поступают.

Погорельский захохотал.

— Неужели не поступают? — спросил он сквозь смех.

Сергей насупился и ничего не ответил.

Погорельский перестал смеяться и вполне серьезно сказал:

— Позвольте напомнить, молодой человек, что я не первый в последние годы перешел из лагеря противников реликтового гоминоида в лагерь его сторонников. До меня так поступили историк и археолог Шаклей, знаменитый альпинист Рейнхольд Месснер, английский ученый Тони Вулдридж и многие другие не менее известные люди.

Сергей покраснел. В редакции он слыл главным специалистом по «снежному человеку». Уж кому-кому, а ему, Морозову, непростительно было забыть такие общеизвестные факты.

— Извините, Николай Федорович, — проговорил Сергей смущенно. — Я погорячился. Честное слово, я не хотел вас обидеть или оскорбить.

— Бог ты мой, Сережа, о каких оскорблениях и обидах может идти речь? Я тебя отлично понимаю. Еще полгода назад я яростно отвергал саму идею реликтового гоминоида, а теперь вдруг доказываю, что он существует. Есть чему удивляться, верно?

— Вот именно, — растерянно пробормотал Морозов.

— Ну, а если я заблуждался? Имею я право на элементарное заблуждение? — Погорельский встал и заходил по комнате вперед-назад.

— Наверное. — Сергей пожал плечами. — Но что-то должно было послужить толчком для принятия решения о перемене лагеря.

Погорельский резко остановился напротив кресла Сергея и склонился к нему.

— Ты попал в точку, Сережа. Толчок был. Очень резкий толчок. Морозов непонимающе посмотрел на Погорельского.

— Ты знаешь, откуда я только что вернулся? — спросил ученый, внимательно глядя в глаза Сергею.

— Не знаю, — промямлил тот тихо.

— А вот врать — нехорошо. Ты же звонил сегодня в институт?

— Звонил, — признался Сергей и отвел глаза.

— Я был в Таджикистане. Ты это знаешь. Но ты не знаешь, что там я попал в лапы к «йетти». Лохматые чудища выкрали меня ночью из палатки и больше месяца продержали в пещерах. Буквально на днях мне чудом удалось вырваться из неволи. Как, по-твоему, такого рода толчок достаточен для смены «веры»?

— Но, Николай Федорович, я, право, не знал... — ошарашенно про-

говорил Сергей. — Почему же во второй статье вы ничего не рассказали о случившемся?

— Всею свое время, Сережа. Я привез любопытные материалы о реликтовом гоминоиде. Обработкой их занят сейчас наш институт. Но до возвращения всей экспедиционной группы решено не делать никаких официальных сообщений. Когда придет время для обнародования итогов работы нашей экспедиции, клянусь, не забуду ваш журнал. Вы первые получите воспоминания человека, побывавшего в плену у «снежных людей». При условии, разумеется, что набранную статью вы уничтожите. Баш на баш. Годится?

— Вообще-то я не решаю такие вопросы...

— Я это отлично понимаю, но и твое мнение в редакции не последнее. Верно? А с заведующим отделом я сегодня же встречусь и все ему объясню. Вижу, тебя еще что-то смущает.

— Вашу статью мы планировали дать в блоке с выступлениями сторонников «снежного человека», в качестве некоего противовеса. А теперь...

— Понимаю, но не вижу проблемы. Противников у реликтового гоминоида куда больше, чем сторонников. Закажите статью, например, доктору биологических наук Чернышеву. Знаешь такого?

— Да. Владимир Иванович Чернышев — ведущий научный сотрудник НИИ антропологии. Вряд ли он согласится, а если и согласится, то быстро не напишет. А нас поджимают сроки.

— Хочешь, я с ним потолкую сегодня же? Завтра, в крайнем случае, послезавтра его статья будет у тебя на столе.

Сергей растерянно пожал плечами.

— Это был бы выход. Но уговорить Чернышева...

— Значит, договорились, — подвел итог беседы Погорельский, встал и протянул руку Морозову.

3

Проводив до лестничной площадки Сергея Морозова и замкнув двери на все запоры, тот, кого называли Погорельским, усталое сел в кресло, расстегнул сорочку, разорвал на груди пленку, имитирующую человеческую кожу, и ослабил подкожные корсеты и бандажи. Фигура его при этом заметно изменила очертания. Затем он стащил с головы искусную маску, сделанную заодно с париком, и глубоко, протяжно вздохнул.

Если бы сейчас в квартире Погорельского оказался посторонний, то в существе, сидящем в кресле, он без особого труда узнал бы «снежного человека» — реликтового гоминоида. Именно таким его обычно изображают в научно-популярных журналах и молодежных газетах.

Существо, поселившееся на днях в квартире Погорельского, было резидентом племени Хранителей Великих Знаний Древних. Племя уже многие тысячи лет хранило знания протоцивилизаций. Для знаний этих нынешнее человечество пока еще не созрело.

В последнее время люди стали проявлять излишний интерес к Хранителям. За «снежным человеком» началась настоящая охота. Ищут реликтового гоминоида не только ученые, но и десятки самостоятельных экспедиций, организованных молодежными газетами и журналами. Племя Хранителей Великих Знаний вынуждено было принять кое-какие меры. В рамках операции, разработанной Советом Мудрейших, специально подготовленные группы Хранителей были десантированы в места, где никогда не жило племя — в горы южного Таджикистана, в Каракумы, в Коми АССР, в районы нижнего течения Оби, в Монголию, Непал, Калифорнию и так далее. Перед группами стояла задача «засвечиваться», лезть на глаза людям, создавать видимость, что именно

в этих районах обитает «снежный человек». «Засвечиваются» десантники уже несколько лет.

Участник одной из групп, например, позировал австрийскому альпинисту и фотографу Клаусу Найеру. Тому, как известно, удалось сделать серию цветных снимков «снежного человека». Другая группа в непальских Гималаях вступила в контакт с японским географом Нарико Судзуки. Дошлый японец сумел заманить и захватить одного из членов группы. Пришлось устроить налет на лагерь японца. Освободили пленного, изъяли алюминиевый ящик Судзуки, где он хранил свои путевые дневники, негативы и научные записи. К сожалению, при налете погибли и японец, и сопровождавшие его проводники-щерпы.

Десантная группа, работавшая на юге Таджикистана, выкрала Погорельского — участника экспедиции, организованной Институтом эволюционной морфологии и экологии животных Академии наук СССР. Он и сейчас в плену, только не в горах Таджикистана, где его ищут, а очень далеко от тех мест.

Погорельский холост, имеет отличную квартиру, дачу, машину, у него обширные знакомства в научных кругах. Именно такой прототип и требовался Мудрейшим племени Хранителей.

Резидент, принявший облик Погорельского, выполнял особое задание Совета Мудрейших. При личных встречах с видными биологами и антропологами, используя свои врожденные способности к гипнозу, резидент внушал ученым, что реликтовый гоминоид не существует. Более того, он заставлял их выступать в серьезных научных журналах со статьями, развеивающими миф о «снежном человеке».

Более молодых и менее именитых ученых резидент заставлял писать в молодежные издания. Эти ученые в своих статьях яростно доказывали, что «снежный человек» существует, называли адреса его обитания, подсказанные резидентом.

Противоречий в действиях резидента не было. К именитым ученым прислушивались те, от кого зависело посылать или не посылать экспедиции для поиска реликтового гоминоида. А серьезных научных экспедиций Хранители Великих Знаний не без основания побаивались.

Молодежь на слово никому не верит. Молодежь стремится сама во всем убедиться. Ну что ж, пусть ищет. Только ищет пусть по адресам, подсказанным десантными группами Хранителей и резидентом. Бесплодные поиски рано или поздно охладят даже самых горячих энтузиастов, и ажиотаж вокруг «снежного человека» постепенно затихнет.

Со статьями Погорельского получился прокол. Не надо было писать от его имени. Вернется — сам напишет.

«Ну да ладно, — вздохнул резидент. — Ничего страшного не произошло, дело поправимое».

Он посмотрел на часы и начал затягивать корсеты и бандажи. Через три часа улетает его самолет, а надо еще успеть нанести визиты Митину и Чернышеву. Обещал.

Резидент встал, сдвинул края разорванной кожи на груди. Разрыв исчез, словно его и не было. Натянув маску с париком, резидент ликвидировал соединительный шов на шее.

«Еще день-два, — подумал резидент, — и кончится моя попытка. С каким наслаждением сдеру я с себя надоевшую безволосую человеческую кожу, сброшу проклятые корсеты, бандажи, маску, уродующие фигуру и лицо! Через день-два я буду дома! Среди своих!»

ЧП в долине Ануя

Медно-красное закатное солнце запуталось в ветвях тополей, затихло, повисло в них, словно в гамаке. Жара спала. Делать ничего не хотелось. Я блаженно растянулся на лугу вдали от поселка. Голова слегка кружилась от густого и вязкого вечернего воздуха, целиком состоящего из запахов полевых цветов и трав.

— Лежишь? — ехидно, как мне показалось, спросил Игорь.

— Лежу, — ответил я, не открывая глаз.

— Ну-ну, — усмехнулся он. — А я луг поливаю. Не возражаешь?

— Нет, — сказал я грубовато, давая понять, что в данный момент не намерен слушать его болтовню.

— Ловлю на слове, — засмеялся Игорь. — Потом не обижайся!

Я не успел сообразить, что он этим хотел сказать. Уже через пять секунд, мокрый насквозь, я выскочил из-под не очень теплого душа.

— Черт! — выругался я, глядя на медленно уползающую арку рельсового широкопролетного комбайна, под палубой которого мутной пеленой висел занавес из мириадов мельчайших капелек воды.

— Это тебе так с рук не сойдет, — процедил я сквозь зубы и с завидной прытью, какой уже давно не замечал за собой, понесся к ближайшей опоре-башне универсального комбайна. Заскочив на площадку подъемника и нажав клавишу скоростного подъема, я попытался выжать свое одеяние. Куда там!

«Сейчас ты у меня попляшешь! — бормотал я, выливая воду из туфель. — Сейчас я тебе устрою «веселую жизнь»!

Выскочив на палубу комбайна, я ткнул пальцем кнопку вызова кабины управления и, не ожидая, пока кабина преодолет разделяющие нас 250—300 метров, помчался ей навстречу, гулко гремя по железу пола хлюпающими туфлями.

Влетев в кабину, я растерянно осмотрелся и перевел дух. За пультом оператора сидел кибер-комбайнер. При моем появлении он развернул на 180 градусов круглую, как арбуз, голову и уставился на меня.

— А где Игорь? — выдохнул я.

— В поселке, — невозмутимо ответил робот.

— Как — в поселке? Но ведь...

Я осекся, поняв в дем дело.

— А почему ты, собственно, заговорил его голосом? — с угрозой спросил я, надвигаясь на кибера.

— Так захотел Игорь...

— Ах, вот как! — взорвался я. — Игорь захотел! Водой ты меня тоже облил по его желанию?!

— Нет, но ты же не возражал.

Я зло сплюнул и повернулся к выходу. Уже в дверях спросил:

— Чем Игорь занят в поселке?

— Учит кибера номер 36 петь под балалайку.

— Что?! — Застрял я в дверях. — Что ты сказал?

— Учит кибера номер 36 петь...

— А... — Я не знал, что и сказать. — А... почему именно его? Почему не тебя, к примеру?

— Он говорит, что у меня нет слуха. И у других тоже. Один только «тридцать шестой» с музыкальными задатками.

«Придется с Игорем расстаться, — бушевал я внутренне, опускаясь на землю. — Мало того, что он сам терроризирует меня своими

ежедневными выходками, манерами и песнями, он еще и киберов этому обучать вздумал!»

Можно было вызвать ионолет, но в порыве злости я забыл о нем и пошел в поселок пешком. Всю дорогу я обдумывал, что ему сейчас скажу.

Игорь мне не понравился сразу. С первого взгляда. Две недели назад, когда мой напарник агроном-программист уехал в отпуск, Игоря — студента-практиканта факультета агропрограммирования АСХИ, направили на два месяца на нашу плантацию.

Никогда не забуду, как у меня перед самым носом шлепнулся, спирировавший вертикально, выдавший виды ионолет, разрисованный портретами модных артисток стереовиденья и эмблемами знаменитых хоккейных клубов мира. Казалось, все цвета радуги собрались на тускло поблескивающих боках этого драндулета. Из ионолета, как шмель из букета цветов, и вывалился Игорь, держа какой-то деревянный агрегат под мышкой. Присмотревшись внимательнее, я ахнул — балалайка. Сделанная не иначе как в двадцатом веке.

Одному богу было известно, на какой чистой или нечистой силе держалась эта развалина и где ее достал Игорь. Скорее всего, нашел ее у прабабки на чердаке и шутки ради притащил на плантацию.

Струны к балалайке он сотворил сам. Стихи — бездарнейшие! — к своим песням он тоже сам писал. Самое же удивительное то, что он научился на этом ископаемом инструменте играть!

С появлением Игоря в поселке (поселок — громко сказано, здесь всего один служебный корпус, жилой двухэтажный коттедж, склад и огромный пластиковый ангар для комбайнов и всевозможного оборудования к ним) жизнь моя стала невыносимой. Его бесконечное бречанье, его идиотские песенки выводили меня из себя. Я был несказанно рад, когда он отпрашивался и улетал дня на два-три в ближайший агрогород к знакомой девушке. А теперь, получается, что и в дни его отсутствия меня ожидает «веселая» жизнь, поскольку кибер номер 36 будет исправно Игоря замещать. Всю жизнь мечтал! Завтра же свяжусь с деканатом. Пусть забирают своего «артиста» и направляют куда угодно. С меня хватит! Ну разве можно подумать по его выходкам, что человек закончил два курса института и вот-вот выйдет из стен вуза специалистом?!

Балалайку и Игоря я услышал издалека. Вместе с кибером номер 36 он сидел на берегу быстрого Ануя, любовался россыпью раскаленных монет, брошенных в реку вечерним светилом, и, разумеется, пел.

Не доходя до них, я остановился. Кибер номер 36 внимательно смотрел Игорю в рот. Я повернулся и пошел к коттеджу, молча присел на крыльцо и стал наблюдать, как «маэстро» натаскивает своего ученика. Ученик начал старательно подпевать Игорю его же голосом:

Чем тебе не райские места?
Красоту такую поискать бы.
Город брось, лети скорей сюда —
Киберы уже готовят свадьбу.

«Этого мне еще только и не хватало до полного счастья», — с тоской подумал я, а вслух спросил:

— Развлекаетесь?

Игорь обернулся, удивленно осмотрел мой наряд и улыбнулся.

— Ну вот что, маэстро, — не выдержал я. — Завтра, как только из Барнаула пришлют тебе менее талантливую замену, можешь отправляться на все четыре стороны! Этого бездельника под номером 36 можешь забрать себе на память. Только не забудь перед отъездом рас-

консервировать нового. И вообще, здесь не парк культуры и отдыха. Ясно?

— Так точно, шеф! — сказал Игорь улыбаясь. — Спасибо за кибер. Институт искусственного мозга будет от него в восторге.

Я хлопнул дверью и отправился к себе на второй этаж, даже не пожелав Игорю спокойной ночи.

Проснулся я от удара. Массивная картина, подаренная в день рождения моим напарником и висевшая уже не первый месяц на стене, сорвалась с гвоздя и больно ударила острым углом по плечу. Не продрав толком глаза, я на ощупь включил верхний свет и, как загипнотизированный, уставился на стол, стоявший посреди комнаты. На нем судорожно прыгала хрустальная ваза, расплескивая воду и разбрасывая цветы. Звенела где-то посуда. Весь коттедж вздрагивал. Не иначе — Игоря шуточки. Ну, погоди у меня!

Коттедж снова вздрогнул и как-то странно покачнулся. Да ведь это же... Я вылетел из постели как ужаленный. Землетрясение! Следующий толчок сбил меня с ног. Что-то где-то глухо ухнуло. Зазвенело битое стекло. Погас свет.

Схватив в руки одежду, спотыкаясь и налетая на разбросанные и разбитые вещи, я двинулся к выходу. Свет загорелся снова, когда я был уже на улице и подбегал к служебному корпусу. Лучи прожекторов больно ударили по глазам. Было два часа ночи.

У главного пульта плантации колдовал полуобнаженный Игорь.

— Что там? — с ходу спросил я.

— Крепко трянуло. Вышла из строя Юго-Западная силовая установка.

— Только и всего-то. Включи дублирующую.

— Она, шеф, и была включена. Ты же сам распорядился основную поставить на профилактический ремонт. Вот я ее вчера и поставил. Теперь раньше чем через сутки ее не запустить.

— Этого еще только и не хватало! Что обещают синоптики?

— Сейчас посмотрю, я только что запросил... Ага. Вот и ответ. — Игорь подхватил выскочившую из прорези аппарата карточку. — Температура... давление... влажность воздуха... Это все в норме... Ветер юго-западный...

В глазах Игоря блеснул испуг.

— Через час здесь будет буря. Скорость ветра — 20—25 метров в секунду, — почти шепотом закончил он.

Я вырвал у него из рук карточку.

— Но ведь можно временно перекрыть дыру в защите полями соседних установок: Южной и Западной, — неуверенно предложил Игорь, вновь и вновь перечитывая из-за плеча данные метеоцентра.

— Шутишь, — ответил я, не в силах оторвать взгляд от страшных чисел. — Даже при максимальной нагрузке, в лучшем случае, удастся уменьшить скорость ветра только в два раза. Соседние установки при таком режиме работы выйдут из строя минут через двадцать-тридцать. Чтобы установить переносную силовую установку и запустить ее, требуется минимум полтора-два часа.

Игорь быстро повернулся к пультам и взял аккорд на его клавиатуре.

— Что ты еще придумал?

— Отдал команду киберам срочно монтировать переносную установку.

— Поздно, — бросил я и нервно заходил по комнате взад-вперед. У меня привычка такая: если я нервничаю или над чем-то всерьез ломаю голову, мечусь по комнате как заводной. — Они все равно не успеют, — рассуждал я лихорадочно вслух. — Буря начнется через

час, установка заработает в лучшем случае через полтора. Чем держать ветер остальное время? Руками?

— Агрогород может нам помочь?

— Он далеко. Добровольцы оттуда, тем более после землетрясения, придут не скоро. Да и чем они смогут помочь? Привезут силовую установку? У нас их на своих складах несколько штук стоит. Раньше наших киберов все равно никто смонтировать установку не успеет. Они уже начали монтаж?

— Да.

— Ну вот... Почти час уйдет на запуск реактора...

Я замер, чуть не налетев на Игоря. Оказывается, он тоже ходил зад-вперед по комнате, только поперек моей трассы.

«Он что, издается?! — подумал я ошарашенно. — Нашел время передразнивать!»

Я зло плюхнулся в кресло: «Ну что ж, походи-походи! А я уж так и быть посижу. Молодым везде у нас дорога!..»

Игорь злил меня, и я ничего не мог с собой поделаться. В нашем поселке всегда царил тишина. И я, и мой напарник любили покой и уединение. С появлением же Игоря о покое осталось только мечтать! Будь я суеверным, я бы и землетрясение связал с его появлением...

Не обращая внимания на мою внезапную злость, Игорь продолжал наматывать километры по комнате. На ходу умудрялся еще и ногти грызть — дурацкая привычка! Вообще-то я допускал мысль, что кто-то еще, кроме меня, в задумчивости бегаёт зад-вперед. Почему бы и нет? Но почему этим кто-то должен быть именно Игорь, человек, к которому я отношусь с неприязнью?

В открытое окно влетел первый слабый порыв ветра. Голубые прозрачные шторы выгнулись, словно паруса старинного фрегата. Игорь вдруг остановился перед окном и сосредоточенно уставился на паруса-шторы, будто впервые их увидел.

«Паруса... — вздохнул я. — Сейчас на плантации парусник капризный тоже распускает паруса-листья. Они у него чертовски красивые, ажурные и тонкие, легкие и нежные... Они-то его и погубят. Даже ветер, дующий со скоростью десять метров в секунду, за несколько минут уничтожит всю плантацию, изорвет в клочья листья беззащитного растения, давними предками которого были женьшень и обыкновенный лопух...»

Парусник капризный... Капризнее растения не сыщешь. Единственное место на Земле, где он прижился и размножается, да и то, отгороженный от ветров и непогоды силовыми полями, — это долина Ануя. Здесь, в Алтайском предгорье, издавна славящемся своим разнообразием, расположена первая и пока единственная в мире плантация парусника. Много лет ее расширяли, тряслись над каждым корешком... В этих серебристых корнях вся его сила. Препараты, изготовленные из них, лечат десятки ранее считавшихся неизлечимыми болезней, а главное — заставляют обновляться человеческий организм, старых делают молодыми. Человечество вплотную подошло к биологическому бессмертию.

В нынешнем году плантация должна была дать первый крупный сбор корней для фармацевтических заводов. Тысячи людей во всем мире так и не дождутся избавления от тяжелых недугов, сотни тысяч, миллионы — не получат желанной отсрочки от свидания со старостью и смертью. И все из-за какой-то глупой нелепости!

«Что же придумать? Как спасти плантацию?» — ломал голову я.

— Шеф. — Игорь тронул меня за ушибленное плечо.

— Ну, что еще? — Я вздрогнул и зажал рукой больное место.

— Разрешите изрезать ангар.

Я ошарашенно посмотрел на студента.

— Ты в своем уме? Зачем?

— Для парусов.

— Каких еще парусов?! — чуть не взвыл я от боли и злости.

— Я согнал все имеющиеся в нашем распоряжении широкопролетные рельсовые комбайны на юго-западный край плантации, к ущелью. Если их пролеты затянуть пластиком, то они преградят ветру путь в долину. Я узнал: пластик в рулонах есть в шестом агропоселке. По моей просьбе они уже выслали к нам ионолет с рулонами. Но прибудет он еще не скоро. До его прибытия мы могли бы использовать пластик ангара и поля Южной и Западной силовых станций, чтобы хоть немного сбить скорость ветра.

Только секунда я молчал, собираясь с мыслями.

«Только и всего-то, — наконец усмехнулся про себя. — Просто, как все гениальное». Впервые, пожалуй, я с удивлением смотрел на Игоря, не веря еще в то, что выход из безвыходного положения возможен.

— Но ведь комбайнов не хватит. Чтобы защитить плантацию, надо их поставить не только на входе в долину, но и по всей плантации через какие-то интервалы.

— Я уже послал киберов на кранах-ионолетах в ближайшие агропоселки. Через полчаса-час они натаскают комбайнов сколько угодно. Как быть с ангаром? Можно резать?

— Ты еще спрашиваешь?

Расчеты Игоря в основном подтвердились. Армада гигантских комбайнов, поблескивая в свете прожекторов пластиком парусов, перекрыла брешь в силовом защитном поле. «Флотилия» выглядела убедительно. Так и казалось, что она вот-вот поднимет якоря и уплывет в ночь.

Игорь носился на своем расписном ионолете как одержимый. Он поторапливал киберов, натягивающих паруса на вновь доставленные комбайны, указывал, куда их ставить, словно полководец древности сыпал приказы направо и налево. Я даже не понял, как получилось, что инициатива полностью перешла в его руки. Мне досталась роль помощника, но я не обижался. В конце концов идея парусов принадлежала Игорю.

Все шло по плану. Осложнилась обстановка минут за двадцать до запуска переносной силовой установки, когда ветер перешагнул рубеж — двадцать метров в секунду. Я был на передовой линии — у самого входа в долину, когда увидел, что головной комбайн армады при очередном резком порыве ветра накренился. Передние колеса опорных башен подпрыгнули в воздухе и, как только порыв немного ослаб, со страшным лязгом вернулись на рельсы. Внутри у меня похолодело. Если головной комбайн опрокинется, то он обязательно повалит комбайн, стоящий за ним на тех же рельсах, тот собьет следующий и так далее, пока все до одного комбайна этой цепочки не грохнутя, как костяшки домино, выстроенные в ряд. И тогда откроется коридор шириной в полкилометра.

— Режь дыры в пластике, — приказал я роботу, пробежавшему мимо. Робот бросил свою ношу и кинулся к парусу.

Я лихорадочно соображал, что еще можно придумать. Словно из-под земли вырос Игорь.

— Что случилось, шеф? Почему кибер дырявит парус?

Я не успел ответить. Передние колеса комбайна вновь взвились вверх и с грохотом вернулись на рельсы.

— Понятно. У меня есть трос, — бросил Игорь и пустился бегом к своему ионолету. Через пару минут два кибера с катушкой троса помчались к головному комбайну. Игорь еще поспеивал за ними, отдавая команды на ходу.

— Зачем тебе трос? — спросил я у Игоря, когда тот пробежал мимо.

— Привяжем колеса к рельсам, — крикнул он и скрылся в тени опоры комбайна.

Через минуту он вернулся.

— Ну что?

— Там темно, но киберы должны справиться — они хорошо видят и в потемках. Неплохо бы связать между собой комбайны, стоящие на соседних рельсах. Я — на склад. Там есть еще несколько катушек троса.

Он улетел.

Тут я заметил валяющийся на земле большой переносной фонарь, брошенный кибером, которого мне пришлось заставить резать дыры в парусе. Я подобрал фонарь и ринулся туда, где возились с тросом роботы. Дело у них явно не клеилось. Колеса опоры вырывались и подпрыгивали. Один из киберов — тридцать шестой — оступился и попал под колесо. Две половины его, судорожно дергаясь, поползли в разные стороны. Второму киберу все же удалось захлестнуть колесо тросом, но при этом в тележке опоры комбайна что-то заискрило, и пошел синий дым. Я побежал на помощь к роботу. Добежать до него мне не удалось — трос со звоном лопнул и глубоко рассек мне грудь и лицо. Я потерял сознание.

Очнулся я от боли. Надрывно завывал ветер. Громко хлопал изрезанный парус. Я лежал на широком, гладком и холодном рельсе и почти не ощущал ветра. Наверное, кибер затащил меня в затишье, за опору, а сам ищет ионолет, чтобы отправить меня в город. С трудом я открыл глаза. Превозмогая страшную боль, приподнял голову и почувствовал от ужаса. Сквозь красную пелену, застилавшую глаза, я увидел, что головной комбайн с сорванными тормозами медленно, но неуклонно надвигается на меня. Нас разделяли сантиметры...

Последнее, что я увидел, снова теряя сознание, был ионолет Игоря. Разноцветной молнией блеснул он на фоне ночного неба. Грохота взрыва я уже не слышал...

Не услышал я и в наступившей после взрыва невероятной тишины. Стих ветер. Обвисли паруса «флотилии». Это заработала переносная силовая установка.

Почему я остался жив, мне рассказали позже.

Прибывшие на помощь из города напарник-стпускник и группа добровольцев стали свидетелями последней «выходки» Игоря. Видя, что на меня надвигается потерявший управление комбайн, Игорь на полной скорости протаранил его своим ионолетом. Страшный удар сбросил махину с рельсов, не причинив мне вреда.

Игорь погиб.

В госпитале я пробыл два месяца. Ребра и проломанный череп мне срастили и застали быстро — за несколько дней. Дольше со мной возились косметологи, пытаясь придать моей рассеченной физиономии хотя бы подобие первоначального вида. Говорят, это им удалось.

Я вел ионолет над плантацией. В золотые наряды разоделась тополя. Даже под колпаком силового поля они не пожелали стать вечнозелеными. Волновалось, искрилось в солнечных лучах, переливалось всеми цветами радуги море парусника капризного. И при полном отсутствии ветра листья парусника шевелились и покачивались...

В третьем и седьмом секторах плантации полным ходом шла первая уборка...

Ионолет я посадил, не долетая до поселка. Возле одного из комбайнов что-то делал мой напарник Сергей. Он раньше времени вышел из отпуска.

Мы с Сергеем крепко обнялись.

— Идем в поселок, — сказал он. — Заждались мы с Игорем тебя.

— Игорь... здесь?!

— Ну конечно. А ты разве не знал?

— Я слышал, что он в ту ночь... погиб.

— Я не только слышал, но даже помогал грузить его тело в санитарный ионолет. Он не только выжил, но и улетает сегодня в составе шестой межзвездной экспедиции. Мы думали, ты не застанешь его...

— Игорь улетает?

— Да. Им срочно потребовался биолог. А биология — смежная специальность Игоря.

Шампанское шумело в голове, и всем было весело. Игорь брэнчал на балалайке новую свою песню:

...Стану прежним, поверь мне только,
Грусть уйдет, если рядом ты,
Юго-западнее поселка
Расцветут в это утро цветы...

— А где мой дружок кибер номер 36? — спросил вдруг Игорь, прекратив петь.

— Погиб, — сухо ответил мой напарник Сергей. — Попал под колесо комбайна. На следующий день его забрали специалисты из института искусственного мозга.

— Жаль. — Игорь нахмурился и опечалился. — Хороший был робот. У нас перед вылетом на практику побывали специалисты из института искусственного мозга, просили присматриваться ко всем киберам, какие только встретятся, искать роботов с зачатками разума. На мозг наиболее способных роботов институт собирался матрицировать человеческое сознание. Таких роботов, если эксперимент удастся, будут отправлять в далекий космос.

— А разве нельзя для таких целей выпускать роботов специально? — поинтересовался я.

— Увы, пока нет. Талантливых роботов специально создавать еще не научились и, если верить ученым, не скоро научатся. Разум у робота, способность мыслить как человек — игра случая, ничтожное и непреднамеренное отклонение от технологии при выращивании кристаллов мозга. Я хотел предложить институту 36 и даже дал им телеграмму...

Возле крыльца сел ионолет. Кабина его была пустой.

— Это за мной, — вздохнул Игорь и встал. — Балалайку, если позволите, я возьму с собой.

Я удивленно пожал плечами.

— Конечно. Ведь она же твоя.

Игорь печально посмотрел на меня, пожал руку Сергею, потом мне и быстро направился к выходу.

Ионолет резко взлетел и, стремительно набирая скорость, понесся на юго-запад.

Все так хорошо шло и вдруг — это прощальное рукопожатие... Лучше бы его не было — люди так крепко руки не жмут...

— Счастливого тебе полета, кибер номер 36! Или как тебя теперь называть, парень? — прошептал я, сжимая и разжимая нестерпимо ноющие пальцы правой руки.



наши публикации

ИЗ КОГОРТЫ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Каждому, кто хоть немного интересуется историей нашего края, известно, конечно, имя П. А. Казанского или его псевдоним — Премудрая крыса Онуфрий. О нем осторожно, с оглядкой (такое было время!) упоминали Г. Рапопорт в книге «Страницы литературного прошлого Алтая» и М. Юдалевич в «Однополчанах». Восторженно говорил о Казанском автор уникальной книги «Крестьяне о писателях», неугомонный учитель из коммуны «Майское утро» А. М. Топоров.

Сегодня мы наконец-то получили возможность узнать почти все о замечательном человеке, чья жизнь трагически оборвалась по воле сталинских палачей. Эту возможность мы получили благодаря тому, что дочь писателя Зоя Порфирьевна Казанская (Солодянкина) сохранила в целости архив своего отца Порфирия Алексеевича и недавно передала его на государственное хранение.

Судьба П. А. Казанского немыслима вне Алтая. Алтай он любил самозабвенно. Ему посвятил труды и дни свои, пронизанные светом яркого ума и беспокойной души. Белорусский поэт И. Модзалевский, который с 1913 года жил в Барнауле, в стихотворном посвящении «Истинному поэту Сибири П. Казанскому» называет его «левцом просторов величавых великой северной страны...».

Слетал Великий бог Единый
Любви, добра и красоты,
И в край великий, но пустынный
Несешь его заветы ты... —

писал И. Модзалевский своему русскому собрату.

Первые поэтические строки Казанского рождены революцией 1905—1907 гг. «В кровавые годы я песни запел», — заявлял поэт. Это были песни-сатиры. В стихотворных памфлетах студент Томского университета Казанский гневно разоблачал самодовольную тупость, садистскую жестокость, гнусное лицемерие царских сановников графа Витте, генерала Трепова...

Наиболее полно литературное дарование Казанского раскрывается в Барнауле. В 1912 году он активнейший сотрудник газеты «Жизнь Алтая», а с 1913 года становится ее редактором. Издаваемая барнаульским купцом В. М. Вершинным, ежедневная общественно-политическая газета носила в целом либерально-демократическую окраску. Первая полоса, как правило, отводилась разнообразнейшей коммерческой рекламе. Но особый интерес у читателей вызывали третья и четвертая полосы «Жизни Алтая», представляемые сибирским литераторам И. Тачалову, А. Пиотровскому, Г. Гребенщикову, С. Исакову, В. Шишкову. И почти в каждом номере газеты публикуются фельетоны, статьи, рецензии, сообщения и заметки П. Казанского. Ничто не ускользает от его внимательных глаз: дымящая фабричная труба, отравляющая воздух в центре Барнаула, и мятарства каменских почталыонов, тонущих в грязи на безымянных улицах города; многолетняя болтовня о пользе просвещения в Бийске и издевательства над невинным евреем в Шелаболихе — все под пером сатирика получает глубокое обобщение и приводит читателя к выводу о гнилости, несостоятельности общественного строя.

В одном из писем П. А. Казанскому В. Я. Шишков отмечает: «Жизнь Алтая» — молодец молодец, в особенности литературный отдел. Высоко оценил Вячеслав Яковлевич и успехи барнаульского сатирика: «Над Вашей «Камаринской» я от души посмеялся».

Революционное выступление трудящихся в 1917 году поэт сравнивает с очистительной грозой. В журнале «Алтайский кре-

стьянин», издававшийся кооперативным Союзом Алтайского края, (№ 12, 1917 г.) печатается стихотворение К. Порфирьева (читай П. Казанского) «Вешние дни»:

В эти вешние дни	Стал бессилён, смешон
Ярок солнца восход,	Повелителя гнев...
В эти вешние дни	И собираясь вперед
Скинул цепи народ.	В светлый радостный путь,
По просторам родным	Расправляет народ
Вспыхнул гордый напев,	Богатырскую грудь...

В № 14 появляется статья П. Казанского «Рабочий праздник 1-го мая в Барнауле». Вот как автор объясняет сельским кооператорам свое понимание социализма: «Это такой строй жизни, когда весь народ составит всенародную дружную артель...»

Первомай в Барнауле вылился во всеобщее ликование. «Немного помешал рабочему празднику, — заметил Казанский, — сильный ветер, несший целые тучи пыли и сильно трепавший знамена. Но на ветер никто не обращал внимания. Шли черные, пыльные, но бодрые и радостные и громко, смело пели смелые песни о борьбе и свободе».

Будучи инструктором губсоюза, П. А. Казанский часто ездит по Алтаю, вникает в черновую работу кредитных товариществ, участвует в общих собраниях пайщиков. В очерках «Против бога» и «Спорщики» он с грустным юмором рассказывает о медвежьих углах губернии, где крестьяне еще темны и невежественны, не всегда способны отстоять собственные выгоды, безропотно позволяют морочить голову демагогам, обиралам, малOVERам, уныло повторяющим: «Нет, брат, супротив бога-то машиной — никакой прибыли не доспеешь, окромя убытка». П. А. Казанский, верный последователь Г. Потанина и Н. Ядрищева, идеологов сибирского областничества, абсолютизировал роль просвещения низов, убежденно отвергал большевистскую идею диктатуры пролетариата. Но насколько не правы те, кто меньшевика П. Казанского зачислял в агенты колчаковского режима! Опровергающим документом служит неотправленное письмо П. А. Казанского Г. Д. Гребенщикову от 8 апреля 1919 года: «Я с 16 июля 1918 года служу членом Алтайской губернской земской управы, заместителем председателя. В земстве заведу отделом народного образования и поэтому остаюсь в близких сношениях с культурно-просветительским Союзом».

В трудные 1918 и 1919 годы Казанский не прекращает литературную работу. В январе 1919 года вышел при его непосредственном участии первый номер журнала «Сибирский рассвет». Вот что пишет об этом сам П. Казанский: «Журнал... развернут из «Алтайского крестьянина». Подзаголовок его: журнал литературы, науки и народного просвещения. Внешность немного вроде «Соврем. Мира», только тоньше, в номере 160 страниц. Сильно настаивали на издании такого журнала Новиков-Прибой и Тупиков. Я сначала относился скептически, боялся, что не хватит сил, но когда решили издавать, впрягся тоже помогать, вывозить доброе дело. Участвую в редакционном коллективе, веду «иностранные обозрения», пробую писать критические статьи... И даже грешу беллетристкой. Написал 2 рассказа, кои были «Агулипроком»* одобрены, коллективом приняты и в журнале напечатаны...»

Усилиями «Агулипрока», возникшего на базе культурно-просветительского Союза, была создана библиотека «Сибирского рассвета». В апреле 1919 года П. Казанский итожит: «Брошюр сибирских писателей издали пока только 8 (Гребенщиков, Новоселов, Шишков, Исаков, Жиликов, Казанский (стихи), Ершов и Гольдберг) и остановились из-за недостатка бумаги». В условиях голода и разрухи эти 8 «брошюр» — просветительский подвиг барнаульских литераторов, среди которых душа «Агулипрока» — П. А. Казанский. Строительство новой жизни увлекло поэтическую натуру Порфирия Алексеевича. Он отрывается от меньшевистских взглядов. Как прекрасный знаток Алтая он входит в состав губернской комиссии по электрификации. На страницах газеты «Красный Алтай» часто публикуются его статьи по вопросам подъема экономики, культуры и науки советского Алтая.

Последние годы жизни П. А. Казанский работал учителем образцовой трудовой средней школы в с. Тюменцеве. «Не могу на бумаге передать, как он знал литературу, — вспоминает бывший ученик В. Г. Вальщиков, — как мог он читать изучаемое произведение! Тишина в классе стояла такая, что боялись даже кашлять...»

Поразило тюменцевцев известие об аресте П. А. Казанского. З. С. Рашупкина вспоминает: «Когда Порфирия Алексеевича взяли органы НКВД, объявив «врагом народа», никто из нас в это не поверил. Все мы считали, что это ошибка. Мы, шестиклассники, только и шептались о том, как сообщить т. Сталину о беде...»

О дальнейшей судьбе П. Казанского подробно говорится в статье прокурора края И. Гушина «Обжалованию подлежит» («Алтайская правда», 16, 17 сентября 1988 г.).

Человек беспримерного трудолюбия, П. А. Казанский много писал, но далеко не все удавалось опубликовать. Осталась ненапечатанной его повесть «Дуэль», почему-то отвергнутая в 1925 году редакцией журнала «Сибирские огни».

Восстанавливая справедливость, предлагаем читателям альманаха «Алтай» эту повесть.

В. ПЕТРЕНКО,

заведующий архивным отделом крайисполкома

* «Агулипрок» — шутовское название, данное П. Казанским Алтайскому губернскому литературно-продовольственному комитету. (Ред.)

Порфирий КАЗАНСКИЙ

ДУЭЛЬ

I

Псаломщик во дворе дрова колол. Легким и, в то же время, сильным ударом вгонял топор в крикавшее белое полено, подымал его на топоре и сокрушительно бил обухом по толстой суковатой колоде. Полено с легким звоном разлеталось пополам. Псаломщик улыбался, брался за следующее. От взмахов рук взметывались русые кудри, все крепче алел румянец, и горохом проступал на лбу пот.

Стукнула калитка.

— Александру Ивановичу наше почтение! С дровами воюешь?

Твердой поступью молодой, темноусый, бритый подошел и протянул руку.

— Здравствуй, Илья Петрович, здравствуй! — отозвался псаломщик. — Что, дело есть или так зашел — покалякать? Престиж-то потерять не боишься — к служителю культа заходишь?

Говорил весело, а где-то в глубине голоса маленькая струйка горечи текла.

— Какой мой престиж!.. Мы люди маленькие... А вот, смотрю я, Александр Иванович, на твою работу, и охота мне спросить тебя: что тебе веселее — дрова колоть или алилуй качать?

Псаломщик в улыбку расплылся.

— Если сущую правду говорить, — верно, дрова колоть веселее!.. Люблю работать и хозяйство люблю.

— Та-ак... А я, собственно, к Антонине Ивановне пробираюсь. Дома она?

— К сестре? Дома... — немного удивился псаломщик. — Пойдемте.

В чистеньком домике кухонька и две комнатки, с половиками во весь пол, с геранями и занавесками на окнах.

— Тоня!

Из дальней комнатки невысокая, кругленькая, крепкая девушка вышла навстречу. И расцвела улыбкой:

— Илья Петрович!

— Вот, Антонина Ивановна, зашел вам напомнить... Как раньше говорено у нас с вами было при свиданье... что любопытствуете вы коммуны нашу поглядеть... Так вот... День ноне подходящий, праздник, погоды хорошее... А у меня и конь на селе у кума стоит...

Маленько непривычно Илье Петровичу, не строится речь складно.

— Вот спасибо! С удовольствием по-

еду! Присядьте, Илья Петрович, мигом соберусь!

— Это где же вы познакомьтесь-то да столкнётесь-то успели? — спросил псаломщик.

— А в клубе-читальне. Мы там уж сколько раз встречались, — бойко ответила Тоня и убежала.

Псаломщик и гость сели, помолчали.

— ...Вот я и думаю, — сказал коммунар, как бы продолжая прерванный разговор, — что коли тебе, Александр Иванович, работать веселее, чем алилуй качать, на кой ты его качаешь и до каких пор качать будешь?

— Чудной ты, Илья Петрович! Что же мне делать, как не дьячить? Учен я мало, в учителя не гожусь, да и не примут из псаломщиков, хоть бы и годился... А в писаря идти али в счетоводы — может, и сумел бы, да мочи моей нет за бумагами сидеть, смерть не люблю... А тут уж, так сказать, по знакомой дорожке, по наследству. И дед, и отец дьячили... Да и некуда податься.

— А сам же говоришь — хозяйство любишь. Хозяйствуй! А то ступай к нам в коммуны.

— А прокоммунаритесь-то вы скоро, али нет еще?

— Не прокоммунаримся. Твердо встали. Растем.

— Ушли же от вас Иван Мефодьев, Степан Супоросных да еще... семей двенадцать ушло, я слышал...

— Верно. Ненадежные ушли, крепкие остались. А теперь, как у нас земля по девяносто, по сто пудов с десятины родить зачала, да как коровенки по полведру да по ведру в день таскать стали, дак уж человека два назад к нам просятся. У нас уж вон и мотор на мельнице, и трактор...

— Ну вот, пуще разбогатеете и не поделитесь барышами-то.

— Верно твое слово, не поделится, потому — и начинать не станем. У нас теперь одно к одному все в общий ком сжимается, а не врозь, не на дележку... Вот, Супоросных хоть бы и попросился назад, — нам его даром не надо: этот бы первое дело за дележку барышей взялся.

Псаломщик помолчал.

— Кто вас знает?.. Может, и так. Ну,



опять же, ведь и вы меня не приняли бы. Духовный!..

— Это как знать... Верно это, что духовным ноне доверия мало. Не любит народ духовных, что говорить... А только человек человеку рознь. Про тебя вот, Александр Иванович, вся округа знает, что ты человек не вредный. И неведомо, почему в дьячках болтаешься. В бога-то ведь, по-ди, сам не шибко веришь?

— В бога-то? — помолчал псаломщик и вдруг рукой махнул. — А шут его знает, есть он, бог-то, али нет. Не в нем, брат, дело, а колея такая, привычка. Знакомое дело.

— Ну вот! Какой же ты есть человек, что из бесполовой колени выкатиться не можешь? На то ты и человек, чтобы самому себе дорогу искать, а не катиться куда тебя катнуло. И опять же при таком твоём понятии о боге много ли из твоей службы толку выйдет? Не для духа, а просто для брюха? Не верю я в вашего бога, а скажу тебе от писания. Там тоже дельные слова попадаются... Горе, говорит, тебе, что ты тепед, а не холоден и не горяч. Это вот как раз про таких, как ты, сказано. Никого вы этак к себе не зазовете, зачирвеее и с живой, и с мертвой церковью. Слышь, Александр Иванович, простывай скорее наготово да берись за дельную работу! Уж поверь, и духу, и брюху лучше будет.

— Ну, с тобой, Илья Петрович, говорить-то не связывайся, — ты хоть кого за-

говоришь. Просто — трудно подняться, переломить жизнь...

— Мы же ломаем!

— Ну, Илья Петрович, готова я, идемте, — вышла в платочке Тоня.

— Прощенья просим, Александр Иванович! А за слова мои не сердись, от души я, для твоей же пользы.

Александр Иванович протянул коммунару руку.

— Ладно, чего там... Не видно, что ли! Ну, Илья Петрович, не избодьте мне сестру-то в коммуне... — сам улыбался. — А то, смотри, жених у нее человек строогий!..

— Не за худым делом едем, будь спокоен, — серьезно ответил коммунары.

II

Три версты савраска отмахал бойко. На взгорке раскинулись постройки коммуны. Илья Петрович на новый сруб показал:

— Мельница будет. Мотор купили уж, динамку прикупить хотим — осветиться, кстати.

— Да не может быть! У вас тут — электричество! — взахалась Тоня.

— А что же такое?.. Да и не мы первые. А вон колодец трубчатый устраиваем.

С трескучим рокотом выполз из-за коммуны трактор, волоча за собой груженные кирпичом телеги. Обрадовался Илья Петрович:

— А вот, кстати, и конька нашего в работе увидите!

Тоня глядит во все глаза. Сразу захватил ее непривычный в деревне размах крупного хозяйства.

— А зачем вам кирпич?

— Свилярник правильный строить за-теяли. Скота у нас порядочно, молока много, сепаратор свой, на молоканку прямо сливки возим, а обрат девать некуда... Ну, значит, свиней надо. А уж заводить, так не каких попало — добрых.

В скотный двор зашли. Опять взахалась Тоня. Еще бы — у каждой коровы свое стойло, с окошком, пол покатый к середине наслан, корм в кормушках... На сорок коров.

— Слушайте, Илья Петрович! Ведь это все дорогое, должно быть. Как вы это все заводите?

Усмехнулся.

— Не без кредита, конечно. Ссуды бере-рем. Трактор в рассрочку взяли, мотор — тоже. А платить — вот! — обвел он со взгорка рукой.

Колос к колосу, ровная наливалась на полях пшеница.

— Чистосортная! По черному пару по-куда. И то пудов по восемьдесят, а то и по девяносто возьмем с десятины. А нынче с осени девятиполку заводим.

Посредины коммуны двухэтажный дом. Завернули в него, в нижний этаж.

— Кухня у нас тут и столовая, — по-яснил Илья Петрович.

В кухне бабы возятся. Из большой низкой хлебной печи горячим хлебным думом тянет. В котле щи клокочут, в другом густо пыхтит каша.

В соседней комнате ряд длинных столов накрыт клеенкой. На полках горой посуда. Улыбается Илья Петрович.

— Нынче привыкаем из тарелок есть. Все из общих чашек хлебали, а нынче надумались... Как ученые люди говорят, чтобы друг другу ненароком во щи с ложки болезнь какую не спустить. Чудно нашим попервоначалу, — как обедать, так и смех!..

Наверху светлый просторный зал с лозунгами, плакатами, портретами по стенам, с рядами скамеек. Кумачом накрыт большой стол, по нему газеты, журналов штук три. Из-за стеклянных дверей шкафа выглядывают книги.

— Батюшки, да у вас тут целая библиотечка и читальня!

— Есть, Антонина Ивановна, не густо еще, а есть. Обзаводимся. Вот только теперь беда наша — человека у нас подходящего нет, возиться со всем этим. Ну, а так... Почитай, наполовину без пользы живет. Читать бы по свободным вечерам вслух, да с объяснением, да с разговором, с обсуждением, значит. Эх, дело бы было! Ребятам тоже учить некому — душ пятнадцать их у нас, подходящих по годам. В село бегать им далековато, а в буран и отпускать боязно. А возить их пробовали — разгону много, на одной не увезешь. Два раза в день по две, а в грязь али в уброд по три подводы... Уж на что бы лучше свой-то человек!

У Тони блестели глаза.

— Ах, Илья Петрович, прямо на но-

вую землю вы меня завезли! И не подумаешь, что все это в трех верстах от нашей деревни! Конечно, рассказывали вы мне в избе-читальне, и все-таки... Все-все по-новому, все какое-то у вас бодрое, молодое... И вот теперь... Так бы и осталась тут у вас, вот в читальне да с ребятами работать! Только нельзя ведь. Чужой я вам человек, да еще из духовных...

У Илья Петровича глаза загорелись, а у Тони погасли.

— А не похожи вы, Антонина Ивановна, на духовную-то. Совсем не похожи!

— Откуда мне и походить-то? Отца с матерью давно нет. Брат... Он — видите, какой. Ему это ремесло — знакомое дело и только. Иной раз обидно за него... В епархиальном я год только училась, теперь как худой сон его вспоминаю. А потом, с перерывами, по советским школам. Ну, кончила вторую ступень, работать охота большая, а дьячкова дочь, дьячкова сестра... Подавала заявления, заполняла анкеты. Читали, жевали губами, морщились. «Ваше социальное происхождение... И притом вы не член профсоюза». А откуда мне им быть, когда я со школьной скамьи. Ну и живу у брата в деревне. Вот, хожу в избе-читальню — избачу помогаю. И то боюсь, что попросят не ходить. Вот у вас тут большое дело, живое, интересное! И сами вы просто горите на нем. Так бы и кинулась вам помогать. А вот...

— Слушайте, Антонина Ивановна! — у Илья Петровича лицо серьезное, глаза строгие. — Я, конечно, во второй ступени не учился, и разговор у меня крестьянский, простой, а только я. может, не хуже иных которых понимаю, кто какой человек и чего хочет. И большое у меня желание двинуть культуру!.. И вот, слушаю вас в избе-читальне и сейчас вот...

Помолчал Илья Петрович, уперся глазами в газетный лист.

— И вот, хочу я вас просить... Не обидьтесь вы на мой вопрос, не к худу он. Верно ли по селу говорят, да и брат ваш, что Станислав этот вам жених?

У Тони по щекам кумач. Потупилась тоже, а потом глазами прямо в глаза Илье Петровичу.

— Сватался он за меня, верно. И считает себя моим женихом.

— А вы, Антонина Ивановна?

— А я... ему не отказала. А только просила обождать. У брата на хлебах сидеть стыдно. А деваться некуда. Ну, я и не отказала. Но воли с себя не сняла! Так и ему сказала: «До свадьбы я человек вольный!»

— Так! — глубоко Илья Петрович вздохнул, отмякло лицо, и глаза отмякли.

— А может, вы, Антонина Ивановна, не обидитесь, если я и еще что скажу?

— Не обижусь, Илья Петрович, говорите!..

III

За полдень в псаломщиков домик опять гость. Помощник секретаря райисполкома пан Станислав.

У Станислава рыжие усики подкручены, рыжая борода узкой метелочкой, во-

лосы — аккуратно косым пробором, глаза зеленоватые, колючие.

— А, пан Станислав, наше почтение, сорок одно с кисточкой!

— Здравствуй, здравствуй! Антонина Ивановна дома?

— Антонина Ивановна, брат, тю-тю, с Веденевым, с Ильей Петровичем укатила — коммуны смотреть.

— С Ильей Веденевым? И ты отпустил ее одну?

— Ну, а что же?

— Девушку — с мужиком, с коммунистом?! Заботливый брат, нечего сказать!

— Да что с ней может приключиться? Илья Петрович парень хороший, зря ее не обидит...

— Я бы ручаться не стал.

— Слушай, Станислав, ты человек городской, в деревне у нас без году неделю служишь, да еще не русский. Тебе тут все кругом черт знает чем кажется. А мы — здешние, всех знаем и нас все знают.

— Нет, ты просто перестал замечать, привык. Грубость, насилие, все от них возможно. С тобой я могу говорить — ты не ихний, они с духовенством во вражде... Ведь это почти звери, ничего благородного, человеческого, только невыносимое самонимение! Скоты.

— Ну, брат! Как же ты служишь мужикам, коли об них так думаешь?

— Служба — это не я, это внешнее. Я могу служить тому, кого презираю глубочайшим образом, и служить добросовестно, если это не касается моего «я», моей души, моей чести! А здесь я вижу — интеллигентная, чистая девушка брошена в общество грубых дикарей. Ежеминутно может сделаться его жертвой. И я обязан, понимаешь, обязан, как порядочный человек, как благородный человек, взять ее под свою защиту. Спасти ее!

— Ну, брат! — псаломщик разулыбался. — Тонька, пожалуй, не очень-то и нуждается в защитнике и спасителе. Ты вот ее спасать думаешь, а она...

— Нет, постой, — перебил Станислав. — Ты не видишь контраста. Антонина Ивановна здесь — это нежный цветок в глухом бурьяне, на навозе... И я буду смотреть, чтобы бурьян не задушил его.

— Ну, смотри-смотри. А я вот тоже смотрю: Илья — мужик хоть куда, развитой, дельный — всей коммуне голова. И холостой, кстати. Возьмет Тонька да, чего доброго, и влюбится в него!

Станислав вскочил.
— Цо то есть?! — от неожиданности даже по-польски обмолвился. — Что ты говоришь?! Как ты смеешь?!..

— Вот те раз, а почему мне не сместь? Что ты ей женихом считаешься, так ведь при мне же она тебе ясно сказала, что до свадьбы она человек вольный.

— Это я знаю! Ты — брат, братом ей называешься!.. И смеешь говорить о ней гнусности! Образованная девушка, из духовной семьи — и мужик-коммунар! Это только в развратном воображении возможно!

— Да ты что, пан Станислав, в шутку или всерьез?

— Я такими вещами не шучу! Вооб-

ще — ими не шутят. И я, как жених Антонины Ивановны, обязан защитить ее честь, хотя бы от родного брата! Я требую... Возьми свои слова назад и извинись! Передо мной, а потом перед ней... при мне!

— Да ты белены, что ли, объелся?! Да если Тонька и в самом деле влюбится в Илью...

— Ты наглец и пся крив! — У Станислава лицо, как бумага, побелело, усики топорщатся. — Таких учат!.. Я с тобой стреляться буду!

— Что-о?! — Псаломщик тоже встал.

— Я говорю, что если ты сию минуточку да нет, поздно! Ты два раза повторил гнусность. Я говорю, что ты должен со мной стреляться! Должен кровью смыть... своей кровью!

Псаломщик сказал спокойно:

— Слушай, брось дуришь! Стреляться я не буду. Мужиков я погаными не считаю. О своей сестре я говорю, что хочу, и ты мне не судья. А если ты не уймешься, побить я тебя могу.

— Слушай и ты. — Станислав колет глазами, как шилом. — Если ты не будешь стреляться, как благородный человек, я тебя убью как собаку! Выбирай!

Рука у Станислава — в карман, и оттуда — с револьвером. Псаломщик отшатнулся.

— Дурья голова, да ведь меня убьешь — сам влипнешь лет на пять...

— В таких обстоятельствах на это не смотрят. Честь дороже! Выбирай!

Псаломщик развел руками. Помолчал.

— Ну, если ты окончательно взбесился, так уж верно, что лучше в открытую... Изволь.

— Отлично. Бери оружие и идем. Да не вздумай удрать: помни — убью как собаку.

Псаломщик хотел еще что-то сказать, заикнулся, махнул рукой и сунулся за перегородку. Оттуда вышел в шапке.

Пошли улией. Навстречу мастер с молотками поехал, катит на телеге.

— Э, вот кстати. Стой! — кричит Станислав. — Вывези нас за село!.. Ты нам нужен.

— Садитесь, время свободное, проедемся.

Сели, поехали.

— Ну, куда ехать-то? — спросил мастер.

— За поскотину, на гриву. Там будет удобно.

Выехали за село.

— Слушай, Станислав, — заговорил мастер. — Что-то, вижу, тут неладно. Объясняй толком, на что я тебе, что затеял?

— Вот на что. Этот вот человек гнусно оскорбил девушку, которую я должен защищать, как невесту... Мы едем стреляться. Ты нам нужен как секундант, свидетель дуэли.

— Чего-о?! — даже подпрыгнул мастер на телеге. Поглядел ошалело на Станислава, и — вдруг: — Тпру-у!

Натянул вожжи так, что дуэлянты чуть не ткнулись носами в телегу.

— Подьте вы от меня к лешему, коли взбесились, а я при убийстве свидетелем

быть не желаю! Из-за вас еще сам под суд попадешь! Слезайте!.. Ну!

Псаломщик соскочил. Станислав презрительно дернул усами и сошел тоже.

— Если ты не понимаешь долга порядочного человека — не задерживаю. Обойдемся и без тебя. Идем!

Пошли к поскотине. А мастер повернул, нахлестал лошадь и — в село, что есть духу.

Поскотина — рукой подать. Сейчас за ней, направо, грива. Взошли на гриву.

— Предлагаю двадцать шагов, стрелять по счету — три, — сказал Станислав. Псаломщик пожал плечами.

— Ну... — сказал неопределенно.

Станислав отсчитал от него старательно двадцать шагов, повернулся, вытащил из кармана револьвер. Постоял.

— Ну, вынимай свой револьвер.

— Да у меня его отродясь не бывало, и теперь нет!

— Что то есть?! — сорвался Станислав по-польски. — Что же ты не сказал раньше? Отвильнуть хотел?!

— А вот, слушай! — псаломщик выпрямился и голову поднял. — Я тебе не пан и не дворянин, не белая косточка. С мужиками живу, и сам мужик. Этих ваших дурацких дуэлей не знаю и знать не хочу! А если уж тебе непременно надо драться, так изволь — по-русски, на кулаки!

И рукава засучил.

— Это издевательство! И этим ты от меня не отвертись! Я тебе сказал, что убью тебя, как собаку, если не будешь стреляться, и убью! — поднял револьвер.

Псаломщик повернулся к Станиславу грудью.

— Ну так стреляй, сволоочь, коли во все взбесился! Стреляй! Да не промахнись: вот те крест, промахнешься — в мочалу изобью!

Станислав нацелился, постоял... Швырком сунул револьвер в карман.

— До дьябла! Не могу так, в безоружного. Черт с тобой, с дикарем...

Псаломщик разувальбался.

— Ну, вот так-то лучше! — и рукава спустил.

Помолчал еще Станислав, потоптался на месте, потупился:

— Пойдем лучше, выпьем!

— А вот это еще лучше! Будет благородного-то рыцаря разыгрывать, кати попросту, по-нашему!

Рядышком дуэлянты зашагали к селу.

IV

Мастерова телега прогрохотала по всему селу к молоканке. Мастер соскочил и кинулся в каморку-контору, к счетоводу.

— Нет, ты слушай! Станислав с псаломщиком за поскотиную стреляются! Меня было потащили свидетелем, да я такого стрелача задал! Понимаешь, перепугался, до сих пор вздохнуть не могу...

Счетовод подскочил.

— Да ты что, рехнулся, али вправду?

— Вправду! Плетет Станислав что-то несурзное, про какую-то оскорбленную де-

вицу, про честь. А сам бледный, и глаза злые... Ни черта я у него не понял. А псаломщик молчит, как зарезанный.

Счетовод заскреб в затылке.

— История... Что-то теперь делать?

— Да вот, то-то и есть, что делать?

— Слушай, ведь их так нельзя оставить. Ведь это убийство! Да и тебя могут за укрывательство притянуть...

— Ну-у?

— Пойдем, брат, в РИК, заявим, — счетовод за шапку взялся.

— Да ведь все равно, поздно уж. Теперь уж они...

— Все равно, заявим. Хоть тебя не притянут.

Счетовод решительно потянул мастера на улицу.

РИК далеко, обратно большую половину села пройти надо. Только стали подходить к РИКу, из-за угла две фигуры вывернулись. Мастер вытаращил глаза, а потом сорвался навстречу бегом.

— Да вы, черт вас задави, живы?!

Улыбается псаломщик:

— Живы, как видишь. Не так смертоубийственно оказалось. Вот, выпивать идем.

Станислав дергает усами и фыркает, и тоже усмежается:

— Разве с вами, с обломами, можно в культурном порядке ссориться! Без оружия на дуэль выехал! Не мог же я в него, в безоружного, стрелять! Медведь!..

— Уф-ф! — от души отпыхнулся мастер. — А мы ведь в РИК пошли уж, заявку делать. А то, думаем, еще за укрывательство тут с вами попадешь. Ну, айда вместе выпивать! На радостях!

Двинулись четвером. Скоро затарахтела сзади телега. Посторонились — нагнала. В телеге — Илья Петрович с Тоней. Псаломщик их окликнул:

— А, катите, целы и невредимы! А у нас тут из-за вас такая было околесица вышла, что...

— Антонина Ивановна, почему вы ездите с этим... крестьянином, — перебил Станислав. — Неужели вы не могли попросить меня? Я бы всегда...

— Это значит, Станислав Антоныч, — спокойно и четко ответила Тоня, — что я вам не напрасно говорила, что до свадьбы я вольный человек. Я своей волей воспользовалась. Можете нас поздравить — мы с Ильей Петровичем жених и невеста. Вот ехали брату сказать. А кстати и вы тут...

Станислав дернул усами. Помолчал. Потом обернулся к псаломщику:

— Я напрасно хотел с тобой стреляться. Ты был прав. Здесь у вас ничего лучшего и ждать нельзя. Пойдем, выпьем!..

— Нет уж, извини, брат, теперь не до твоей выпивки. Тонька, поздравляю! Крутой шаг делаешь, а, пожалуй, правильный, поздравляю!

— Что же, Александр Иванович, надумайтесь-ка и вы шагнуть за сестрой, — сказал Илья Петрович.

— Поглядеть надо на вас. Подумать. Да и вам тоже... обо мне.

Станислав — руки в карманы, уставившись в землю и подергивая усами, зашагал в сторону.



очерк, публицистика

Марк ЮДАЛЕВИЧ

Прорыв из «заколдованного круга»

— Надоели бесконечные призывы и общие слова о перестройке!

— Да, хочется конкретных результатов.

Из разговора

Наш город давно и прочно оперся на могучие плечи заводов. Они выпускают сотни различных видов продукции — от мощных котлов и моторов до штапеля и ситца. И не только на каждом заводе и фабрике, но и во многих цехах, на участках и в бригадах есть крупицы нового, есть результаты перестройки. Другое дело, что это лишь первые результаты, что нам хочется большего. И не видя этого большего, мы в досаде не замечаем и то, что есть.

Мы торопим время, а оно, к сожалению, не торопится. Особенно не торопится в области экономики — системе сложной и инерционной, где каждый фактор тесно переплетен с другими, где результат достигается не в один месяц, а нередко и не в один год, в экономике, которая долгое время безжалостно деформировалась командными методами, страдала от дутой, далекой от сути цифири.

Но все-таки, повторяю, везде есть хотя бы небольшие результаты новых методов хозяйствования. О них пойдет речь в рассказе о новом генеральном директоре и делах объединения Сибэнергомаш.

ВЫБОРЫ

В середине января прошлого 1988 года у проходной объединения Сибэнергомаш появилось написанное крупным шрифтом объявление:

«ДЕМОКРАТИЯ — В ДЕЙСТВИИ!»

22 января в большом зале Дворца культуры и техники состоится конференция трудового коллектива по выборам генерального директора. Вход в ДКиТ по делегатским удостоверениям.

Возле объявления двое рабочих. Оба — молодые, рослые, крепкие, кажется, рознятся только одеждой — один в полушубке, другой — в куртке.

— Значит, учимся демократии, — замечает тот, что в полушубке.

— Шибко-то не надейся, — говорит его товарищ. — Выбирать, поди, из одного будем. Это у нас умеют.

Парень в полушубке возмущен:

— Вот Фома Неверующий! Анкету же

рассылали. Там три кандидата. Сколько споров было, сколько шума во всех цехах.

Выясняется, что «Фома Неверующий» грипповал, находился на бюллетене, анкета прошла мимо него.

Но что же это за анкета, которая вызвала споры и шум? Полное ее название: «Анкета по изучению общественного мнения о кандидатах на должность генерального директора производственного объединения Сибэнергомаш». В ней 18 пунктов. Среди них и стандартные: опыт работы, компетентность, партийность, чувство долга, честность, принципиальность. И своеобразные, отвечающие заводским условиям. Последние, как правило, начинаются словом «умение». Умение согласовать замыслы с реальностью — здравый смысл. Умение принимать на себя ответственность. Умение быстро найти техническое или организационное решение.

И не случайно возникали споры в цехах и отделах — не так-то легко отдать предпочтение кому-либо из кандидатов, от-

метить по пятибалльной системе его преимущество.

«Кому не позавидуешь, так это претендентам, — размышлял впоследствии в газете «Барнаульский котельщик» ее редактор Г. А. Шевчук. — Им пришлось целый месяц быть под пристальным вниманием семи тысяч пар глаз».

Кандидатов было трое. Главный инженер объединения Иван Ильич Зубов и два заместителя генерального директора: по производству — Семен Петрович Байкалов и по экономике — Юрий Георгиевич Беляев.

Возраст не давал особых преимуществ никому из претендентов. Байкалов и Беляев — почти ровесники, оба поколения военных лет, первый — 1943, второй 1942 года рождения. Зубов — постарше, он родился в 1935 году. Все трое начинали трудовой путь рабочими. Все трое стали членами партии в возрасте около 25 лет. Все трое окончили Алтайский политехнический институт, подолгу работали на котельном заводе — мастерами, старшими мастерами, заместителями начальников цехов. Беляев и Байкалов — начальниками цехов.

Деловой рост, переход из среднего в высшее звено руководства объединением горят за каждого из них.

Но все-таки, чаще всего самые высокие оценки получал Байкалов. Может быть, это объясняется тем, что его поведение не вписывалось в застойные годы, когда, по выражению одного писателя, система была нацелена не на конфликт.

Три с половиной года Семен Петрович работал начальником литейного цеха. Цех работал неплохо, обеспечивал завод литьем. Но у нас принято больше заботиться об отстающих и литейщикам мало помогали, особенно в обеспечении кадрами. В цехе не доставало мастеров, и ни один мастер, ни один начальник участка не имел высшего образования.

Байкалов пригласил инженера со стороны. Ему была обещана квартира, но сроки прошли, а квартиры получили другие люди. Вышло, что Байкалов не сдержал слова. Иного руководителя, может быть, это и не взволновало бы, тем более, что вина была не его. Семен Петрович подал заявление и ушел из цеха.

Вспоминался и другой случай. Он относился еще к тому времени, когда Байкалов был мастером. В литейке работало немало бывших заключенных. Один из них явился в цех пьяный. Байкалов отстранил его от работы, тот с вызовом предложил: — Выйдем...

Послышался чей-то ехидный смехок.

Мастер оказался в трудном положении. Сам он всегда утверждал — руководитель должен быть отзывчивым, простым в обращении, но это не должно переходить в панибратство, всегда должно оставаться какое-то расстояние между руководителем и подчиненным. Значит, не пристало мастеру драться с рабочим. Но, с другой стороны, не годится и пасовать перед наглостью дебошира.

— Выйдем, — согласился Семен Петрович...

Случай расценивали по-разному. Но не

могли не отметить — авторитету Семена Петровича в цехе он не повредил. Даже напротив.

Вспоминались, конечно, не только экстраординарные эпизоды, но и те качества, которые в анкете начинались со слова «умение». Суммировать это можно как умение работать, умение найти контакт с людьми, правильно оценить их, не переоценить себя.

За Байкалова в анкете высказались восемь основных цехов, три отдела. Но и другие претенденты имели немало сторонников. Все должно было решиться 22 января, когда в нарядном зале Дворца котельщиков собралось 426 делегатов коллектива Сибэнергомаша.

Перед выборами произошло неожиданное. Один из претендентов — Юрий Георгиевич Беляев — снял свою кандидатуру. Объяснил просто:

— Решил пока, что это не мой чемодан. Заместителем генерального директора по экономике принесу больше пользы.

Два оставшиеся претендента выступили каждый со своей программой.

Выступающие исходили из двух впечатляющих по своей сути цифр: в 12 пятилетке увеличить выпуск товарной продукции на 40,1 процента, поднять производительность труда на 41,5 процента.

Задача дерзкая. Но сколько раз мы ставили перед собой самые дерзкие задачи и в масштабе одного предприятия, и в масштабе целой страны, и случалось, что эти задачи так и оставались задачами, планы и обязательства оставались планами и обязательствами.

Программы претендентов привлекали своей деловитостью. В них не было шапкозакидательства, прожектерства, нереальных обещаний. И Зубов, и Байкалов отмечали, что прироста продукции нельзя добиться без технического перевооружения и строительства новых производственных помещений. Впрочем, это аксиома для заводчан, и когда Байкалов заявил, что намерен подробно остановиться на этой проблеме, в зале не ожидали каких-либо открытий. Однако именно эта часть его программы оказалась самой интересной.

Дадим слово самому Байкалову:

«О техническом перевооружении. На мой взгляд, мы вкладываем в него больше средств, чем требуется. Мы исходим в основном из замены устаревшего оборудования. Кроме того, нередко ошибаемся при выборе нового. Например, закупили дробеметную камеру для литейного цеха стоимостью около 100 тысяч рублей, простояла она у нас несколько лет и с остаточной стоимостью ее списали.

Или другой пример. В цех котельно-вспомогательного оборудования купили станок для обработки лопатки. Он обрабатывает за смену полторы лопатки, а рядом стоящий станок — четыре».

И дальше самое главное — Байкалов предлагал все техническое перевооружение объединения поставить что называется «с головы на ноги». Сначала проектировать новую продукцию, избирать технологию, а после этого приобретать необходимое именно для этой продукции и этой технологии оборудование.

Не меньший интерес вызвал его взгляд на положение с нормами выработки. По его мнению, совершенствовать нормирование необходимо, без этого невозможен рост производительности труда. Но нельзя завышать нормы в соответствии с отдельными успехами, нельзя и занижать нормы, ориентируясь на отсталую часть рабочих. Должны действовать устоявшиеся оптимальные нормы.

— Имея низкие расценки, — говорит Байкалов, — мы не найдем рабочих. Высокие расценки снижают производительность труда, порождают расхлябанность...

Обсуждению кандидатов на пост генерального директора сопутствовал сильный накал страстей. Мнения высказывались горячо, часто запальчиво и были самыми противоположными.

Приведем некоторые из них.

Обрущик литейного цеха С. П. Лапки:

— Байкалова я узнал, когда он работал у нас начальником цеха. Начальник цеха — это тот же директор в меньших масштабах. Байкалов — честный, принципиальный, чистый человек. Очень грамотный инженер. Как руководитель, всегда помнит свои обещания, не в пример некоторым. Не любит подхалимов.

Начальник экономической лаборатории А. И. Малинков:

— Отдаю предпочтение Зубову. Чуткость, забота — факторы важные, но важнее деловые, профессиональные качества. Для генерального директора связь с вышестоящими организациями — вопрос номер один. В этом вопросе Зубов на голову выше Байкалова, так как он работал с министерством, Госпланом. Там он пользуется авторитетом.

Инженер отдела главного энергетика С. А. Орлов:

— Считаю, что в создавшейся у нас обстановке Байкалов просто обязан стать генеральным директором. Как заместитель по производству, он начал реконструкцию в объединении. Надо дать ему развернуться. Начатое обещает большой положительный эффект.

Начальник планово-экономического отдела А. И. Корчагин:

— Работа с «внешним миром» Семена Петровича не касалась, а Иван Ильич, по существу, обеспечил формирование плана на 1988 год. Он лучше знает экономику. Директором должен быть Зубов.

Как видим, чаши весов имели все основания колебаться. Но, очевидно, напрасно А. И. Малинков размышлял о том, какие качества важнее — деловые или человеческие. Предпочтение охотнее всего отдается не тем или другим, а их сочетанию.

Перелом среди выборщиков произошел, пожалуй, после выступления стерженщицы литейного цеха Клавдии Тихоновны Долгих. Клавдия Тихоновна старалась говорить спокойно, но голос ее в чуткой тишине зала звенел от волнения. Несколько лет назад в цехе у нее произошел конфликт, и она, опытная, уже немолодая работница, решила уйти с Сибэнергомаша. Все-таки зашла поделиться с бывшим начальником литейки, который «не только

дело свое знал, но и людей понимал». Байкалов, несмотря на занятость, он в то время был зав. производством объединения, выбрал время выслушать стерженщицу, побывать в цехе, уладить конфликт.

С. П. Байкалов получил 246 голосов, И. И. Зубов — 173.

НА БОЛЬШОЙ ВЫШКЕ

Если поставить рядом Юрия Васильевича Бойцова, 18 лет возглавлявшего коллектив котельщиков, отдавшего заводу свой ум, талант, часть своего сердца, и прошедшего ему на смену нового генерального директора Семена Петровича Байкалова, появится ощущение резкого контраста. Юрий Васильевич — высокий, импозантный, кажется, родился командовать и представлять. Семен Петрович среднего роста, и в наружности его нет ничего броского, обращающего на себя внимание с первого взгляда. Лишь только разговаривавшись с ним, чувствуешь его интеллект, его стремление и умение анализировать, доходить до самой сути, мыслить смело и конструктивно. А когда Байкалов что-либо доказывает, он не повышает голоса, и жесты его скупы, но кажется, что выпуклый лоб летит навстречу собеседнику.

На большой вышке оказался этот человек. Он возглавил мощное предприятие, с крепким, умеющим поддержать своего лидера, но и не прощающим ему ошибок коллективом.

У нас сейчас находятся теоретики, годовые целиком зачеркнуть предшествующие перестройке годы и десятилетия. На примере Сибэнергомаша, хотя годы застоя и оставили след на этом предприятии, можно убедиться, насколько не верен огульно нигилистический подход. Коллектив объединения имеет свои хорошие традиции, свою, не побоюсь громкого слова, героическую историю.

Котельный завод возник не так, как проектируются современные предприятия — сначала жилмассив, школа, детские сады, больница, магазины, Дворец культуры, а потом заводские корпуса. Котельный возник в годы Великой Отечественной войны, когда приказом Государственного комитета обороны из Ленинграда в Барнаул было перебазировано энергетическое производство Невского машиностроительного завода. На Сибэнергомаше еще есть люди, которые помнят картофельное поле да деревянный склад-сарай посреди него, место, где строился завод. Помнят арматурный цех с недостроенной почти на целую треть крышей, с незастекленными окнами. Помнят мангалы — странные, похожие на плоские сосуды, греющихся возле них заводчан.

Впрочем, эти сосуды имели и другое назначение. «Прежде чем приступить к работе, — вспоминал И. К. Бородин, — масло в станках приходилось разогревать горячими болванками, нагретыми тут же в мангалах. После этого до полного разогрева оборудование еще минут 30—40 работало на холостом ходу».

Об условиях жизни и работы рассказывала и С. И. Чернецова, трудившаяся в то время на токарном станке: «Жили мы,

группа ребят и девчат, в двухэтажном доме без печи и перегородок на 7-й Алтайской* улице. Ребята нашли железную бочку и сделали печку. Грела она неважно. Умывались по утрам снегом — вода в ведре застывала. Погоду узнавали, не выходя из комнаты: вытаскишь паклю из щели и посмотришь, что там снаружи делается. Прибежишь на завод, а здесь тоже не особенно-то согреться. Давай скорей разводить костер».

С. И. Чернецову дополнил еще один станочник — М. В. Хохолов: «С наступлением тепла работать стало намного легче. Хотя бы потому, что на завод можно было ходить босиком. А около каждого станка стояли ботинки на деревянной подошве. Придешь, обуешься в них, отработашь смену, снимешь — наденет твой «менщик».

В таких условиях на еще недостроенном заводе были изготовлены первые изделия — партия пароводяной арматуры.

И хотя все это давно сменилось огромными цехами, просторным трехэтажным корпусом заводоуправления, ухоженной, летом зеленой, заводской территорией, благоустроенными общежитиями — прошлое Сибэнергомаша не забыто.

А история объединения богата событиями. Есть предприятия, десятилетиями выпускающие одну и ту же продукцию, направляющие ее по одним и тем же привычным адресам. Котельщики на протяжении почти пятидесяти лет осваивают все новые и новые виды котлоагрегатов и тягодутьевых машин и все время расширяют географию поставок.

Найдите в музей трудовой славы объединения, и вы увидите, какие дороги приходится осваивать продукции Сибэнергомаша, а вместе с ней и его инженерам. Это не только пути по городам Советского Союза, не только трассы Барнаул—Москва—Белград или Барнаул—Москва—София, это и Барнаул—Москва—Ташкент—Бомбей—Ханой, Барнаул—Москва—Рабат—Гавана и другие.

Много лет работавший главным конструктором объединения Н. В. Павлов — дважды инженер, как его называли при жизни, — инженер-конструктор и инженер человеческих душ — писатель, заметил когда-то, что не каждый дипломат пересечет столько границ, сколько специалисты-котельщики.

Поездки эти не всегда обходились без приключений. Барнаульцы изготовили котлоагрегаты для первой вьетнамской электростанции Уонг-Би. Чтобы помочь смонтировать и освоить котлы, во Вьетнам выехали инженеры Валентин Проценко и Владимир Добров. В конце 60-х годов американские летчики начали бомбить электростанцию. Бомбили жестоко, но советские инженеры учили вьетнамцев быстро устранять повреждения, ремонтировать оборудование. Опасаясь за их жизни, вьетнамские друзья эвакуировали специалистов в джунгли.

После ухода американцев из Вьетнама барнаульцы отправили изготовленные вне

всякой очереди запасные части для электростанции Уонг-Би.

В архивах Сибэнергомаша хранятся письма и телеграммы из-за рубежа.

«Мы благодарны за все усилия и дух интернационализма, проявленные к нашему народу и нашей революции».

Это письмо кубинских рабочих.

Есть письма из Северной Кореи, Монголии, Югославии, Польши, Афганистана, Йемена, Индии, Алжира...

Есть и такое сообщение:

«Президиум Народного Собрания Народной Республики Болгарии постановляет: наградить Барнаульский котельный завод орденом «Красное Знамя Труда» за оказанную техническую помощь в строительстве, монтаже и пуске азотно-тукового завода и ТЭЦ «Марица—Восток».

Рядом с болгарским орденом на знамени Сибэнергомаша другая высокая награда — корейский «Орден Труда».

Вьетнамских, корейских и болгарских орденов и медалей удостоены многие инженеры и рабочие объединения.

...Да, непросто руководить таким предприятием, как Сибэнергомаш. И непросто еще потому, что наряду с очевидными успехами, в объединении есть и очевидные пробы.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Недавно в объединении побывали представители одной французской фирмы. Французы думают закупить здесь вентиляторы для котлов. Они успели ознакомиться и с другой продукцией предприятия.

— Качество у вас высокое, — заметил один из них, — но модели в основном почему-то устаревшие. Вчерашний день.

Обидно инженеру, да еще руководителю объединения, выслушивать такие откровения. Но что сделаешь, сами виноваты! Сами кричали, что у нас все самое передовое и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в педагогике... А теперь многое приходится выслушивать. Даже, например, такое: якобы одного из японских специалистов спросили — насколько мы отстали от Японии, и он ответил: «Навсегда».

Навсегда не навсегда, но, размышляя о своем объединении, Семен Петрович давно понял — в годы застоя новые мощные котлоагрегаты, новые тягодутьевые машины создавались больше за счет энтузиазма конструкторов, технологов, котельщиков, сварщиков, гибщиков, газорезчиков, литейщиков, кузнецов, чем за счет совершенной техники. И с горечью думалось о том, чего можно было достичь, если бы этот энтузиазм оснастить действительно передовой техникой, если бы дать в руки нашим людям те технические средства, которые имеют в своем распоряжении инженеры и рабочие той же Японии, США, ФРГ.

Не одного Байкалова в объединении кровно затрагивала эта проблема. В семитысячном коллективе вряд ли найдется человек, которого бы она не тревожила. В этом одна из особенностей нашего времени. Перестройка, гласность обнажили многие пробы, разбудили критическую

* Ныне улица Н. К. Крупской.

мысль. Правда, и здесь есть оборотная сторона. Есть люди, которые занимаются критикой ради критики, не с болью отмечают негативное, а смакуют с иронией и даже сарказмом.

В этом не обвинишь заводчан. Дело здесь ценится выше самого хлесткого слова.

Смелые, большого замаха задумки появились у Семена Петровича. Настолько смелые, что многие засомневались в них. Но генеральный директор стоял на своем: — Вытянем! Глаза страшатся, а руки делают.

Большинство заводчан поддерживали его. И одним из первых — секретарь парткома объединения Валентин Сергеевич Немецов. Горячо поддержал Байкалова и его «соперник» на выборах главный инженер объединения И. И. Зубов.

Стоит здесь сказать об особенностях заводских отношений, их открытости и чистоте. Выступавшие на собрании выборщиков против Байкалова поздравили нового генерального директора, одержавшего победу в честной борьбе. А Байкалов и не подумал обижаться даже на самые резкие замечания.

Что же в первую очередь задумал новый генеральный директор? Чтобы понять «генеральный» замысел генерального, сделаем небольшое отступление.

Есть такая, написанная в середине прошлого века поэтом Василием Богдановым, горестная русская песня «Дубинушка». Конечно, песня эта давно устарела, но все-таки иногда вспоминаются ее строки:

Англичанин-хитрец, чтоб работе
помочь,
вымышлял за машиной машину,
ухитрились и мы, чуть пришлось
невмочь,
вспоминаем родную дубину.

От дубины, как рабочего инструмента, мы, конечно, ушли очень далеко. И все же...

В той же Японии, например, давно наступил компьютерный век. Общение с компьютерами там начинается в раннем детстве. Заводы богато оснащены электронными машинами. Японцы сейчас успешно работают над экспортными компьютерами — поколениями механизмов, задающих вычислительным машинам системы. Это так называемые биокомпьютеры, их создание относится к области искусственного интеллекта, который еще недавно наши ученые с высоким пафосом начисто отрицали.

На Сибэнергомаше немало ярких сторонников компьютеризации. Энтузиаст этого новшества одаренный инженер, начальник ОАСУП Владимир Михайлович Балабанов посоветовал мне непременно завести писательский компьютер, который значительно сокращает усилия при правке текста.

На производстве кибернетические вычислительные машины позволяют ускорить и расчетную часть, и графические работы. Работа с компьютером предполагает и многовариантность, и возможность выбора. Ведь за время, пока конструктор или техно-

лог продумают один вариант, машина может выполнить полтора-два десятка заложенных в нее программ. Помогая инженеру, вычислительная техника не только экономит время, но и позволяет добиться более высокого качества продукции.

ЭВМ применяется не только при подготовке производства, но и в самом производственном процессе — для планирования рациональной загрузки цехов и участков, учета движения деталей, расчета производственных заданий. Компьютеры весьма полезны в отделах материально-технического снабжения и бухгалтерского учета.

Эта современная техника нужна сейчас каждому предприятию, если оно стремится выйти на мировые стандарты, на мировой рынок. И особенно необходима она таким предприятиям, как Сибэнергомаш: здесь длительный цикл проектирования, мелкосерийная, а порой и единичная номенклатура — объединение выпускает широкую гамму котлоагрегатов, тягодутьевые машины, пароводяную арматуру, запчасти для энергооборудования.

Но именно компьютерной техники на Сибэнергомаше остро не хватает. В 1969 году котельщики приобрели вычислительную машину «Минск-22». Это громоздкое сооружение: чтобы разместить машину, понадобилась большая комната. Кстати сказать, современный персональный компьютер помещается на письменном столе. Вообще сейчас идет миниатюризация — значительное сокращение размеров этого вида машин. Было приобретено еще несколько ЭВМ. Однако Сибэнергомашу сегодня нужнее всего, в первую очередь, именно персональные компьютеры. Лучше всего покупать их за границей. Но для этого нужна валюта. А для того чтобы приобрести валюту, нужно увеличить экспорт, нужно производить котлоагрегаты и машины мирового класса. Чтобы добиться этого — нужна валюта.

Заколдованный круг!

«КАХАЛГАОН»

План генерального директора в том и состоял, чтобы вырваться из этого круга. Момент для «атаки» был выбран удачный. Договоры на экспортную продукцию заключает всесоюзная организация — Совэнергомашэкспорт. До перестройки вся заработанная валюта шла мимо объединения. Сейчас солидная доля остается предприятию.

Объединение выпускало обычно до 15 процентов экспортной продукции. В 1988 году решили попробовать сделать в два раза больше. Получили выгодный заказ для Индии — котел мощностью 690 тонн пара в час. Котел предназначен для электростанции в городе Кахалгаон. В объединении продукцию принято неофициально именовать по названию места, куда ее направляют. И новый котел окрестили незнакомым звучным словом «Кохалгаон».

Это — огромное сооружение. О величине его может дать представление такой штрих: для отправки «Кохалгаона» понадобилось 200 вагонов. Лишь по инерции такие сооружения называют котлами. По

виду же эти котлоагрегаты ничего общего с котлами не имеют...

В жизни предприятия, как и в жизни человека, бывают периоды особого подъема, дни и месяцы рабочего накала, граничащего с вдохновением. Таким на Сибэнергомаше было время изготовления котлоагрегата «Кахалгаон». Чтобы изготовить его в третьем квартале и отгрузить до конца года, нужно было в сжатые илн, как говорит начальник СПКТБ* Петр Алексеевич Александров, «в неправдоподобно сжатые» сроки сделать рабочий проект. Обычно в условиях объединения такой проект конструкторы выдавали за год. В данном случае время его создания пришлось сократить более чем на три месяца.

Лишних людей для ускорения работ в объединении не было. Впрочем, что говорить о лишних? Обычно такую работу выполняли 25 человек. На этот раз, сообразуясь с другими неотложными задачами, смогли выделить только 12. Зато была использована возможность, которую дает перестройка — конструкторы перешли на коллективный подряд. По предложению главного конструктора В. В. Стропуса, создали две бригады, между которыми распределили около 87 процентов всей работы. Оставшаяся часть документации выпала на долю других секторов, не участвующих в подряде. Естественно, «подрячники» получали за свою работу немалые денежные надбавки.

Но работа оказалась очень сложной и трудоемкой. По требованию заказчика пришлось вносить конструктивные изменения. Выявились недостатки в техническом проекте, в рабочем варианте переделали многие чертежи.

— Словом, было отчего схватиться за голову, — вспоминает руководитель работ Юрий Алексеевич Макаров. — Однако инженеры проявляли изобретательность, терпение и мужество.

Интересно дополняет коллегу конструктор А. Г. Хворов:

— Из трех этапов самым трудным был завершающий. Вначале нам завидовали и считали деньги, которые зарабатываем, потом все сменилось сочувствием. Инженеры уходили с работы, в шутку желая нам «спокойной ночи».

Но, в общем, случилось то, о чем говорил генеральный директор. Глаза страшатся, а руки делают. В данном случае не только руки, но и инженерный интеллект, и электронный мозг немногих ЭВМ.

Но это — лишь создание рабочей документации. Осуществить ее, воплотить в металл тоже было непросто. Времени на подготовку производства не оставалось. Котлоагрегат строили, что называется, прямо с листа.

Здесь тоже можно поспорить с теми, кто не видит реальных результатов перестройки. Только новые условия труда позволили объединению выполнить весь объем работ.

Все цеха в объединении переведены на

хозрасчет, некоторые на коллективный подряд. Преимущество нововведений сказалось довольно ощутимо. Особенно это касается коллективного подряда. И в цехах многие задания стали выполняться меньшим количеством людей. Рабочие овладевают смежными профессиями, чтобы не простаивать, если нет работы по узкой специальности.

Самое главное в хозрасчете и коллективном подряде исчерпывающе характеризует бригадир сварщиков Анатолий Федорович Кабардин. Впрочем, об этом человеке стоит сказать особо. Крепкий, подвижный, с лицом загорелым, даже слегка обожженным отсветами электросварки, он прям и жестковат, но всегда интересен и оригинален в суждениях. Сварщик самого высокого — шестого — разряда, Анатолий Федорович Кабардин принадлежит к тому рабочему ядру, которое, в конечном счете, обеспечивает все успехи Сибэнергомаша. За достижения в области роста производительности труда в 1980 году он удостоен Государственной премии СССР. Его хорошо знают в городе как учителя и наставника молодежи.

— Мы ручники, — говорит А. Ф. Кабардин. — Механизации у нас нет.

РДС — ручная дуговая сварка. Дело это не такое простое, как кажется. Бригадир сравнивает: в высших учебных заведениях студенты учатся 5—6 лет, чтобы стать квалифицированным сварщиком нужен такой же срок практического ученичества.

Работа требует точного глаза и твердой руки. Тем более, что варить в котельных цехах приходится и лежа, и на коленях, и под свариваемым блоком.

И, переходя к характеристике коллективного подряда, Кабардин отмечает:

— Резервы в нашей работе найти не просто. Разве самовольно упростить технологию, чтобы сделать ту или иную операцию менее трудоемкой. Но вот когда наша бригада перешла на коллективный подряд, эти резервы обнаружили. Истоки их понятны. Люди почувствовали себя хозяевами на производстве. А в этом случае как-то само собой экономится время, откуда-то приходят новые и новые эффективные приемы. Отпадает необходимость гнаться за «выгодными», менее трудоемкими блоками, оставляя невыгодные товарищу, потому что заработок делится поровну.

В бригаде А. Ф. Кабардина заработок составляет в среднем 500 рублей в месяц.

Перейдя на новые формы организации труда, почти все цехи объединения (за исключением двух) дали большой рост объема производства.

Впереди оказался десятый котельный цех. Он, благодаря коллективному подряду, добился небывалого взлета. Объем производства за один год вырос на 38 процентов, производительность труда — на 33.

Рост производительности труда в объединении позволил найти возможность для реконструкции трех цехов. Было введено 1500 метров дополнительной площади.

В результате всего этого 200 вагонов, в которые погрузили котлоагрегат для Индии, отбыли из Барнаула досрочно.

Появилась возможность сделать первый прорыв из, казалось бы, заколдованно-

* Специальное проектно-конструкторское технологическое бюро.

го круга. На валюту, полученную за экспорт, закуплено 44 компьютера.

Так реализовался главный замысел генерального директора.

Несмотря на дефицит производственных площадей, для компьютеров выделены необходимые помещения. Большая группа конструкторов и технологов учится работать на этих машинах.

— Нам всем необходимо учиться работе на компьютерах, — говорит П. А. Александров, — а то придут молодые улыбочивые люди из современных вузов и придется уступать им место.

«ЕЕЕ»

Большой успех непременно способствует другим, сопутствующим ему, непременно рождает новые смелые планы.

Идея проторить дорогу на мировой рынок реализовалась еще в одном новшестве. Сибэнергомаш стал участником совместного международного предприятия. Предприятие называется: «Экология, энергия, инжиниринг», в английском сокращенном обозначении «ЕЕЕ». С советской стороны в нем участвуют Сибэнергомаш, таганрогский завод «Красный котельщик», Центральный котлотурбинный институт, находящийся в Ленинграде, и Энергомашэкспорт. Иностранные партнеры — западногерманская фирма «Штайнмюллер» и финский концерн «Оутокумпу».

Председателем правления совместного предприятия назначен заместитель генерального директора Сибэнергомаша Юрий Васильевич Бойцов.

«ЕЕЕ» ставит благородную цель — совместить технический прогресс в энергетике с борьбой за чистоту окружающей среды. Отсюда и слово «экология» в названии предприятия. Западногерманские партнеры имеют перспективные разработки по газоочистке, позволяющие кардинально сократить выбросы вредных веществ в атмосферу при работе котлоагрегатов. Над этим трудятся сейчас и конструкторы Сибэнергомаша.

Совместное предприятие поможет барнаульским котельщикам конкурировать с ведущими фирмами передовых стран мира, увеличить столь необходимый валютный фонд.

И других новых работ и планов у руководства объединения немало.

— Постоянный риск, реконструкция, замена оборудования, новое строительство, улучшение технологии — все это, — говорит С. П. Байкалов, — форма существования предприятия. Это хорошо понимают коммунисты и все передовые рабочие и инженеры объединения. Без реконструкции, без движения вперед предприятие обречено на застой и постепенное умирание.

В цехах и отделах Сибэнергомаша твердо держат курс на реконструкцию.

Говорят, сапожник бывает без сапог. Как это ни странно, но у энергетиков энергетическое хозяйство до сих пор остается узким местом. Правда, оно удовлетворяет нужды производства: обеспечивает воздухом, кислородом, ацетиленом, но без каких-либо резервов.

— Генеральный директор, — рассказывает главный энергетик Сергей Николаевич Филин, — имеет по нашей отрасли столько планов, что выполнением их строительное управление могло бы заниматься не один год.

За последнее время в объединении построена новая турбокомпрессорная станция, монтируется мощная кислородная установка, расширяется градирня — сооружение для охлаждения воды при водооборотном снабжении. Градирня способствует сокращению выбросов производственной воды, следовательно, служит экологическим целям.

Как уже говорилось, объединению тесно в рамках имеющихся производственных площадей. Поэтому создан цех металлообработки на территории завода геологоразведочного оборудования. В ближайшее время начнется строительство завода бытовой техники в Змеиногорске.

И, может быть, самое кардинальное в планах строительства — это создание нового цеха в 30 тысяч квадратных метров производственных площадей. Проект его готов. Сейчас определяется подрядчик. Свои услуги на различных условиях предлагают югославские строители, венгерское предприятие, а также Алтайпромстрой. Все предложения имеют свои плюсы и минусы — различные сроки строительства, оплату и т. д. В скором времени выбор будет сделан, и строительство начнется.

Не забыты и культурно-бытовые нужды. В своей предвыборной программе Байкалов отмечал, что к социальной сфере на Сибэнергомаше обратились гораздо раньше, чем «к ней» обратились журналисты. И действительно, у котельщиков лучшее в крае подсобное хозяйство, дети заводчан обеспечены детскими садами и яслями, есть хорошая лыжная база, бытовые помещения, столовые. Тем не менее в 1988 году объединение приступило к новой большой работе — реконструкции профилактория.

Все эти дела приметны, но главным всегда остается производство. Ведь, как отмечалось, экспорт составлял только 30 процентов плана, 70 ложилось на внутрисоюзную продукцию.

И здесь объединение в 1988 году добилося больших успехов. План года по объему производства был выполнен на 123 процента, по прибыли перевыполнен почти в два раза. Объединение получило 30,5 миллиона рублей прибыли. Для сравнения можно вспомнить, что 1987 год дал только 15 миллионов 700 тысяч рублей прибыли.

И еще показательные цифры: за всю девятую пятилетку прибыль возросла на 17 процентов, за десятую — на 22, за одиннадцатую — на 60, за один 1988 год — на 93 процента.

Рабочие и ИТР получили в 1988 году большие премии. Во многих цехах было выдано по три 13-х зарплаты. Это — кроме премий за высокое качество продукции, за экспорт.

В 1989 году у объединения новые широкие производственные планы. В частности, экспорт теперь занимает не 30, а 37 процентов от всей продукции.

Производственные задачи будут решаться главным образом за счет повышения производительности труда, совершенствования хозрасчетного и подрядного метода.

Интересно, что десятый котельный цех намерен перейти на вторую модель коллективного подряда. В первой модели все было замкнуто на объеме производства. От него в прямой пропорции зависела зарплата. Во второй — учитываются и другие коэффициенты. Главный из них — затрата материалов. Если будет экономия материалов — фонд зарплаты возрастет, при перерасходе — уменьшится.

Нет сомнения в том, что вторая модель будет стимулировать снижение брака, рационализацию и изобретательство.

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ...

Мы говорили большей частью об успехах Сибэнергомаша. Но в объединении немало и проблем. Как отмечает генеральный директор, они так же, как и успехи, рождены перестройкой.

Есть вопросы, общие для промышленных предприятий всей страны. Госзаказ для объединения сейчас составляет малый процент от общего объема выпуска товарной продукции. Заказы предприятие добывает само. В 1988 и 1989 годах оно справлялось с этим. Но если при старой системе предприятие получало «сверху» план, то в таком же порядке получало и необходимые материалы для обеспечения этого плана. При новом порядке нужно самим добывать не только заказы, но и материалы. Для этого существует рынок, как определил писатель Борис Можжаев, — «гениальное изобретение человечества».

Однако здесь и начинаются проблемы. Сибэнергомаш еще с 1987 года на хозрасчете и самофинансировании. Но и предприятия, с которыми объединение имеет дело, тоже в большинстве случаев хозрасчетные. Снабженцы Сибэнергомаша обращаются к своим традиционным поставщикам, те не отказывают им, однако запрашивают более высокую цену. Например, один металлургический комбинат запросил 140 процентов от прежней цены. На Сибэнергомаше возмущены, но получают простой ответ — у нас свободный оптовый рынок, а на рынке как на рынке. Впрочем, если вас не устраивает, обратитесь к другому поставщику. Но вся беда в том, что обратиться некуда — в стране дефицит металла. На выручку приходит очень своевременное постановление о регулировании цен.

Однако и в новой обстановке дельцы с предприятия-поставщика не растерялись. Они заявили, что готовы сделать нужные поставки, но лишь в четвертом квартале. «Что же мы будем делать три квартала?» — возмущаются котельщики. «Хорошо, мы поставим раньше, но просим оплатить 40 процентов за экстренность».

Конечно, такие ситуации, в основном при помощи партийных органов, преодолеваются. Но, во-первых, на это уходит много сил, а во-вторых, возникают все новые и новые непростые ситуации. И будут воз-

никать в условиях дефицита, являющегося большой помехой нормальным рыночным отношениям.

Вторая проблема касается тоже не только одного Сибэнергомаша. Это проблема инженерных и руководящих кадров. В объединении недостает многих технологов, конструкторов, инженеры весьма неохотно идут на руководящие должности в цехах. Это происходит, отчасти потому, что инженер — одна из низкооплачиваемых категорий в объединении. Зарплата инженера, как отмечает заместитель генерального директора по экономике Юрий Георгиевич Беляев, составляет примерно 70 процентов зарплаты квалифицированного рабочего. Многие инженеры вынуждены «подрабатывать» во время отпуска, некоторые вообще «переквалифицируются» в рабочие. Зато С. П. Байкалов сетовал на то, как трудно переманить инженера на командную должность в цехе.

Здесь мы коснемся второй причины падения престижа инженерной профессии. В связи с этим вспоминается один случай.

Я позвонил и. о. начальника второго котельного цеха Геннадию Сергеевичу Матюше и условился с ним о встрече на следующий день. Назавтра утром, войдя в кабинет начальника цеха, увидел за столом молодого энергичного мужчину.

— Геннадий Сергеевич, — обратился я к нему.

— Меня зовут Александр Иванович.

— Простите, мне нужен начальник цеха.

— Я — начальник цеха, а Геннадий Сергеевич Матюша с сегодняшнего дня мой заместитель. Я его сейчас приглашу.

Мы беседуем втроем — Александр Иванович Черных, Геннадий Сергеевич Матюша и я.

Геннадий Сергеевич откровенно рассказывает, почему он не захотел стать начальником цеха. Этот пост ему предлагали. Он считает — несмотря на реконструкцию, цех и сейчас по своим мощностям не отвечает тем производственным заданиям, которые он должен выполнять. Объем производства диктует необходимость сверхурочных работ. В цехе процветает явление, которое в объединении кто-то окрестил «колбасой». За четыре часа сверхурочных платят по 5 рублей в час.

Беда здесь, по мнению Г. С. Матюши, не только в перерасходе фонда зарплаты, но и в развращающем влиянии «колбасных» денег. Рабочий может не заботиться о том, чтобы вовремя закрыть наряды, двести, а то и четыре сотни он может заработать, употребляя заводское выражение, «поехав на колбасе».

Руководство цеха осуждают за такое положение, цеховиков наказывают низким коэффициентом премирования. Например, в отличие от большинства цехов второй котельный получил только одну тринадцатую зарплату в 1988 году.

— Я почувствовал, — говорит Г. С. Матюша, — при таком планировании мне не изменить состояния дел. Может быть, у меня недостает сил, воли, крепких нервов, инженерных знаний...

Александр Иванович Черных сдержан-

но реагирует на откровения своего коллеги.

— Положение действительно не из легких, — замечает он.

По всему видно, что он надеется это положение преодолеть. Может быть, ему это и удастся. Только здесь невольно вспоминаются слова Бертольда Брехта, недавно повторенные в «Правде» Юрием Нагибиным: «Несчастлива страна, которая все время нуждается в героях». Видимо, гораздо лучше создавать нормальные условия работы, чем героическими усилиями преодолевать ненормальные...

Конструктивные мысли высказывал бригадир сварщиков А. Ф. Кабардин. Он считает, что в науке, так же, как в других областях, много бюрократизма и консерватизма. Ученые нередко дают инструкции, которые не подтверждаются практикой, с упорством, достойным лучшего применения, настаивают на них.

Один пример. Сварщикам приходится варить молибден с подогревом в 250 градусов. Ученые при этом настаивают, чтобы подогревать не только зону сварки, но и вокруг нее на расстоянии 100 миллиметров от сварного шва. Это усложняет работу, и сварщики игнорируют указание. Более того, практика показывает, что подогрев в данном случае вряд ли нужен вообще.

— Сколько раз мы варили без подогрева, — восклицает Кабардин, — и ни разу не получали рекламаций!

А ученые котлотурбинного института

с той же категоричностью подтверждают свои инструкции.

Следовало бы вернуться к этой проблеме, серьезно изучить ее...

А. Ф. Кабардин ставит и другой, может быть, еще более важный вопрос: о роли рабочих в наших общественных организациях. В объединении созданы советы трудовых коллективов. Но они не заняли должного места в жизни Сибэнергомаша. И это, отчасти, оттого, что очень малую роль в них играют рабочие. Нужно, чтобы в этих советах было больше активных, передовых, способных анализировать тенденции производства, рабочих.

А. Ф. Кабардин приводит и такой пример: он — член президиума крайкома профсоюза рабочих тяжелого машиностроения. Но в этом президиуме — директор, заместители, председатель профкома и всего... двое рабочих.

С бригадиром сварщиков соглашается и генеральный директор С. П. Байкалов:

— Нужно смелее привлекать рабочих к управлению производством. Этому учил Ленин. Это большой резерв для продвижения вперед.

Таковы некоторые грани жизни Сибэнергомаша во время перестройки, выдвинувшей нового талантливого руководителя объединения, открывшей коллективу возможность выйти на новые рубежи, разбудившей смелую критическую и конструктивную мысль в самой гуще алтайских котлостроителей.



Владимир ШАПОШНИКОВ

ИСПЫТАНИЕ ПРАВДОЙ

ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ ГЕОРГИЯ ЕГОРОВА
«НА ЗЕМЛЕ ЖИВУЩИМ»

В нашей повседневной литературной жизни есть одно весьма любопытное и малообъяснимое явление. Это — резкое расхождение во взглядах на то или иное произведение между так называемым массовым читателем и профессиональной литературной критикой. Читатели, к примеру, буквально с руками отрывают «Детей Арбата», а наиболее ревностные служители «движущейся эстетики» из кожи лезут, доказывая, что роман слабый, малохудожественный, антиисторический и прочее, и прочее. То же самое и с В. Пикулем, и с Ю. Семеновым, и с А. Ивановым... Сколько бы ни кидали критики камень в этих любимцев и кумиров читающей публики, все они вдребезги разбиваются о непреступную стену прочного, стойкого читательского интереса к названным писателям.

Подобного рода антагонизм, или, скажем мягче, размежевание между критикой и читателем наблюдается и в наших литературных регионах. Выходит, допустим, в областном или краевом издательстве книга писателя имярек и сразу же становится бестселлером местного масштаба, а вслед за этим в местной же прессе появляется разносная, погромная статья, где выход в свет данной книги расценивается чуть ли не как серьезный идеологический просчет издательства. Эффект от подобных статей, как правило, прямо противоположен благим идейно-эстетическим намерениям их авторов: поруганные книги начинают пользоваться еще большим спросом, вызывают самый настоящий ажиотаж.

В 1989 году именно такой прецедент произошел на Алтае, а поводом послужил роман Георгия Егорова «На земле живущим». Книга разошлась в считанные дни, а вскоре в «Алтайской правде» появилась суровая, язвительная статья В. Попова, доказывающая полную идейную и художественную несостоятельность романа Г. Егорова да еще уличающая автора в целом ряде

исторических неточностей, передегиваний, искажений¹.

Я не беру на себя роли третьейского судьи, не ставлю себе цели определить степень критической правоты В. Попова, с одной стороны, и меру авторской «вины» Г. Егорова — с другой... Я просто хочу, опираясь на этот весьма показательный пример, разобраться и понять: в чем причина столь резких расхождений между критикой и читательской аудиторией? На мой взгляд, здесь очень серьезная проблема, к которой мы, критики, подходим подчас слишком прямолинейно, толкуем ее с этакой снобистской небрежностью. Мол, существует некий «стадный» читатель, а ловкие, предприимчивые сочинители, пользуясь его эстетической неразборчивостью, стряпают «на потребу» свои сомнительные бестселлеры. И почему-то редко кто задается вопросом: если какое-то произведение, отнюдь не блестящее высокими и даже средними художественными достоинствами, пользуется тем не менее успехом у читателя, значит есть в нем какая-то притягательность, изюминка, тайна даже, если хотите? И не лучше ли, прежде чем учинять разнос такому сочинению (что, повторяю, лишь усилит интерес к нему), попытаться всерьез задуматься и выяснить: почему и

¹ Когда писалась эта статья, в «Алтайской правде» появилась еще одна рецензия о романе Г. Егорова «На земле живущим» (31 марта 1989 г.). Ее автор В. Серебряный совсем по-иному оценивает это произведение, весомо и убедительно возражая В. Попову по целому ряду пунктов. Но поскольку в этой небольшой рецензии речь идет главным образом о фактологической стороне романа, о прототипах его героев, а собственно критического разбора нет, я счел необходимым повести обстоятельный разговор о романе «На земле живущим», дать ему, по возможности, всестороннюю оценку.

чем именно оно так мило и любо читателю? Кстати, сделать это не так уж трудно, если... если стать просто рядовым читателем, прочесть это произведение, так сказать, невооруженным глазом, без всяких критических микроскопов и телескопов. Да и к чему тут лукавить: ведь мы, критики, прежде всего тоже читатели, и всякую книгу оцениваем поначалу такой же бесхитростной меркой, какой судит ее обычный рядовой книголюб: интересно — не интересно, нравится — не нравится.

Так вот сразу честно признаюсь: роман Г. Егорова я читал с интересом, легко, без натуги. Я все время был заинтригован: а что будет дальше с героями? как сложатся их судьбы? Я искренне переживал за Аркадия Николаевича Данилова, следя за тем, как этот мужественный, честный коммунист пытается противостоят произволу и беззаконию, пытается хоть как-то заступиться за друзей и близких, попавших в черные списки «неблагонадежных»; я всем сердцем сочувствовал, сострадал и Але Сахаровой, и Вале Мурашкину, и Жене Переверзеву, оказавшимся волею житейских обстоятельств детьми «врагов народа»; и, конечно же, меня все время волновала, держала в напряжении судьба главного героя Сергея Новокшенова, прошедшего и через страшные испытания 37-го года, и через ад войны, и через тяготы послевоенной разрухи. И чтение настолько захватывало, что я как-то даже не обращал, не заострял во всяком случае внимания на тех натяжках, пробелах (особенно по части психологии), на тех расхожих сюжетных ходах, которых в романе Г. Егорова, прямо скажем, немало. Получалось, читательский интерес все это списывал...

Так что же выходит, спросят меня? Или, быть может, к таким книгам относиться надо с некой заведомой снисходительностью, «входить» в них так, как входили мы, извиняюсь за вульгарное сравнение, в магазин уцененных товаров? Мол, дешевая беллетристика, что с нее возьмешь, и вообще стоит ли о ней строго судить, прикладывать к ней высокие художественные критерии?

По-моему, стоит. Но прежде стоит прояснить вопрос: а что, собственно, мы разумеем под «художественностью», какой смысл вкладываем в это понятие?

Позволю здесь маленькое отступление. Как-то, в самый разгар ажпотажки вокруг «Детей Арбата» я завел разговор о романе Рыбакова с одним знакомым прозаиком. «Слабая вещь, — безапелляционно заявил мой собеседник, — с художественной стороны просто беспомощная». Спрашиваю: «Ну а что такое художественность, как ты ее понимаешь?» — «Ну как что? Язык прежде всего. Вот Бунина возьми. У него каждая фраза блестит, играет красками, потому что там такие метафоры и эпитеты, что только диву даешься...»

Но если Буниным мерить всю литературу, то Достоевский, к примеру, будет выглядеть совершенным графоманом, потому как он вообще не употреблял ни ярких метафор, ни броских сравнений, даже сознательно избегал их.

Спор этот запомнился мне крепко, ибо

именно тогда я убедился (и убеждаюсь еще больше, читая многочисленные критические филиппики в адрес все тех же «Детей Арбата», что термин «художественность» даже профессиональные писатели и критики понимают и толкуют порой однобоко, по-школярски упрощенно, сводя все к языку, насыщенности его метафорами, сравнениями, эпитетами и прочими словесными красотоми. Спору нет, язык — строительный материал литературного произведения, но чтобы произведение стало именно художественным, одного добротного строительного материала недостаточно. Нужен еще и проект, то есть сюжет, требующий также немалой литературной сноровки, умения изобретательно выстроить фабулу, продумать неожиданные ходы, повороты, конфликтные узлы. Более того, сюжет нужно еще и развивать, излагать так, чтобы читатель, во-первых, не запутался, не увяз в его хитросплетениях, а во-вторых, легко, свободно, что называется, «с листа» воспринимал все происходящее (недаром Чехов говорил: беллетристика должна укладываться в одну секунду). Короче говоря, каждый прозаик помимо умения живописать — изображать посредством слова картины природы, внешность героя, обстановку и т. п., должен еще и обладать умением повествовать.

И вот здесь, мне думается, мы и подходим вплотную к объяснению этого странного парадокса: почему многие произведения, написанные бедным, малохудожественным языком, читаются с большим интересом и пользуются нередко гораздо большим успехом, чем иные высокохудожественные книги, сверкающие чуть ли не бунинскими метафорами и эпитетами? Да, видимо, потому что многие мастера слова в своем рвении-желании достичь виртуозной языковой техники, забывают, а скорее сознательно пренебрегают другой техникой — мастерством рассказа, повествования. Потому-то и всякий писатель, делающий ставку именно на повествование, заведомо получает солидную фору перед иным прилежным учеником «бунинской школы».

Г. Егоров именно так и поступает: не мудрствуя лукаво, он берет на себя функции именно автора-повествователя, ставит себе целью просто, доступно, без всяких словесных изысков, без обширных живописаний, без многословных лирико-философских отступлений рассказать о судьбах своих героев, о их жизненных путях-перипетиях. Тем более, что испытаний и невзгод на их долю выпало с избытком, потому как большая часть их жизни пришлось на тот сложный трагический период, когда вся власть в стране была сосредоточена в руках Сталина и его ближайшего окружения. В этом отношении роман «На земле живущим» прямо перекликается с «Детьми Арбата», правда, с одной существенной оговоркой. В отличие от А. Рыбакова Г. Егоров не показывает нам верхние этажи административно-командного небоскреба, не «впутывает» ни в какие политические интриги, не посвящает ни в какие кремлевские тайны.

В его романе предстает жизнь сибир-

ской глубинки, в которой, однако, несмотря на ее «отдаленность» от Москвы, производ и насилые чинились с той же жестокой, немолимой последовательностью, с какой фабриковались и вершились громкие столычные процессы над троцкистами, зинovieвцами, бухаринцами и прочими политическими «еретиками». Собственно, вся первая часть романа, охватывающая период с середины тридцатых до начала Великой Отечественной, — это своего рода цикл «маленьких трагедий», правдивый рассказ о том, как вслед за очередным московским судилищем начиналась очередная кампания «по разоблачению» на местах, жертвами которой становились, как правило, самые честные, незапятнанные, преданные люди.

И здесь я категорически не согласен с В. Поповым, который, обвиняя Г. Егорова в конъюнктурщине, в спекуляции на темы, недвусмысленно дает понять, что роман его во многом вторичен, что, выйдя в свет после тех же «Детей Арбата», «Белых одежд», «Нового назначения», «Жизни и судьбы», он по сути ничего нового не прибавляет и не вносит в освещение и художественное осмысление эпохи сталинизма. Напротив. Мне думается, роман Г. Егорова привлек внимание широкого читателя не только своим стремительным, лихо закрученным сюжетом. Роман интересен еще и тем, что в нем нашли отражение реальные, но по сю пору малоизвестные события, связанные с массовыми репрессиями в годы сталинщины у нас, в Сибири. До сих пор мало кто знает, что в злощезе тридцать седьмом году Западно-Сибирский край и его партийная организация подверглись едва ли не самым жесточайшим гонениям и расправам. Причем жертвами произвола стали такие выдающиеся деятели партии, как Эйхе, Грядинский, Сергеев, Попов. Но сибирская трагедия 37-го года — и это, кстати, у Г. Егорова показано очень достоверно — усугубилась еще и тем, что свой «весомый вклад» в подготовку массовых репрессий внесли сами руководители края, и в первую очередь Роберт Эйхе.

Эйхе является одним из персонажей романа, и Г. Егоров трактует этот образ по-своему, необычно, смело ломая традиционное отношение к Эйхе, в чем-то даже развенчивая и разоблачая его. С тех пор как на XX съезде КПСС в докладе Н. С. Хрущева о культе личности были процитированы строки из предсмертного письма Роберта Индриковича Эйхе, где тот писал о страшных, садистских пытках, которым его подвергали, у нас сразу, надолго и прочно сложилось представление об этом бесспорно выдающемся деятеле партии как о безвинной жертве сталинского произвола. Слов нет, горько и больно читать и письмо самого Эйхе, где он пишет, как во время допроса ему перебили позвоночник, и другие документы, свидетельствующие о свирепой расправе над ним. Но ведь Эйхе — и тому есть тоже масса документальных свидетельств — прежде чем оказаться в ежовских застенках, самолично отправил туда сотни ни в чем не повинных людей. Причем в числе их были и его ближайшие следователи, с которыми он и работал

долгие годы бок о бок, и жил по соседству, и дружил с их семьями.

На страницах романа мы видим именно этого «другого» Эйхе — ревностного, безжалостного исполнителя всех сталинских директив и предписаний. Не то что ни один мускул на его лице — даже голос не дрожит, когда, выступая на многочисленных активах и пленумах, он властно требует усилить, ужесточить борьбу с «врагами народа».

Читая главы, посвященные Эйхе, невольно приходишь к выводу, что сталинщину, как политическое явление, ни в коем случае нельзя отождествлять и связывать только лишь с именем «великого вождя», ибо он в своих преступных деяниях опирался на целый штат верных вассалов, которых ставил на самые ответственные посты, делал из них всемогущих наместников, обладавших по сути неограниченными полномочиями во вверенных им вотчинах. И они из кожи лезли, чтобы оправдать доверие «вождя и учителя», не ведая и даже не подозревая, что как только они выполнят свою «норму» по разоблачению и истреблению «врагов народа» — тут же сами попадут в черные списки и пройдут вслед за своими жертвами все девять кругов ада застенков и лагерей.

Причем эта дьявольская, до мелочей отработанная система «планового» обращения палачей в жертв действовала везде и повсеместно, на всех уровнях. Вот еще одна история еще одной «политической карьеры», героем которой является на сей раз начальник районного НКВД Мурашкин. Персонаж этот — один из самых, пожалуй, отвратительнейших. Пигмей, полное ничтожество, Мурашкин тем не менее чувствует себя чуть ли не диктатором на подведомственной ему территории. Он, к примеру, может без стука в любое время дня и ночи ввалиться в пьяном виде к первому секретарю райкома; он не только развязно беседует с первым лицом района, «тыкая» и похлопывая его по лицу, но может даже в момент отличного расположения духа предложить ему принять участие в гнусных оргиях.

«...— Сейчас с симпатичной девчонкой того... разговор имел, — он подмигнул Переверзеву, шелкнул языком. — Ну, и хороша!»

— Кто такая?

— Учительница из какого-то села. Кажется, из Михайловки или Николаевки. Мой опер пришивает ей пункт «10». Утром я зашел к нему, увидел ее, даже опешил. Сейчас приказал привести к себе в кабинет. — Мурашкин засмеялся. — Ты не смотри на меня так. Я все полюбовно, с полного согласия, с обоюдной договоренности. Обещал ее отпустить. А сейчас смотрю — жалко. Но все равно недельку придержу. Пока не надоест. Хочешь, тебе покажу? Да ты брось! Тоже нашел, где соблюдать моральные устои. Живи, пока живется. А там видно будет. Пойдем, жалеть не будешь. Я не ревнивый. Потом спасибо скажешь».

Сценка эта написана, надо полагать, отнюдь не ради «оживляжа» и не ради того, чтобы наложить еще один «штришок» на

физиономию Мурашкина (подобными мерзостями, как теперь известно, занимался чуть ли не каждый член НКВД, начиная от Берии и кончая рядовыми тюремными держимордами). Автор здесь пусть несколько прямолинейно, бесхитростно, но достаточно убедительно показывает, что нарушение законности и попрание элементарных нравственных норм — по сути две стороны одной медали. Тут можно даже сделать и более категорический вывод: моральная распушенность, цинизм, наплевательское отношение к нравственным устоям, выработанным многовековым человеческим опытом, есть прямое порождение того произвола и беззакония, который творили, вершили с ведома и по прямому указанию Сталина его верные опричники, все эти мерзавцы и негодяи типа Мурашкина... Самого Мурашкина, впрочем, как и Эйхе и многих других правоверных сталинистов, постигает тоже жесткая участь, но, право, никакого удовлетворения, никакого чувства справедливого возмездия не испытываешь и не ощущаешь. Ибо подобного рода каверзы и передеряги, когда саграпы вдруг в одночасье обращались в арестантов, свидетельствуют все об одном и том же — о полном бесправии, беззащитности человеческой личности перед системой тотального произвола, возведенного Сталиным в ранг «высокой» государственной политики.

Особый интерес как в сюжетном, так и в идейном плане представляют те главы романа, где действуют представители среднего эшелона власти — секретари райкома партии. Их в романе несколько — Данилов, Переверзев, Шатров, а позднее этот список пополнит и главный герой Сергей Новокшенов, о судьбе которого разговор будет особый. По авторскому замыслу, эти четыре персонажа являют собой четыре разных ипостаси партийного руководителя, сформировавшегося и действующего в период безраздельного владычества Сталина и его административно-репрессивной системы. Само собой разумеется, как проявить какую-то инициативу, самостоятельность мышления, отстоять собственную точку зрения в те времена руководителю-«среднячку» было практически невозможно. Потому-то каждому из них приходилось быть просто-напросто приводным ремнем той административно-бюрократической машины, которая в годы сталинской диктатуры была основной «движущей силой» во всех отраслях и сферах жизни. Но, будучи, с одной стороны, обыкновенными функционерами, «винтиками», они, с другой стороны, пользовались всеми правами и полномочиями наместников, были в своих районах всеильными временщиками. Грубый окрик, угроза, громыхание кулаком по столу — вот «стиль руководства» этих помпадуров. «Положишь партбилет!» — злобно шипит чуть не на каждого подчиненного Шатров, и фраза эта, произносимая на дню по многу раз, звучит в его устах таким же идиотским закливанием, как знаменитое «не потерплю, разорю!» щедринского органчика. Но в отличие от знаменитого градоначальника, оказавшегося на поверку заведенной куклой, Шатров — человек живой и, как говорится, ничто человеческое ему не чуждо. Он лю-

бит, например, сытно поесть, и потому каждый его «высочайший» визит в тот или иной колхоз заканчивался, как правило, хлебосольным застольем в председательском доме. Причем этим гурманским своим привычкам Шатров не изменяет даже в голодные военные годы: наведываясь скорее по привычке, чем в силу административной необходимости к самым «верным» своим председателям, он возвращается от них не только «сытым, пьяным, нос в табаке», но и прихватив с собой специально для него отобранного и зарезанного поросенка. И это, повторяю, в годы, когда люди пухли с голоду, ели лебеду и кору, когда мякина и мерзлая картошка считались чуть ли не деликатесом... Многого, очень многого стоят эти сценки, живописующие вылазки Шатрова за данью в нищенствующие, едва сводящие концы с концами колхозы. Ведь что там скрывать: и по сию пору ходят-бывают в народе, а точнее среди обывательской массы, всяческие легенды о железном сталинском порядке: мол, и воровства было меньше, и взятки не брали, и служебных злоупотреблений не допускали... Так вот одна такая сценка с «реквизицией» поросенка напрочь опровергает все досужие измышления о неподкупной честности сталинских партийных кадров... Прекрасно отдаю себе отчет: обывателя трудно переубедить такой наглядностью. Мало ли что можно написать-насочинять, скажет он, и по-прежнему будет талдычить о порядке, дисциплине и прочих «прелестях» сталинского времени. Потому мне ничего не остается, как повторить меткое изречение Шукшина: умный и так поймет, а дураку все равно ничего не докажешь. Повторить и надеяться при этом, что роман Г. Егорова прочтут не одни обыватели, но и люди, способные и желающие глубоко и беспристрастно разобратся в нашем трагическом прошлом.

Еще большую неприязнь вызывает другой «князек» — Переверзев. В отличие от сибарита-чревоугодника Шатрова, который в силу своей лености посещал лишь близлежащие колхозы и которого можно было хоть как-то умяснить и задобрить, Переверзев — фанатик дела, убежденный, что секретарь райкома должен самолично вникать в каждую мелочь, везде и по любому поводу давать ЦУ. И он мотается по всему району, проводит бесчисленные совещания, устраивает разносы и головомойки прямо в колхозных конторах и на полевых станах. Но особенно бурную деятельность развивает Переверзев, когда начинается кампания по выявлению «врагов народа». Вот тут самые «органические», самые гнусные качества его натуры проявляются во всей своей омерзительности. Ни перед чем не останавливается Переверзев, чтобы дать как можно более высокий процент «разоблаченных». Просто-таки поражаешься его уменью, я бы даже сказал, высокому профессионализму, благодаря которому из ничего — из пустяка, из обычной склоки, жалобы, он может сотворить настоящее «дело» и дать ему ход по зловещим каналам НКВД.

Но, как известно, сталинский режим порождал не только палачей, доносчиков и беспринципных карьеристов. И не одной слепой верой в «великого вождя», в непо-

грешимость его повелений жили в то время люди. Были среди них и сомневающиеся, и инакомыслящие, были и такие, кто, рискуя собственной жизнью, стремился хоть как-то, чем-то воспрепятствовать массовым репрессиям.

Именно такого борца за справедливость, за отстаивание ленинских принципов демократии автор выводит в лице еще одного секретаря райкома — Данилова. Аркадий Николаевич Данилов руководил тем же районом, что и Переверзев с Шатровым, он — их предшественник, и в том, что его сменили именно эти деятели, эти верные жрецы сталинского культа, есть своя горькая и неотвратимая закономерность. Утверждая свое всевластие, Сталин проводил жестокую кадровую политику, суть которой заключалась в устранении всех «строптивых», всех, кто осмеливался проявлять хоть какую-то самостоятельность, отстаивать собственную точку зрения. Причем эта чудовищная, постоянная пертурбация, оставившая за бортом самых толковых, опытных руководителей, происходила как в верхах, так и в средних и низших звеньях.

С этой точки зрения судьба Данилова есть судьба честного партийца, оказавшегося в числе неугодных, пережившего драму отлучения от дела, к которому он был предназначен и которому так преданно, беззаветно служил. Данилов еще задолго до 37-го года стал замечать, что в системе, в самой практике партийного и государственного руководства многое меняется, причем отнюдь не в лучшую сторону, что живое творческое дело, каковым всегда была партийная работа, подменяется пусто-порожними речами, лозунговой трескотней, что главной сутью и смыслом становится неукоснительное, бездумное исполнение всех идущих сверху директив. Творцами же и исполнителями этих инструкций и директив были, как правило, люди недалекие, некомпетентные, да и зачастую просто невежественные.

Человек дальновидный, умеющий, что называется, смотреть в самый корень, Данилов прекрасно понимает, чем грозит обернуться эта абсурдная, командорская политика. Однако все его попытки, все отважные усилия дать отпор административному самодурству и своеволию оказываются тщетными, оборачиваются для него печальными последствиями.

В романе показана вся подлая, хитроумная механика «усмирения» таких строптивых руководителей, как Данилов. Поскольку время массового «отстрела» всех инакомыслящих и идущих наперекор еще не пришло, местные верха поступают с Даниловым вполне, так сказать, гуманно и деликатно. Аркадия Николаевича вдруг неожиданно-негаданно повышают, переводят в крайком, и отныне он становится столоначальником и вынужден в этом своем качестве волей-неволей сочинять и редактировать многочисленные (и столь ненавистные ему!) инструкции, директивы, циркулярные письма. А когда Данилов и здесь проявляет свой крутой, неуступчивый характер, сам Эйхе в доверительной, кабинетной беседе прямо заявляет ему, что он,

Аркадий Николаевич, с его «партизанскими» замашками, устарел, утратил чувство «текущего момента» и потому должен уступить дорогу другим... Так на местах претворялась в жизнь генеральная сталинская линия, зафиксированная в свое время в громкой, чудовищной по своему лицемерию фразе: «Кадры решают все!» И, на мой взгляд, Г. Егоров на примере судьбы Данилова показал все это и правдиво и достаточно впечатляюще.

Думается только, что писатель допустил серьезную тактическую ошибку, впрямую отождествив Данилова с его реальным прототипом. Старожилы Алтайского края хорошо помнят, что в Шипуновском районе в конце 20-х—начале 30-х годов первым секретарем райкома действительно работал Данилов. Г. Егоров не выдумывал, не сочинял этот персонаж, а ввел его в свое произведение на правах реального исторического лица наряду с Эйхе, Грядинским, Сергеевым и другими известными в Сибири партийными и советскими руководителями. Но, как выяснилось, Данилова «романного» и Данилова реального роднит, пожалуй, только фамилия да место работы. И тут нельзя не согласиться с В. Поповым, который, основываясь на фактах и документах, показал, что «настоящий» Данилов был полной противоположностью герою Г. Егорова: он и служебное рвение проявлял, особенно во время раскулачивания, и все спускаемые сверху директивы исправно выполнял, и вышестоящему руководству особо не перечил...

Очевидно, Г. Егорову, коль скоро он пренебрег сутью реального, исторического лица, стоило пойти дальше и не делать героя «узнаваемым» лишь по внешним приметам — в данном случае более оправданным и логичным мог стать собирательный образ партийного руководителя, олицетворяющий собой то внутреннее сопротивление диктату, которое, как теперь выясняется, действительно было и за которое поплатились жизнью тысячи и тысячи мужественных и честных коммунистов.

Особого разговора заслуживает, безусловно, образ главного героя Сергея Новокшонова. И не только потому, что персонаж этот проходит через все три части обширного повествования Г. Егорова, охватывающего и тридцатые годы, и Великую Отечественную, и послевоенное время. Главы, составляющие жизнеописание Сергея Новокшонова, на мой взгляд, с наибольшей отчетливостью и очевидностью обнаруживают сильные и слабые стороны Г. Егорова-романиста.

Рассказывая о сложной, драматической судьбе главного героя и его друзей-сверстников, автор, надо полагать, задался целью показать судьбу целого поколения. Поколение это мы с полным правом называем героическим, но ведь состояло-то оно из обыкновенных парней и девушек, по большей части выходцев из деревни, из далеких глубин. Именно из такой глубинки, из алтайского села Михайловка, и пришел «большую» жизнь Сергей Новокшонов. Лихой, отчаянный, один из тех, кого называют первым парнем на селе. Сергей возглавил и увлек за собою местную комсо-

молию, а вскоре единодушно был избран ни много ни мало первым секретарем райкома ВЛКСМ.

На этом посту мы и видим Сергея на протяжении всей первой части романа; и, надо сказать, неплохо смотрится он в роли комсомольского лидера. Сергей не горазд произносить длинные зажигательные речи, не терпит он показухи, не любит засиживаться в кабинете. В романе немало сцен и эпизодов, где автор доносит до нас саму атмосферу жизни сельской комсомолки 30—40-х годов, атмосферу, в которой не было ни казенщины, ни формализма, ни компанейщины.

Конечно, Сергею Новокшионову во многом повезло, что он начал секретарствовать в пору, когда район возглавлял Аркадий Николаевич Данилов. Именно Данилов и преподавал совсем еще зеленому комсомольскому вожаку первые уроки политграмоты, научил, как надо работать с людьми, чтобы работа эта не сводилась к грубому нажиму, окрику, накачке, а была живым творческим делом.

От Аркадия Николаевича Сергей услышал и первые горькие откровения, когда началась кампания по борьбе с «врагами народа». Еще до трагедии 37-го узнал Сергей, благодаря общению с Даниловым, многое такое, что уже тогда заставило его и настроиться, и крепко призадуматься: а все ли в стране идет столь гладко, как утверждает официальная пропаганда, все ли предусмотрел «великий вождь», когда свернул нэп, разгромил оппозиции, провозгласил курс на сплошную коллективизацию? Словом, немалые сомнения, которых он и пугается и гонит прочь, закрадываются в душу Сергея, и автор правдиво передает эти метания, эту внутреннюю раздвоенность своего героя — человека, которому тем более тяжело и мучительно все это вынести, поскольку он воспитан в духе железной партийной дисциплины и потому не имеет даже права в чем-то усомниться; поддаться каким-либо «настроениям».

К сожалению, менее удачными получились в романе «страницы любви». Завязаны эти страницы на так называемом треугольнике, точнее даже — на двух «треугольниках». Сергей поначалу увлекся Катей Гладких, а за той в свою очередь усиленно ухаживал ее односельчанин Федор Лопатин; потом, когда у Сергея с Катей все наладилось и дело уже шло к свадьбе, его направляют на учебу в Новосибирск и там он знакомится со студенткой Ладой и скоропалительно на ней женится... Думаю, нет никакого резона толковать и доказывать, что подобного рода «вечные» сюжеты требуют для их оживления и каких-то неожиданных ходов и, конечно же, тонкого психологического рисунка; в противном случае — вместо оживления получится обычный, банальный «оживляж». Увы, именно на уровне «оживляжа» и преподнесено в романе подавляющее большинство любовных сцен. Забегая вперед, отмечу, что неудачными оказались и все попытки автора еще больше усложнить, «обогатить» личную жизнь героя. И измена Лады, не пожелавшей ждать возвращения мужа с фронта; и мимолетный флирт Сергея

с бывшей односельчанкой Лизой; и «врожденная» любовь к Кате — все это передано опять же без особых тонкостей, как-то скупобыденно, отчето и читаются-то они, эти «страницы любви», без всякого волнения, воспринимаются не более чем повседневная житейская хроника.

К сожалению, серость, невыразительность «любовных глав» — не единственный досадный недостаток, роман Г. Егорова вообще отличается резко бросающаяся в глаза неровность, художественная неравноценность, границы которой четко проходят между тремя ее частями. Если первая часть романа, при всех отмеченных недостатках, производит местами сильное впечатление да и к тому же представляет немалый познавательный интерес, то часть вторая, посвященная Великой Отечественной, на многих своих страницах несет явные отметины вторичности. Причем, что особенно досадно, «повторяет» Г. Егоров или, скажем мягче, равняется далеко не на лучшие образцы нашей военной прозы.

Война, описываемая Г. Егоровым, какая-то уж слишком «гладкая», бесконфликтная — в том смысле, что автор все воинские подразделения (будь то танковый корпус или партизанский отряд) изображает как нечто незыблемо-монолитное, крепко спаянное, где все четко отработано согласно субординации, где нет никаких трений между рядовыми и командирами, между младшим комсоставом и старшим. Подобного рода батальная проза как-то еще воспринималась лет 20—30 назад, но сейчас, когда благодаря произведениям А. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, К. Воробьева, В. Кондратьева мы узнали «другую войну», где наряду с «морально-политическим единством» и «солдатским братством» были и самоуправство, и головоутиятство, и бессмысленная жестокость, — сейчас такая, как у Г. Егорова, война выглядит совершенным анахронизмом.

Честно говоря, когда я читал вторую часть романа, у меня закралось подозрение, что автор сознательно, повинувшись голосу пресловутого «внутреннего редактора», многое утаил, что знает он о войне гораздо больше, чем написал. Подтверждением этой догадки явилась потрясающая сцена расстрела молоденького солдата начальником особого отдела, о котором рассказывает в своем дневнике один из героев. «Перед нами стоял паренек наших с Тимкой лет. Оказывается, он умышленно потер ноги во время похода и отстал от части. И вот его приговорили к расстрелу, как изменника Родины. Паренек стоял и испуганно, непонимающе хлопал глазами. Казалось, до него до сих пор не дошло то, что хотя с ним сделать. Он, наверно, думал, что вот сейчас попугают его (мы тоже так же думали), предупредят и пошлют обратно в строй. Он стоял без ботинок, в одних портянках, обвязанных обмотками. Но вот начальник смерша достал пистолет, взвел его, и парень вытарачил глаза. Столько в них было страху, дикого животного страха, что эти глаза до сих пор стоят передо мною. Он закричал, как ребенок: «Дяденька! Погоди! Я пойду, я поползу! Дяденька, только не стреляй!» Он цеплялся ему за

гимнастерку, плакал. Но тот взял его за плечо, повернул кругом и выстрелил ему в затылок. Парень вздрогнул и сразу обмяк. упал лицом в песок».

Вот эту сцену, написанную вроде бы сухо, протокольно, долго не забудешь, потому что здесь такая правда и такая трагедия, которые, увы, были чуть ли не повсеместным явлением во время войны, но о которых до недавнего времени принято было помалкивать. И жаль, что эта правда прорвалась только однажды, всего в одной сцене.

Третья часть романа охватывает период, хронологические рамки которого очерчены в пределах 1945—1950 гг. Это — так называемая пятилетка восстановления разрушенного войной хозяйства. Как известно, огромный вклад здесь внесли бывшие фронтовики, причем подавляющее большинство из них снова оказались на передовой: партия поручила им самые трудные, самые ответственные участки.

Не составил исключения в этом смысле и главный герой Г. Егорова. Его, бывшего комсомольского работника, еще до войны окончившего партшколу, сразу после демобилизации избрали первым секретарем райкома партии. И Сергей Новокшинов со всей присущей ему энергией, хваткой, напористостью, взялся за дело, сразу поставив себе целью — вывести район в передовые... К сожалению, тут придется сразу отметить: Г. Егоров, на мой взгляд, в третьей «мирной» части своего романа не сумел достигнуть главного — показать жизнь послевоенной деревни во всей ее многогранности, вскрыть и обнажить те болезненные противоречия, которые, будучи порожденными сталинским режимом, и по сей пору дают о себе знать, тормозят сдерживают и само сельскохозяйственное производство, и социальное развитие деревни. Читая главы, повествующие о секретарстве Сергея Новокшинова, испытываешь какое-то смутное, двойственное чувство: с одной стороны, вроде бы все, о чем пишет Г. Егоров, сущая правда, но с другой — ощущаешь явную неполноту, стремление автора поспешно распутать все узлы, расставить все акценты.

Г. Егоров, как мне кажется, слишком уж прямилинейно «эволюционизировал» и своего героя, обратив его в бездушного, безжалостного функционера сталинской выучки. Ведь мы хорошо помним, как в годы ежовщины мучился Сергей Новокшинов проклятыми, навязчивыми сомнениями, как «раздваивался», одолаваемый сомнениями. По логике вещей у бывшего боевого командира эти сомнения должны бы не утихнуть, не заглохнуть, а, наоборот, усиливаться, углубиться. Ведь — и теперь это ни для кого не секрет — именно в годы войны, после первых тяжелых поражений, многие фронтовики не просто засомневались, но в буквальном смысле прозрели, поняв, что стояли и чем обернулись для армии и всей страны репрессии тридцать седьмого и других кровавых лет. Сергей Новокшинов же в этом смысле ведет себя более чем странно: ни во время войны, ни после он даже не задумывается о тяжелых последствиях сталинского произвола. И по-

чему, отчего у него вдруг атрофировалось чувство справедливости, стремление самому во всем разобраться, до всего доискаться, — никаких разъяснений на этот счет автор нам не дает, здесь в его романе явный «прочерк».

Сергей Новокшинов, каким он предстает в третьей части романа, — типичный руководитель-наместник, не терпящий никаких возражений, слушающий только то, что раздастся с верхних начальственных этажей. И чем больше наблюдаешь за ним — как величественно восседает он в своем кресле, как изрекает свои указания, как третирует всякого осмелившегося ему перечить, — тем больше недоумеваешь: да неужели это тот самый Сергей Новокшинов, который, будучи комсомольским вожаком, не считал зазорным и самому взять в руки литовку или выйти с гармонью на сцену в составе агитбригады, и главное — всегда и везде он был своим, потому что знал, чем и как живет крестьянин?.. Право, с трудом веришь в такую метаморфозу, и весьма странными выглядят попытки автора в какой-то мере оправдать своего героя, представить его жертвой и «продуктом» сталинской административно-узурпаторской системы. Оправдания эти тем более неубедительны и невразумительны, что рядом с Сергеем Новокшиновым мы видим людей, которые находят в себе силы и мужество сопротивляться, противостоять этой системе. Вот, к примеру, Вера Ивановна Величико, заведующая сельхозотделом. Эта скромная, хрупкая с виду женщина не только сумела разглядеть и понять всю порочность «традиционных» методов руководства сельским хозяйством, но и прямо, смело и честно поделилась своими сомнениями на бюро райкома, даже предложила, как принято сейчас говорить, альтернативный путь.

Смелыми, честными, по-государственному мыслящими людьми предстают в романе и редактор районной газеты Юрий Колыгин, и председатель колхоза Мирон Пестрецов. Правда, слушая их толковые речи, нет-нет да ловишь себя на мысли, что уж слишком современно, «по нынешнему» звучат эти вдохновенно-обличительные монологи.

«...Хозяина на земле нет... — говорит Мирон Гаврилович Пестрецов. — Потому и много немощных колхозов. Сидят люди на земле, а не хозяйева они на ней. Ты не пужайся, если я скажу, что кулак был умным хозяином — он сеял то, что было ему выгодно. А мы теперь сеем не то, что выгодно колхозу, а то, что прикажут сверху. Не с того конца у нас планируют. Не от земли планы идут, а от бумаги. Надо землю спрашивать, что она способна родить, а не требовать от нее то, что она не может. Ведь, к примеру, корова может родить только телка. Обяжи ее принести жеребенка — хоть разорвись! — не сможет она этого сделать. А от земли хотят все получить, что наверху запланируют. Зачем, скажем, нашему колхозу лен дают? Он сроду здесь не рос... У нас сейчас модным стало называть человека хозяином природы, что, дескать, мы не можем ждать от нее милости, а должны

вроде того что нахрапом ее взять, как девушку. А ведь ежели силой-то возьмешь, любви не будет».

Читая подобное, с трудом веришь, что говорит это человек сороковых годов, а не современный публицист, пишущий на тему деревни.

И уж вовсе не верится в финал романа, когда Сергея Новокшенова снимают с должности вполне демократическим путем. Вот как сообщает об этом автор:

«Четыре дня заседали делегаты. Такой бурной партийной конференции не было со дня основания района.

И вот после конференции уже пятый день сидит он в спальне — пьет и курит. Никого не пускает к себе, ни с кем не хочет разговаривать».

И свершается это, заметьте, не в наше перестроечное время, а в начале пятидесятых годов, когда, как мы знаем, железный сталинский порядок буквально парализовал все сферы жизни, когда любое критическое выступление против любого вышестоящего номенклатурного самодура расценивалось как подрыв авторитета партии, антисоветская вылазка и проч. И какие «орывыводы» следовали после такой критики, мы тоже хорошо знаем.

К роману Г. Егорова можно предъявить и еще целый ряд претензий. Но тут я, невольно возвращаясь к началу своей статьи, ловлю себя на мысли: ну и что с того? Ведь даже если я объявлю роман Г. Егорова произведением идейно ущербным и художественно несостоятельным, на читательский и коммерческий успех это никак не повлияет. И у меня, право, язык не поворачивается и рука не осмеливается

вынести ему суровый и «окончательный» приговор. Потому что, при всех изъянах и недостатках, в нем есть, по-видимому, то главное, то самое ценное качество, которое Толстой называл «заразительностью». При чем «заразительность» эта достигается у Г. Егорова не только чисто беллетристическими ухищрениями (динамичный сюжет, легкая, раскованная манера повествования и проч.), о которых говорилось выше. Главный секрет успеха здесь, мне кажется, совсем в другом.

Сейчас наше общество переживает серьезное испытание — испытание правдой. Сейчас нам открылись такие «тайны» и «подробности», которые заставляют самым решительным образом пересмотреть давно сложившиеся и казавшиеся неизблемыми взгляды и представления, переписать наново многие страницы нашей нынешней истории. Само собой разумеется, что далеко не всем это по душе. Снова подняли голову блюстители идеологического спокойствия, снова переполох в стане правоверных сталинистов, снова слышны истеричные вопли: «Караул! Очерняют!»

Но вопли эти от растерянности, от бессилой ярости, ибо тяга к правде, жажда правды стала уже первоочередной духовной потребностью общества. Вот почему каждая честная, правдивая книга, утоляющая в той или иной мере эту жажду, сразу притягивает к себе тысячи и тысячи читателей.

И один из примеров тому — роман Г. Егорова «На земле живущим». Насколько прочен и долгосрочен будет его успех у читателя, покажет, разумеется, только время. Но то, что успех этот заслужен — вне всякого сомнения.



сатира и юмор

Сергей КАРЛИН

КТО-ТО...

(МОНОЛОГ)



У нас в доме вчера КТО-ТО отключил свет на пять минут. Потом включил. Опять выключил. Включил, а затем совсем вырубил до утра.

В телефонной будке около дома КТО-ТО отрезал трубку. В прошлом году. Новую до сих пор не повесили. Рэкета бояться? Правильно! С ним бороться трудно: КТО-ТО ночью приезжает, поджигает, разбивает, отрезает, уезжает — попробуй поймай. Проще вообще не ставить трубку...

В хозяйственном магазине КТО-ТО закупил столько мыла и зубной пасты, что теперь каждый, отстояв огромную очередь и купив мыло с зубной пастой, считает себя счастливым человеком.

А в гастрономе КТО-ТО, даже сами продавцы не знают кто, распорядился каждый кг сахара отпускать по «приглашению». За которым, без приглашений, нужно сбегать в противоположную от гастронома сторону.

На работе с разрешения КОГО-ТО переделали общественный туалет в кооперативный. Теперь деньги нужны не только на обед, но еще и на туалет. Бывает, на туалет приходится занимать...

А что случилось с цветными телевизорами? Невозможно купить — исчезли. КТО-ТО закупил? Ну и хорошо, может, теперь японские появятся.

Про Руста читали? КТО-ТО же дал ему до Красной площади долететь! Радуйтесь, что он атомную бомбу с собой не привез.

Ох, они, эти КТО-ТО! О покушении на перестройку читали? Ой, это не в газете, это я во сне видел. КТО-ТО готовит покушение. Помпите, подписку-89? Лимит. На газеты ни клочка лишней бумаги! На инструкции, справки, указания и так не хватает. Стоило чуть-чуть взбунтоваться — сразу все нашлось. Хватило. Даже туалетной бумаги больше стало!

Товарищи, с КЕМ-ТО надо кончать! Иначе КТО-ТО может и указ новый издать: «В связи с многочисленными жалобами трудящихся перестройка отменяется!»

А этого нельзя допускать.



НЕЛОВКИЙ ВОПРОС

Я сегодня не успокоюсь, пока не узнаю мнения других мужчин: «Как поступить в ситуации: трое у вас на глазах избивают одного?»

Беру кожаную сумку с ремнем через плечо. Иду на улицу. Первым мне попадается мужчина, обладатель крепкого телосложения, двухметрового роста, с добрым, почти детским лицом. Вежливо обращаюсь:

— Товарищ, извините, я из газеты... Можно вам задать один вопрос?

— Можно, — отвечает он, — только один! Тороплюсь!

— Как бы вы поступили в ситуации: трое у вас на глазах избивают одного?

— Черт его знает... — Отвечает, поистине задумавшись. — У меня все от настроения зависит. Хорошее — помогу одному! Плохое — троим устрою... В общем, не знаю. Тороплюсь!

Второго спросил у пивбара. Он был человеком среднего роста, в помятом костюме. С наколкой на правой руке: «Шурик 1947 г.». Шурик на вопрос ответил вопросом:

— За что бьют-то мужика, за дело или нет?

Я сказал:

— За перестройку!

— Выходит, за дело, — нашелся Шурик. — Шумят много, а дела нету, все кончается, пропадает!.. Скоро пиво по талонам выдавать будут. Всех их бить надо!..

Я поспешил отойти «от греха подальше». Там у пивбара таких, как Шурик, много, а я один...

Третий попался на пару с женой. На вопрос ответила жена:

— Никак не поступил бы! — выкрикнула она. — Он что, каратист, что ли? Пусть милиция этим занимается, им за это платят!..

Невольно задумываюсь: «Кто как за каменной стеной стоит в наше время: жена за мужем — или муж за женой?»

Четвертым был милиционер, с полосатой палочкой на перекрестке. Он ответил:

— Меня это не касается!.. Мое дело перекресток, машины, пешеходы. Да, а где избивают, на тротуаре или на проезжей части?..

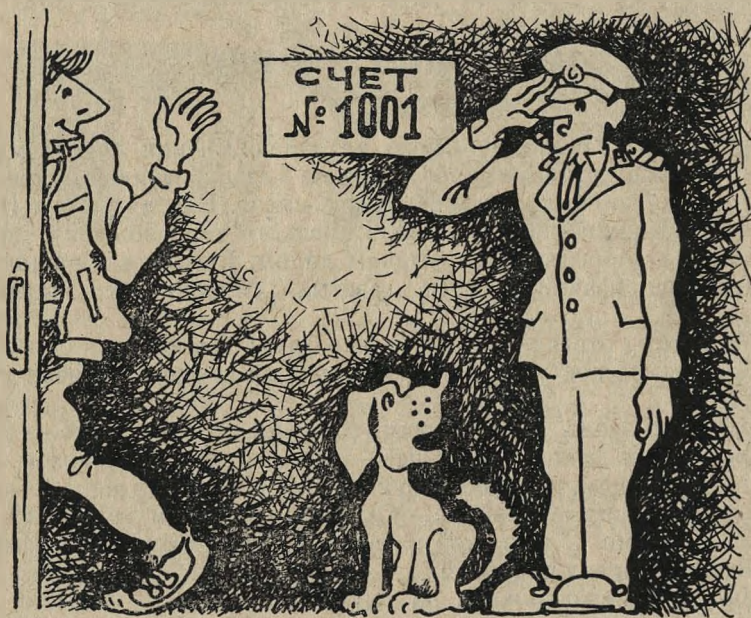
— На Красной площади! — сказал я.

— О-о-о! — воскликнул милиционер. — Там я совсем ни с какого боку.

Я потом еще десять мужчин спросил. Восемь сказали: «Не знаю...» И только двое оказались мужчинами. Ответили: «Мы позвонили бы в милицию!» Так что после всего услышанного сегодня я себя могу считать настоящим мужчиной. У меня вчера на глазах трое избивали, вернее, раздевали одну женщину. Я один подошел к троице. Хотел дать по физиономии тому, что поменьше. А он меня вежливо попросил поддержать за руку женщину, пока он снимет с нее юбку... Я от этого предложения наотрез отказался: «Нет! — сказал не дрогнув, — не держу!» И, оттолкнув того, что поменьше, дал деру.

Сегодня только об одном жалею: «Почему я не додумался позвонить в милицию?..»

ЖУЛЬК



Жил-был на свете Костик. Послушный мальчик, любящий маму, папу, всех воспитателей детского сада, манную кашу и кипяченое молоко.

Вот однажды у приятеля по садику Костику понравился игрушечный пистолет. Очень! На следующий день Костик принес в детский сад настоящий патрон от автомата и предложил обменяться на пистолет. Приятель ответил:

— Зачем мне твой патрон без настоящего автомата?

— Почему ты такой болван? — спросил Костик. — Зачем тебе автомат? Достаточно иметь молоток. Если кто-то к тебе ползет, возьми молоток, ударишь сюда. — Костик показал на капсюль. — А пулю наведешь на того, кто лезет... Вот и все. Больше никто не ползет.

В школе Костик любил получать только пятерки. Но не любил готовить уроки.

Костина мама работала на кондитерской фабрике. А в городе в то время шоколадные конфеты ели только шустрые люди. Среди учителей

Костика шустрых не было. Тем не менее учителям хотелось попробовать конфет, хотя бы в праздник. На этой-то людской слабости и решил сыграть Костик. Он готовил уроки и отвечал на пять по каждому предмету только четыре раза в четверть... Только по тем дням, которые были указаны в графиках, которые он составлял для каждого учителя и вкладывал в коробки поверх шоколадных конфет. Отдавал он учителям эти коробки бесплатно.

В институт поступать не стал. Перестройка грянула. Понял, на конфетах дальше не проехать. Решил, школы с золотой медалью хватит. Пошел к папе — известному в городе человеку-автослесарю. Работать сразу стал отлично. За смену обслуживал 15—20 легковушек. Папина мастерская давала большой гарантийный срок — десять лет! Деньги текли рекой. Папа, как заслуженный человек, отвечая за гарантийный ремонт, почти не работал. С поступлением на работу сына папа оказался самым работающим человеком. Мало того, пример с Костика стали брать и остальные рабочие. Папа стал работать по четырнадцать часов в сутки! Ему это страшно не понравилось. Костик пошел из мастерской искать свою колею. С золотой медалью его брали везде. Но почему-то везде очень скоро увольняли.

Из управления мясокомбинатом уволили за то, что, не будучи кандидатом, выставил свою кандидатуру на выборах нового директора комбината. С условием, что будет занимать этот пост «недолго — один месяц».

Из кооперативного магазина «Перестройка» — за то, что к остальным государственным товарам по кооперативной цене добавил автомобили. Например, «Москвич» последней марки в магазине можно было свободно купить за тридцать тысяч.

После магазина Костик нигде не работает. Разъезжает на собственной «Волге» по каким-то адресам и получает большие деньги. Например, приезжает к товарищу Б. Звонит, перед ним автоматически открывается входная дверь. Откуда-то сверху, из динамика, вежливый голос говорит: «Здравствуйте, Костечка, проходите!» Проходит, терпеливо выслушивает просьбу Б.: достать «Мерседес». Вынимает диктофон и говорит:

— Скажите сюда, — указывает на диктофон, — наш с вами код: «Жертвую на счет 1001 — 40 тысяч».

— А зачем туда?.. — недоверчиво глядя на диктофон, — спрашивает Б.

— На всякий пожарный! — уверенно отвечает Костик. И, получив деньги, выйдя из подъезда, напрочь забывает просьбы Б. и ему подобных.

Он сам не знает, где это все брать — «Мерседесы», видеомagneфоны, стиральные машины... Он же не волшебник! Жулик, не больше. Они верят, в милицию не заявляют! Значит, так и надо!

Недавно один заявил. Костика тут же поймали, но скоро вынуждены были отпустить. Он предъявил милиции магнитофонную запись, на которой потерпевший говорил: «Жертвую двести рублей на 1001». А не на стиральную машину, как написал в заявлении в милицию.

Дежурный отделения милиции тоже не сразу понял, что значит 1001. Только после запроса узнал: № 1001 — это новый банковский счет в пользу бездомных животных!

Милиция больше не мешает Костику Шустрикову помогать бездомным животным...

Он, похоже, нашел свою колею.



для детей

Юрий РОМАЩЕНКО

ОСЕННИЙ СВЕТОФОР

Березы
ЖЕЛТЫМ цветом
Притормозили
Лето.

А кленов
КРАСНЫЙ цвет
Сказал: — Дороги
Нет!

И лето отдыхает,
Спокойно ожидает,
Когда березы, клены
Опять зажгут
ЗЕЛЕНый.



РИСУНОК

Я рисую ширь небес,
А пониже — хвойный лес.

Только что была пурга,
И кругом — снега, снега.
Даже солнышко слегка
Запорошено пока...

А в лесу я,
Под сосной,
Нарисую
Дом с трубой,
Чтобы звери
В холода
В доме грелись
Иногда.

ТЕПЛОВОЗ

Сам собой возник вопрос:
Почему он — «тепловоз»?

Мы решили очень просто,
Это ведь не тяжело:
Так зовут его за то, что
Возит он одно тепло.

Значит, если он пришел —
И тепло, и хорошо.

А уходит тепловоз —
Начинается мороз.

Если очень повезет,
Он и лето привезет.

ЁЖИК

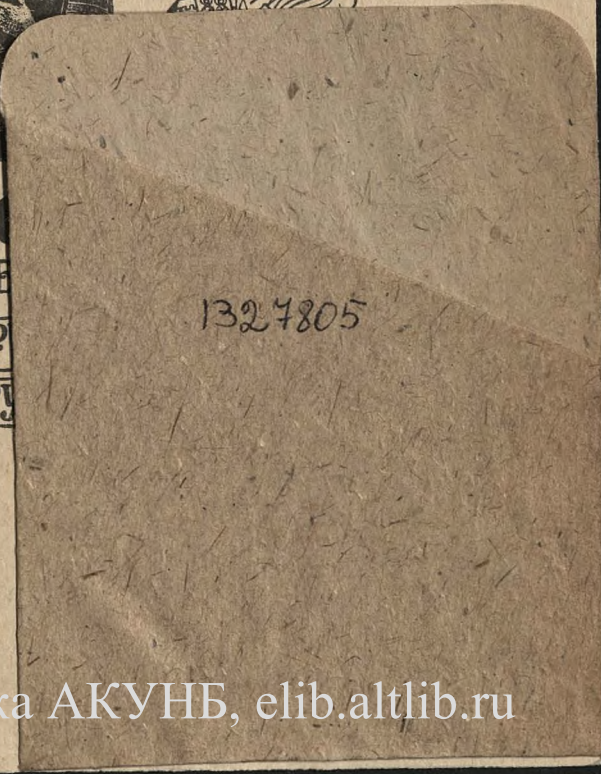
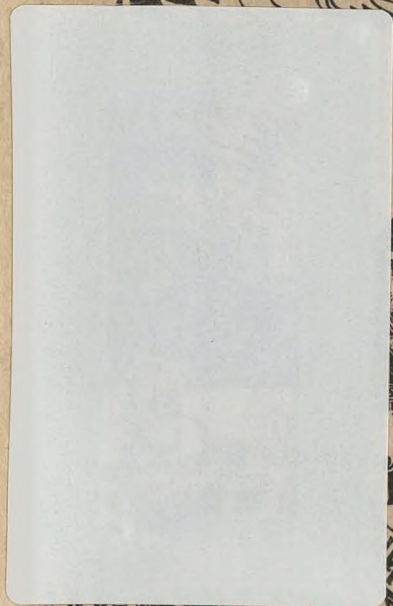
Мне встретился у ёлки
Смешной
Лесной
Портной:
Имеет лишь иголки,
А нитки —
Ни одной!..



EX LIBRIS
ИЗЪЕМЪ
В



ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ
ШУКШИН
1929 1974
БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА «ТРАНСМАШ» ИМ. ЛЕНИНА
Г. БАЙНАУЛ



1327805

Экслибрисы Р. А. Прохневского

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Повесть

Дибаша КАИНЧИНА

«Дети кедра»

Рассказы

А. ПЕШКОВА

В. КОРНИЕНКО

Стихи

В. ШЕВЧЕНКО

В. НЕЧУНАЕВА

С. КЛЮШНИКОВА

80 коп.